Илья
Боровиков

Горожане солнца








Каждая хорошая книга имеет эффект замедленного действия: она влияет на читателя гораздо дольше, чем то время, которое нужно для ее прочтения. Национальная детская литературная премия «Заветная мечта» выбирает хорошие книги из тысяч рукописей, чтобы нашим детям было над чем подумать.



горожане солнца

илья боровиков

Москва, «Заветная мечта», 2008

УДК 821.161.1-31/-32
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44
Б 83

Дизайн серии *OSTENGRUPPE; Алена Макар*
Иллюстрации *Алексея Худякова*

Боровиков И. П.
Б 83 Текст печатается на основе издания: Боровиков И.П. Горожане солнца: роман / И. Боровиков. — М.: Вагриус, 2007. — 400 с.

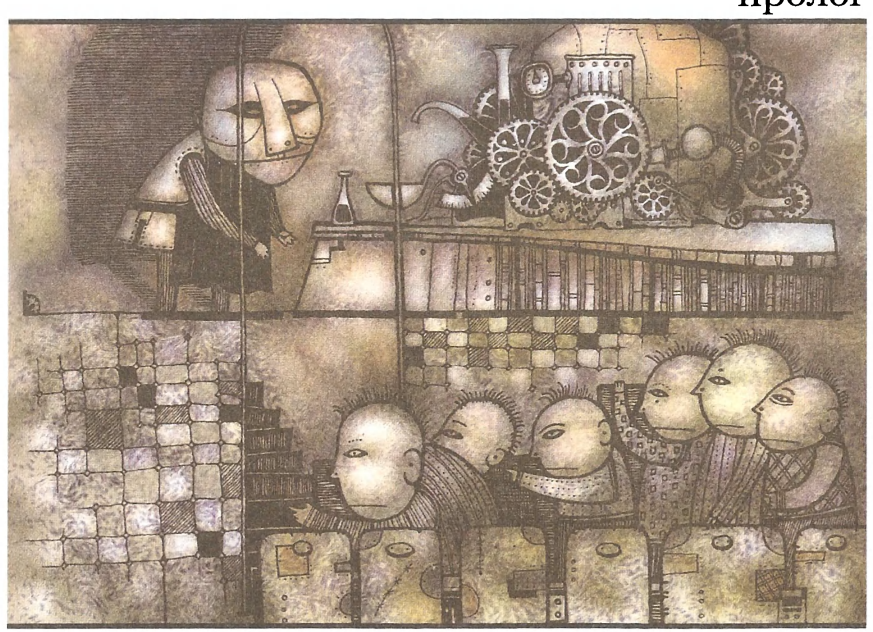
ISBN 978-5-903799-04-6

Действие происходит в современной Москве. В недрах метро спрятаны волшебные Часы, которые подчинили горожан своему безумному ритму и заставили забыть об истинных ценностях. Победить Часы и их слуг может лишь необыкновенная девочка, воспитанная снеговиками.
Автор романа Илья Боровиков — лауреат Большой премии сезона 2006–2007 гг. Национальной детской литературной премии «Заветная мечта».

УДК 821.161.1-31/-32
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

Книга издана в благотворительных целях.
Не для продажи

ISBN 978-5-903799-04-6



В те времена, когда дымами
не подпирались небеса,
а на весу держались сами,
на тонких звездочках вися,
был весь простор доступен взору —
ни труб, ни башен, ни креста:
не так давно найдя опору,
двуногий строил дом как нору,
его пугала высота.
Был дом его и утл, и плоскок,
весь состоял из пней и досок
с узором в виде странных рыл.

А Часовщик уж землю рыл.

В цилиндрах доменных печей
его рабов шуруют клещи.
Под сотней гаечных ключей
железо ржавое скрежещет.
Разъярена, раскалена,

стекает каша чугуна.
Тысячелетье стройка длится,
земля дрожащая дымится,
и вот, на тысячном году,
деталь последняя застыла.
Часы, бессмертия могила,
стоят, готовые к труду.

Туга, темна и тяжела,
внутри пружина ожила.

Рвалась плененная пружина!
Тряслась огромная машина!
Летели гири вверх и вниз!
Колеса за руки взялись...
Их мерный ход казался страшен.
Вращение зубчатых башен
во мраке выглядело сонным.
Качались на цепях мосты,
скрипя, и к пропастям бездонным
слетали искры с высоты.
Под каждой цифрой циферблата
стоит охранный каземат,
и сорок два ночных солдата
той цифры тайну в нем хранят.
На циферблате, в самом центре,
воздвигнут замок выше церкви,
во тьму вонзает шпиль стальной.
На этом шпиле стрелки кружат,
и ход их мерный сеет ужас
вокруг машины остальной.
Там Часовщик засел навечно,
воруя время человечье.

А выше, чисто и хитро,
шумит бессонное метро.
Туннели тянутся, темнея,
глотают поезд в полглотка,

и теплый ветер из туннеля
колышет лампы потолка.
Иных людей движенья крепки,
иных людей движенья шатки,
иных людей венчают кепки,
иных людей венчают шапки —
и день и ночь течет толпа
вокруг прекрасного столпа.

И поезд кружится, колеблясь;
а если выбраться отсель —
по кругу движется троллейбус,
трамвай, машина, карусель…

Дитя! Вокруг лишь повторенье,
безликих дней круговорот.
Сменить паренье на старенье
заставит маятника ход.
Добавит сладенькой воды
в твои мерцающие яды,
твои заросшие сады
распашет в правильные гряды!
Беги!
В дымы лесных кострищ,
беги в заброшенные парки,
беги в пустыни старых крыш,
беги в придуманные карты!
И помни: не навек Часам
смертельно властвовать на свете.
Угрюмый смертоносец сам
себе приготовляет сети.
Ведь дети сказочной красы
когда-нибудь Часы обрушат
тем, что возложат на Часы
охапку елочных игрушек.

И ДРОГНУТ СОЛНЦЕ И ЛУНА!
И ВЛАСТЬ ЧАСОВ СОКРУШЕНА!

сказка первая. про дидектора

Была одна школа. И вот прислали туда нового директора (старый уже умер). Этот новый директор до того был того, что учителя всем педсоветом ахнули:

— Господи, что же делать?!

Например, этот директор имел какую-то большую голову. Огромный глобус, а не голова, и это при сравнительно обычном теле!

— Ну куда такая?! — стонали учителя, едва голова виднелась где-нибудь...

Зато директор был очень умный. Он даже спал с книгами под головой вместо подушки. Его вообще из-за такой головы никуда не хотели брать. Но он очень любил детей, и вот, любя детей, он абсолютно самостоятельно выучился на директора. Пришел в министерство готовым директором. Там испугались — куда его девать. Вдруг радио говорит: в такой-то школе директор умер.

В министерстве и обрадовались: пошлем его туда! И послали. Директор тоже обрадовался: вот теперь буду править. Но не удалось ему... Зауч не дала.

А Зауч возглавляла собой педсовет и несла все властвование школой. Ну зачем ей еще директор? Только он заявился, у них с Заучем возникла вражда.

К примеру: заходит директор к Заучу и спрашивает:

— Ну как, удалось вам обдумать мой вопрос о благих изменениях школьного порядка?

— Удалось, — отвечает Зауч. — Я хочу предложить натягивать на больших переменах железные спецсетки, чтобы младшие классы не бесились и носились, а аккуратно гуляли между сетками.

Это она говорит вслух, а думает о другом: что у нее в столе бутерброд и кофе и кофе остывает, а при директоре пить нельзя, неудобно все-таки. Директор же ей отвечает:

— Пожалуйста, не надо беспокоиться.

То есть пейте, пожалуйста, на здоровье. А она думает, что это он про спецсетки говорит «не надо», и, раздражаясь, восклицает в ответ:

— Вот так любое начинание на корню вы губите!

Так они и беседуют: директор отвечает не на то, что Зауч сказала, а на то, что подумала, а Зауч все больше и больше раздражается. И непонимание между ними разрастается...

Главное, директору и правда не по душе были начинания Зауча. А она отменяла директорские желания.

Хотел директор в спортзале залить бассейн — педсовет отклонил. Хотел на крыше засеять фруктовый сад — педсовет усомнился.

— Ну хоть директорский час позвольте сделать! — взмолился директор.

— Какой это?

— Ежедневный час, когда детей обучает директор.

Ну, на это педсовет покопался да и дал согласие — пусть. Решили: вероятно, дикий образ директора спугнет детей. Только лучше будет!

И учителя объявили на всех уроках, что предстоит директорский час. А шепотом добавили, что директор очень страшный и что лучше вообще не ходить.

И дети некоторые не пошли, а те, что пошли, заранее томились страхом. И с тихим шепотом толпой собрались у входа в актовый зал, где директор затевал занятие.

Директор все предметы знал лучше учителей, как и положено директору, а сверх того и странные науки. Их-то он и хотел преподать. Вот стоит он на сцене и готовит аппараты для лекции про невидимые тела: прибор бокового видения, солнечные весы, ну и другое подручное. Приготовил все и ждет. А дети не идут.

А они сгрудились у дверей и не могут решиться — может, убежать вообще? Шепотом спорят:

— Нет, ну а вдруг он и вправду такой страшный, что на него даже одну секунду смотреть нельзя! Как прикует страхом, так и окаменеешь.

— Учителя-то видели, и ничего.

— Ничего! Они уже здоровые, зачерствелые... На них даже скелет не действует!

А была одна девочка, тайная эфиопская принцесса, которая всегда могла что-то выдумать. И она тоже нашлась.

— А давайте, — говорит, — зеркальце в дверь просунем и в отражение посмотрим. Отражения ведь не испугаешься! Это ведь не предмет, а один голый вид! А если покажется страшно, ну, убежим.

Хорошо придумала! У другой девочки пудреницу разломали и вынули зеркальце. Вот эта принцесса тихую щелочку сделала в дверях и зеркальце туда поместила.

Все шепчут:

— Ну что?!

— Подождите, — сердясь, отвечает та.

Но все напирали и расшатывали двери.

Директор наконец обратил внимание: что это за дверями будто возня? Отер руки о фартук, сошел со сцены и появился в зеркальце.

— Сюда идет! — крикнула тут принцесса.

Дети как завизжат! Что началось! Все бросились к лестнице, скатились до первого этажа — да в дверь, да на улицу! И долго еще топтались там, боясь даже в раздевалку спуститься за шубами:

— А вдруг он там сидит!!!

Но кое за кем пришли уже родители, и дети все-таки спустились. Спустились, оделись и разошлись домой.

Директор вышел из зала, а детей уже след простыл. Только слыхать далеко внизу визг и гром и зеркальце разбитое у дверей валяется. Заплакал тут директор, осколки собрал и ушел.

А Зауч все это время пряталась за занавеской и в щелочку все видела.

На другой день директор приходит в школу, а у него в кабинете уже целый педсовет собрался.

Зауч встала и объявила:

— По решению педсовета мы приказываем директорский час отменить и от детей вас изолировать. Ибо вопреки педагогике вы внушаете детям страх.

Поник головой директор и на стульчик сел. Тут учите-

ля ушли, а дверь за собой на ключ закрыли. Директор весь день и просидел взаперти.

Так и повелось с того дня. Придет директор пораньше в школу (как положено директорам, до восхода солнца), сидит в кабинете и ждет, пока дети к урокам набираются. Только их много станет и директор уж думает: «Не выйти ли к ним, не сказать ли душевные слова?» — как щелкает ключик в замке и директор оказывается заперт! Бьется он в дубовые двери, а в результате один лишь гул...

А отпирают директора только вечером, когда дети уже разошлись.

Да и то не сразу отопрут: сначала самую маленькую учительницу, которая еще никого не учит, а только завитушки под оценками проставляет, посылают по всей школе проверить — не осталось ли где ребенка?

Вот эта Завитушка обежит все этажи и тогда уж ударяет в колокол: можно открывать! И директора открывают.

Сами-то учителя домой идут, а директор один в пустой школе ходит. Он ведь и уйти не может до захода солнца (как и положено директору). Вот ходит он и плачет и вместо детей смотрит на одни их следы: считалки всякие, записки... Стоит директор подле этого и горюет. Только одна ему радость: подобрать чью-то забытую сменку, отнести к себе...

Наконец воскликнул директор:

— Пусть! Если и по правде я такой страшный, то голосто у меня все равно нормальный. Я свои лекции примусь в микрофон читать, а дети пусть на переменах слушают. Пусть они вообще не знают, что это я, а думают, что просто какой-то дядя.

А у директора на столе стоял микрофончик и соединялся с радионянями на всех этажах. Это сделано было на случай войны, если надо объявить тревогу. Что ни скажешь в микрофончик, слышно по всей школе. Вот директор и использовал это радио.

Как-то с утра, лишь только тронулась перемена, директор включил микрофончик и на всю школу в него объявил:



БУБУ
Б
БУ

— Доброе утро, дети! Я дядя. Просто дядя. Я хочу вам рассказать про ловушечное мастерство.

И начал лекцию.

Какая тут тревога поднялась в педсовете! Какая беготня! Крик!

— Долой! — натыкались друг на друга учителя...

Которые послабее, зажали уши, попрятались под столы. Более крепкие побежали вниз, в директорский кабинет, да директор изнутри стулом заперся. Другие полезли вверх, радионяни ломать, да только они крепко привинчены...

Тут вошла Зауч и приказала:

— Звонок — немедля.

Завитушка бросилась да как даст звонок раньше времени! Директор и перестал читать: не имеет он права мешать проведению урока!

В наставшей тишине дети поплелись на урок. Остались без полперемены. Педсовет же спустился вниз и начал у директорского кабинета выламывать двери. Тогда директор взял и зарастил эти двери. Пустили двери корни, побеги, ветви, переплелись и соединились между собою намертво...

Ломились-ломились учителя, но отступили ни с чем.

— Ладно! — сказала Зауч. — Не хочет открываться — пускай же так и сидит там!

И заколотили снаружи дверь досками и еще покрасили сверху зеленой краской: чтоб и памяти о директоре не осталось.

— А как же быть с его радиочтением? — спросили учителя.

— И на это есть у нас средство, — сказала Зауч.

И отменила перемены в школе.

И стали дети учиться сразу пять уроков подряд, даже шесть: из перемен накапливался целый дополнительный урок, и Зауч из него сделала Заучев час.

Самое обидное, что дети и не слыхали выступления директора: ведь на перемене все так бесились, что и пушки бы слышно не было.

Только два мальчика, которые толкались под самой радионяней, услышали, что кто-то «я дядя» говорит. А родители им часто говорили: «Если так будешь себя вести, тебя дядя заберет». Вот оба мальчика и решили, что это их пугать придумано. И они кинули в радионяню бумажным комком. А потом другим детям сказали:

— Да ну, это дядио какое-то! Дядио-гадио! Не будем слушать!

А кто-то предположил:

— Да это, наверное, тот директор, глупый и страшный! Хочет нас теперь через радио пугать! Дядей прикидывается? Пускай найдет дураков! Дядектор!

Долго они директора Дядектором обзывали и обидные записки ему писали и совали под заколоченную дверь. Так и подписывали — «Тебе, Дидектору». Прочел директор эти записки и заплакал от обиды. И с тех пор лекции свои читать перестал.

Горе Дидектору, печаль и уныние! Ходит, ходит он в кабинетике день и ночь. На счастье, в шкафу обнаружилась лестница до подвала. Стал Дидектор расхаживать в подвале и скоро обошел его весь. И шаги Дидектора, полные грусти, слышались даже на верхних этажах...

Бывало, ученик, выгнанный за безобразие, стоит в коридоре и слушает это: «бум, бум, бум». Он знает тогда: Дидектор в подвале ходит! Страшно, страшно! И приоткрывает ученик со страху рот, словно маленький кошелек.

И вскоре страх так увеличился, что иные дети, когда их гнали из класса, в слезах умоляли отстоять наказание внутри.

Тем временем Дидектор, лазая по подвалу, обнаружил в стенах потайные ходы, что ведут до самого чердака. Вот и принялся Дидектор лазить вертикально. Он лазил и из розеток тихонько выглядывал.

Дети играли и не подозревали, что Дидектор смотрит. А он целые часы просиживал и всматривался в детей — какие они? Но сам в конце концов все испортил.

Было так: одного какого-то выгнали с рисования, он стоял и плакал прямо возле пожарного ящика. Дидектор

не стерпел и высунулся утешать. Одной рукой схватил его за пиджак, а другой стал гладить по голове: «Маленький! Маленький!» А того как вырвет! С ужаса! Ну, после этого случая у детей начался такой страх!

Они и решетки, и электрические розетки, и дверцы пожарных кранов, все до одной, позалепили жвачками, и Дидектор ползал теперь в темноте и уж ниоткуда не мог выглядывать.

Дети вообще теперь по одному из класса не выходили: заранее договаривались, кто с кем будет вместе пакости делать, чтобы вдвоем, втроем только выгнали.

Все до того боялись Дидектора, что забыли даже про скелет из биологии. Раньше забегали к нему на каждой переменке, нарочно пугаться или кидать записки. Таких записок много валялось в витрине: «Скелет, приснись Подшибякиной, она мне русский кишканула» — и тому подобные просьбы. А теперь записки совсем запылились, скелет стоял одиноко, а потом совсем пропал, может, перешел в другую школу.

Педсовету очень нравилось, что дети так ужасно боятся Дидектора. Учителя, чуть что, пугали: «Сейчас отправлю тебя к директору!» Тут любой затихал.

Дидектор же тосковал все сильнее.

И вот однажды, совсем уже увяв, вышел он из стены раздевалки и уселся без сил на лавочку. Детей не было никого, только висела кругом их одежда. Дидектор содрогнулся от горя и, сжав кулаки, сказал:

— Что ж! Если дети боятся меня хуже чудовища, не покажусь больше им на глаза! Буду тогда учить их одежду!

И он заточил указку, и прокашлялся, и начал урок. Стал он учить шапки не завязываться на двойной узел, а варежки — метко кидать снежки, а ботинки — бегать быстро и не поскальзываться, а шубы — ничего не терять из карманов. Одежки сначала висели тихо и были совсем сонные, но постепенно оживились и не боялись Дидектора.

Так и повелось с того дня: приходят дети в школу, и, пока их учителя учат, в подвале их одежду Дидектор

учит. Потом дети одеваются и идут домой. И не замечают, что идти им легче — ботинки помогают; и портфель нести легче — варежки помогают; и думать легче — шапка помогает; и головой вертеть легче — шарф не душит, не кусает. Тут и делалось у детей хорошее настроение!

Далее Дидектор придумал еще: пускай одежки сами к нему ходят! И он их научил прирастать.

Главное — ноги, которые Дидектор научил из физкультурных штанов. Чем такие ноги были хороши, что бегали так, что куда там обычным брюкам! Дидектор даже не сразу сумел укротить штаны: первые минуты они носились по раздевалке вообще как бешеные!

Но он их все-таки воспитал. И еще, конечно, выучил шапки и варежки прирастать и служить своим шубам. Потом он купил каждой одежке в карман по фонарику. И научил светить и велел приходить к себе ночью.

И ночью, едва дети засыпали, одежки тихо выползали из шкафов и собирались в целого ученика. Когда все правильно срасталось, одежки тайком убегали. И крались с фонариками к школе. И никто их не видел.

В подвале одежки складывали фонарики в виде костра, и начинался урок. Один наблюдатель в это время стерег их в будке бомбоубежища. Когда проезжал первый троллейбус, значило — пора расходиться. Распевалась прощальная песнь, и одежки покидали свои крюки... Возвращались домой и опять разбирались на части.

Так обучаясь, одежки умнели день ото дня. И скоро, когда снег окончательно прирос к земле, одежки стали гулять уже совершенно самостоятельно. Собирались в кучки, кто с кем подружился, и бродили по ночам. И разыскивали для Дидектора елочные игрушки. А дети не догадывались про это.

часть первая

мишата попадает в город

маленький эпизод из прошлого мишаты, причем неясно, вымысел это или правда

Впервые Мицель увидела поезд зимой.

Отряд вышел из леса. Некоторые уже начали взбираться на железнодорожную насыпь, но Серый вдруг замер, прислушался, велел всем залечь и ждать.

Братья улеглись немедленно, прямо там, где застал их приказ, и совершенно слились со снегом. А Мицели стало любопытно, и она, вместо того чтобы спрятаться, поднялась еще на пару шагов, хватаясь за обледеневшую проволоку ворот.

Притянутые к земле головокружительными привязями, ворота эти возвышались над рельсами и лесом. Кругом них не было ни заборов, ни стен — ничего. Только черные нити уходили от их наверший, уходили вдаль, к следующим воротам, отсюда казавшимся просто буквой. Дальняя нога ворот, шагнув через насыпь, утопала в овраге на той стороне. Несколько елок выглядывало оттуда, маленьких и настороженных. Мицель посмотрела в правую и левую даль, но и там все было неподвижно. И лес позади стоял тихо — огромный необитаемый зал. Просторно и нехорошо было в нем — нехорошо от близости к рельсам, от оголенности, от того, что слишком редкие стволы здесь не давали укрытия, а стояли просто так, как могли.

Мицель отыскала Серого, чье недовольное лицо выглядывало из сугроба, и покивала: я понимаю, сейчас, мол, ага... Когда она опять подняла взгляд, справа уже был поезд.

Непонятно, как это он возник? Его красные брови быстро увеличивались, но тишина сохранялась в целости.

Бесшумность поезда заворожила Мицель. Она смотрела, как вокруг головы паровоза закипает косматая вьюга, как медленно летят хлопья снега с потревоженных проводов, и восхитительная смесь ужаса и восторга переполнила ее сердце. Тут перестук колес прокатился над лесом и тишина стала прогибаться под нарастающим воем...

Не помня себя, Мицель выскочила на сугроб и замахала и закричала что было сил! Но не услышала своего голоса и едва не упала от налетевшей вьюги... Вдруг показалось, что плавный изгиб насыпи не удержит полета гигантской машины и та ринется Мицели прямо в объятия... На миг она как бы лишилась чувств, и в ту же секунду главный вагон пронесся над ней, и следующие, страшным своим ветром теребя ее, принялись отсчитывать что-то громадное... Это продолжалось долго-долго — и внезапно оборвалось. Болтаясь, растаяли красные лампы последнего вагона, и все смолкло, будто над лесом опустили крышку. Но пустота, оставшаяся после поезда, оказалась тоже такой огромной, что Мицель никак не могла опомниться... Хлопая глазами, она озиралась кругом и все хваталась рукой, ища опоры.

Рассерженный Серый вывалился из сугроба и замахал, веля остальным подниматься наверх. Мицель, так как стояла выше других, первая оказалась на рельсах. Она сразу же посмотрела вдаль, где над узкой щелью железнодорожной просеки воздух еще дрожал от пережитого напряжения. Теперь уже не хотелось уходить с простора в лесную глухоту... Но Серый нервничал, торопил.

Мицель спрыгнула с рельсов в сторону оврага и зашагала вниз. И в рассеянии позабыв чин ходеб, в двух местах глубоко повредила снег своими валенками.

— Мицель сегодня дважды виновна, нехороша, несдержанна, невнимательна, — раздраженно скрипел Серый, нагоняя ее в елках. — Быстрее, товарищи! — негромко окликнул он двоих, что-то задержавшихся при входе в лес.

Он тревожился, так как после прохода поезда по полотну должны были проехать партизаны с целью осмотра рельсов. Мицель оборачивалась: ей было любопытно. Она нарочно шла медленнее, но партизаны не появлялись, а насыпь уже почти скрылась за елочными стволами. Не выдержав, Мицель тихонько взмолилась:

— Серый, а Серый! Пожалуйста, задержимся немного, я хочу посмотреть партизан!

Спина Серого замерла, и он повернулся к Мицели.

— Это еще зачем?

— Ну должна же я хоть раз их увидеть!

— Что такое? Ты же видела!

— Ну, при дневном, в смысле, свете, — поправилась она.

С кислым видом Серый покряхтел, пожался... Наконец с неохотой, бросая на Мицель сердитые взгляды, указал остальным на снег. Все присели.

Полотно железной дороги еле виднелось сквозь деревья. Стали возвращаться вспугнутые поездом птицы, и ничто, кроме их хлопота, не нарушало тишину, а снег опадал с веток беззвучно и долго сеялся в воздухе. Небо было бледное и только в одном месте пропитанное едким солнечным дымом. Мицель сделалось жарко от колючей шапки, а снимать ее не разрешалось, потому что шапка была белая, как и остальная одежда, и если шапку снять, то рыжие волосы Мицели далеко бы виднелись в лесу.

Сначала послышались стуки, раздвоенные лесным эхом... Следом донеслись голоса... Партизаны разговаривали негромко, но по-хозяйски уверенно, и в безмолвии леса их слышно было хорошо.

Одно за другим появились среди ветвей ядовито-оранжевые пятна. Они горели так ярко, что весь остальной мир, только что полный бледных оттенков дымного, жемчужного, сливочного, серебристого, вдруг оказался просто белесым.

Двое партизан катились на стальной самоходной тележке. Третий шел, придерживаясь за ее борт, и длинным штыком постукивал по рельсам.

Жуткие полупонятные слова партизан раздавались совсем рядом... Их едкий цвет оглушал зрение, от него сороконожка ужаса пробегала изнутри живота, и вместе с тем он неумолимо манил, притягивал... Впрочем, Мицель была осведомлена о подобных чарах и без труда удерживалась, замерев.

В том месте, где отряд пересек рельсы, тележка медленно поехала вперед, а ходячий партизан остановился, глядя на снег. И вот тут Мицель ужаснулась. Она вспомнила о своих следах. Она быстро оглянулась на Серого. Тот не двигался, глядя пустым и бессмысленным взглядом. Такого Мицель у него никогда раньше не знала. Повернувшись назад, она помертвела: лицо-пуговица партизана глядело прямо на нее. Прошло три секунды тишины. Партизан смигнул и поспешил вслед за остальными. Некоторое время еще продолжалось между деревьями его ядовитое мелькание, но вскоре белизна совсем успокоилась, и уже в ней не было партизан.

Мицель перевела дух и виновато взглянула на Серого.

— Они все равно не пошли бы в лес. Партизаны никогда не отваживаются на это, — процедил Серый ледяным тоном.

Но по смыслу его слова были утешением. Мицель стояла молча, опустив глаза и поджав плечо к замерзшему краешку уха. И на ресницах ее лежал иней. Слабые существа, она знала, не в силах противиться притяжению солярных красок и сами выходят к партизанам из чащи. На свою погибель. Но в сумерках эти чары теряют силу.

— Темнеет, пора торопиться, — сказал Серый и подтолкнул ее туда, где виднелись вопросительные фигуры остальных. Мицель повернулась и, осторожно ступая по поверхности снега, направилась в чащу, и Серый за ней.

в самом конце ее, будь она фильмом, впервые появился бы зеленый цвет

Мицель знала, что поезд создан для катания земляков. Она так редко видела земляков, и вот теперь, бредя в зимних сумерках, все пыталась припомнить, какие лица были у едущих в поезде. Наверное, лица были радостные — еще бы, ведь ехали в поезде! Но ни одного припомнить не удалось, потому что все окошки размазались от скорости.

Колян так и говорил: чем быстрее быстрое, тем невидимее оно для медленного...

Самые быстрые вещи, свет или мысль, невидимы вовсе — до тех пор, пока не утратят скорость: пока свет не повстречает твердь, а мысль не породит дело. И Мицель понимала, что счастье ехать в поезде происходит от счастья частичной невидимости, от счастья приближения своих свойств к свойствам мысли и света, что способна дать только скорость.

Скорость делает земляков счастливыми; но Мицель не могла испытать того счастья, потому что жизнь обители требовала бесконечного покоя и тишины. И от этого Мицель иногда грустила в своей землянке, и участливые попытки братьев создать веселье пропадали зря.

Мицель была, конечно, очень мудрая (так, по крайней мере, считало общество, наперебой восхищавшееся ее умом, сердцем, красотой), но все-таки еще маленькая, восьми с половиной лет. А такой, несмотря даже на мудрость, нужно хоть иногда повеселиться, попрыгать или пошуметь... Она этого никогда не делала. Вовсе не потому, что ей запрещали, а потому, что за годы жизни в оби-

тели твердо усвоила привычку особенного молчаливого внимания к миру, необходимую, чтобы видеть скрытое. Почтение к окружающему так глубоко владело Мицелью, что она хоть и могла порою резвиться, как положено маленькой, но сама себе не позволяла.

Колян, как и остальные, тоже привык любоваться легкими движениями Мицели в снегах и тенью улыбки, никогда не покидавшей ее лица, но в конце концов обеспокоился и приказал сделать для нее сани, чтобы кататься с гор и предаваться скорости.

В прошлом году было сильное поветрие устраивать засады на лыжников, и, хотя эту практику быстро признали ложной, в обители скопилось много целых лыж или обломков. Из старых лыж и смастерили сани.

И Мицель с удовольствием каталась на санях, но проходил первый восторг, и ей становилось неловко за покой деревьев, на чьи стволы, она знала, медленно нанизываются кольца времени, и за поврежденный снег — ведь он был отражением звездных карт, невидимых с земли, но видимых тучам, которые и дали снег.

Бережливость Мицели к снегу усиливалась и оттого, что главные его тайны были от нее скрыты в силу ее земляной природы. Она была способна использовать некоторые свойства снега (например, получать от него ночной загар, предохраняющий от холода, или не проваливаться, ступая по верхушкам кристаллических пирамид), но исчислить форму будущих и предыдущих событий, как это делали братья, она не умела.

Однажды она спросила Коляна: как им, таким увалистым существам, удалось отыскать друг друга для совместного проживания? Колян указал на ледяные соцветия, покрывшие окошко землянки:

— А откуда они знают, как соединиться в узор?

Тогда Мицель как бы заново осознала, насколько глубоко родство между снегом и окружающими ее существами, и оставлять поверх их тончайшего мира грубые бессмысленные следы саней стало для нее невозможно. И она забросила сани, но сама сделалась еще задумчивее.

Домой отряд вернулся поздно, в третьем часу, но Мицели не хотелось спать. Насидевшись возле костров, она отправилась бродить по обители и на южном пустыре, залитом лунным светом, отыскала Серого. Склонясь, тот отмечал в дощечке оборот елочной тени на сугробе.

Он не обернулся к Мицели не потому, что не знал о ее приближении, а потому, что был ею недоволен. Мицель постояла рядом с ним, поеживаясь в тишине, и потом попросила:

— Серый! Поговори со мной!

Серый не сразу оставил свое занятие. Еще что-то переправив, он подумал и только потом обернулся.

— Скажи, — продолжила Мицель, посмотрев на луну, на черную тень справа, на строгое лицо Серого, — город, он какой?

— Я не видел, никто не видел, — отвечал Серый. — Только лес... А за ним — длинные башни.

— Башни? Какие они?

— Бум-бум, — покивал он головой в ритме, заунывно доносившемся с опушки вместе с отблесками костра, — бум-башни, трубашни, трубарышни высокие. Высокие-высокие башни, и из каждой идет дым, дым день и ночь. Дым я видел.

— Дым... — повторила Мицель.

Ей было зябко стоять, и она тихонько притоптывала, спрятав руки в рукава и выпятив по бокам локти. Приоткрыв рот, она стала нарочно выдувать дым, и, переливаясь в лунном луче, он скрыл ее лицо от Серого. Серый болезненно поежился: когда лицо скрылось, он попытался восстановить его в памяти и не смог. Он обнаружил, что не помнит, не может представить себе это лицо, самое прекрасное лицо, виденное им за короткие годы жизни, и раздраженно сказал:

— Не надо так делать! Морозная ночь, а Мицель, как всегда, без шапки. Город — трудное место, и те из нас, кто имеет несчастье там родиться, платят рассудком. Мицель это видела. Зло угрожает нам повсеместно, но в городе его родина.

— Шапку я сняла, потому что она замерзла, — сказала Мицель, прекратив выдувать дым. — Трехрукий говорил, что в городе самое скверное на свете соседствует с самым прекрасным. Не только родина зла, но и родина всего наилучшего... Что там каждой трубе как бы соответствует свой колодец, и вообще город, он во всем углублен, равно как и возвышен, словно лес, отраженный в озере.

И она показала на озеро и на лес, и Серый машинально тоже взглянул туда, хотя никакой воды там не было, а был пустынный сияющий снег и тьма. И это заставило Мицель сильнее сгорбиться и поглубже засунуть в рукава руки; исподлобья она глядела на Серого.

— Мицели пора в тепло, — произнес Серый, наблюдая за ней, — у Мицели голубые губы. Трехрукий — серповидец, но может ли он прорицать о городе, где не был ни он, ни кто-либо из его родни? И можно ли полагаться на него в земных вопросах вообще? Талантлив в знамениях и прорицаниях, но таков ли в делах повседневности?

И Серый простер руки вверх, то ли указуя на луну как свидетельницу пророческого дара Трехрукого, то ли себе на голову, сомневаясь в его здравом смысле. Мицель увидела, что Серый еще в раздражении на Трехрукого после их недавней ссоры из-за дров. Она сказала:

— У тебя луна над головой как шляпа. Не сердись, я сейчас пойду спать.

Ласково улыбнувшись Серому, Мицель отвернулась и, ссутулясь, побрела к опушке. Глядя ей вслед, Серый приподнял над доской свой уголек, словно готовясь записать что-то. И то, что он мог бы сейчас записать, относилось не к теневой дуге, а к тому, что Мицель уходит, что вскоре покинет их навсегда, о чем знал и Серый, и Федотова, и сам Колян, и каждый житель их холодного поселения.

И это действительно произошло в середине августа, ближе к вечеру, когда они, пятеро провожающих, стояли на пригорке возле края леса и, закутанные по самые маковки, хватаясь за деревья и друг за друга, топтались и тянули головы, чтобы разглядеть на платформе ее фигурку.

Длинный и тонкий поезд остановился у платформы, но они не увидели, как она садилась: несколько земляков столпилось у дверей, и ее совсем заслонило. Поезд тронулся, и вскоре даль, насколько было видно с пригорка, опустела вовсе: только птицы кружились над соседним лесом и тень облака восходила на холм. А они все стояли, словно потеряв всякое предназначение и смысл, не зная, где найти силы, чтобы вот теперь взять и развернуться, и уйти в лес, и дальше жить без нее. Они были полностью замотаны тряпками, так что только носы торчали. Но и приподняв тряпки, трудно было бы прочесть что-нибудь в их лицах: ведь, вопреки общему представлению, эти существа не умеют плакать.



мишата опаздывает на несколько лет

Кажется, что пойманная птица мечется в клетке. На самом деле это мироздание кувыркается вокруг нее. В безвыходно новом мире птица теряет вертикаль, вселенная летит во все пропасти сразу, и птица напрягает силы, чтобы самой удержаться от полета.

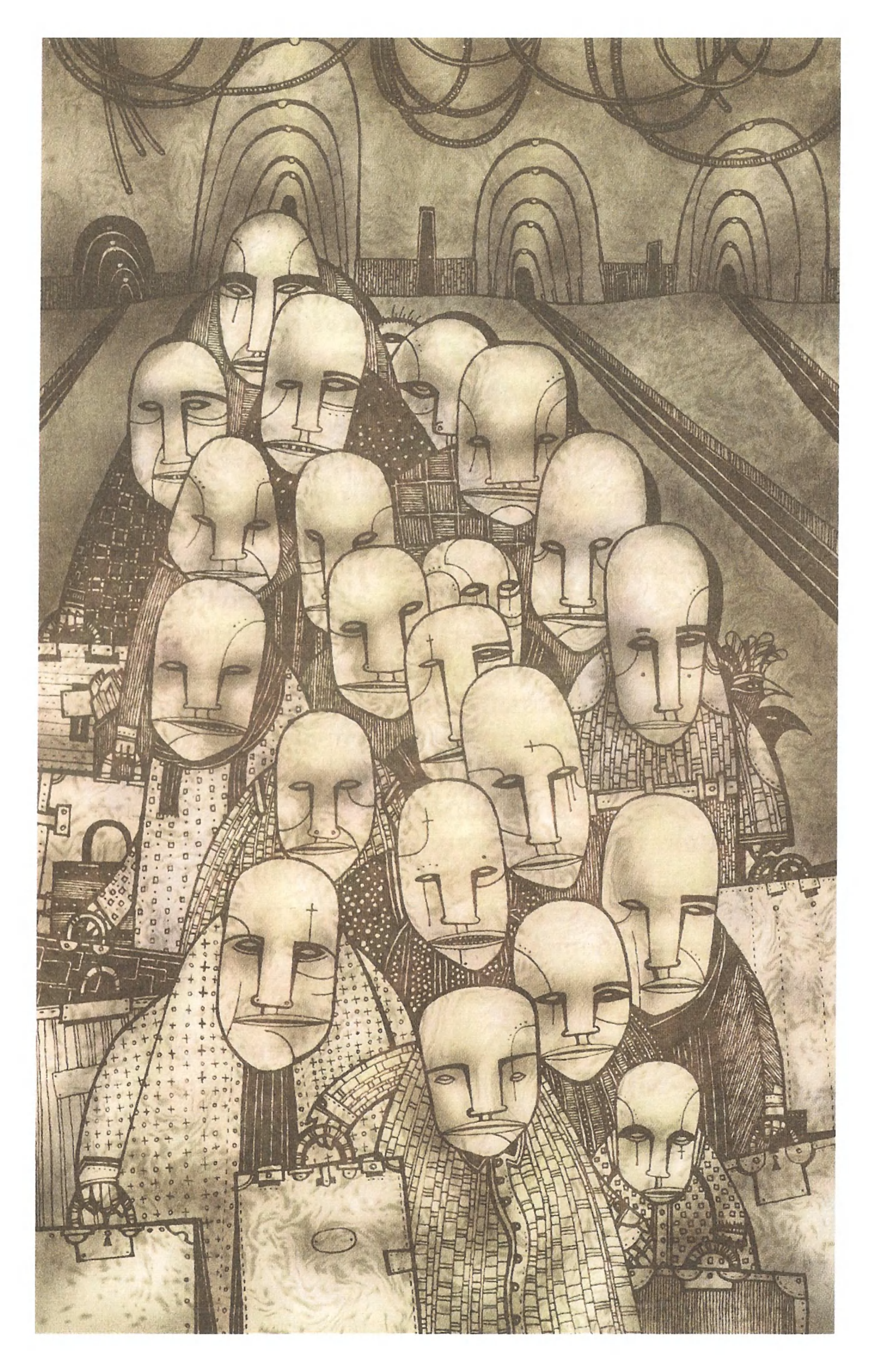
— Иначе собственным сердцем подавишься, — ошеломленно заключала Мишата.

Да, с самого начала все пошло как-то не так.

Казалось, вот-вот она соскользнет в какую-то бездонную яму... И совсем не за что зацепиться! Ни сердцу, ни уму — ничему. Мишату окружал мир совершенно новый и совершенно страшный. Знакомые вещи: заросли, деревья, столбы, луга, мокрые после недавнего дождика, — блистали с невероятной скоростью мимо, а все, что находилось в покое, было чужим. Сжавшись в углу лавочки, у окна, Мишата пыталась унять переполох чувств, но напрасно.

Древесный сук, взглянувший из скользкого склепа лака; створка двери, оживающая внезапно и бессмысленно, как оторванный хвост ящерицы; нехорошая надпись красными буквами, которые не могут из нее сбежать, потому что у них специально перерезаны ножки... А главное — земляки, все без исключения сидящие лицом к Мишате! Это было невыносимо; синица в Мишате, мышь в Мишате, блоха в Мишате напрягали все свои крохотные силы, чтобы не обезуметь... Еще, казалось, немного, и они понесутся кубарем, задыхаясь и вереща, и потянут за собой всю оставшуюся Мишату...

Пришлось закрыть глаза.



Чего не умеет ни синица, ни мышь: внимательные к миру вокруг, они не подозревают о своем в нем присутствии.

— В конце концов, затем и путешествуют все те, у кого разум цветной, — шептала Мишата, постепенно успокаиваясь в собственных потемках. — Когда живешь неподвижно, привыкаешь к вещам и совсем доверяешься им... А о себе забываешь... А когда все вокруг сходит с ума, приходится себя вспомнить... Только страшно побежать в себя и ничего не найти. Но у меня, к счастью, вроде чего-то есть...

Она исследовала себя в темноте и убедилась: да, много всего, просто полно всяких приспособлений, укрытий, запасов, кладов и тайн, и переполох чувств где-то на границе этого мира не долетает сюда. Здесь все подчинялось не чувствам Мишаты, не ее разуму и сердцу, а ей самой. И здесь, если захотеть, можно было находиться и не соскучиться вечно. У этого царства не было одного края, и солнце появлялось оттуда тогда, когда требовалось, его лучи прогревали всю Мишату целиком, до поверхности, и, превратившись в улыбку, гасли. Благодаря этому Мишата, в сущности, могла улыбаться чему угодно и на что угодно смотреть: подумаешь, самый обыкновенный поезд, тем более она мечтала попасть в него столько времени, и что же теперь сидеть с закрытыми глазами как дура.

Итак, забившись в себя, Мишата понемногу накопила силы, а с ними — уверенность, и на ее трепыхающиеся чувства сошел постепенно покой, и, пока он сходил, медленная улыбка проступала на ее губах и открывались глаза.

— Но все-таки не так сразу, — извиняясь, прошептала Мишата, — не сразу же поезд.

Она имела в виду, что для начала ей легче смотреть в окно, где проносятся предметы знакомые и нестрашные.

«До свидания, куст. До свидания, будка! — мелькало в голове Мишаты. — До свидания, всякая травинка, прощай, коза, прощай, колючая проволока!»

Грусть так сгустилась, что Мишата уже заморгала.

— Еду в город! Увижу город! — пыталась она себя радовать.

Но это мало помогало... Чужой, с пялящимися земляками поезд оставался здесь, а милая земля уносилась от нее прочь.

— Да невозможно просто! — шмыгнув носом, рассердилась на себя Мишата.

И, оторвавшись (даже с некоторым облегчением) от окна, она мельком взглянула на лица земляков, белеющие в сумраке вагона. Куда-то ей надо же было взглянуть!

Земляки по-прежнему сидели лицами к ней, ни одного затылка... И вдруг она заметила, что они вовсе не изучают ее, как ей все время казалось, а или читают, или смотрят в окно.

«Чего же они тогда ко мне лицами сели?» — удивилась Мишата.

«Да они смотрят вперед, чтобы не плакать! — осенило Мишату. — Одна я неправильно села! Спиной к движению! Вот мне и кажется, что поезд меня увозит».

Она немедленно пересела на лавочку напротив... И что же? Мир изменился необыкновенно!

Все кивало ей издалека, махало, приближалось и здоровалось радостно.

Плакать расхотелось.

— Еду! Еду в город! — воскликнула себе Мишата и развеселилась.

И, отвернувшись от окна, принялась рассматривать поезд. Настроение опять испортилось.

Они просто ехали понурясь. Вяло читали, устало смотрели в окна. Никто не веселился и не радовался. Земляки вели себя так, будто ездят в поезде каждый день. И делают это помимо своей воли... Похоже было, что все они просто терпят езду... Коротают езду, словно пресное или даже горькое дело.

Мишате не верилось, что, едучи в поезде, можно остаться равнодушным, а тем более — мрачным.

— И с чего грустить землякам? — недоумевала она, снова и снова украдкой поглядывая на лица. Ни песен, ни улыбок, ни оживленных бесед... Чем-то загадочным веяло от этой картины. Словно земляки не ждали ничего хорошего от своего приезда в город. Холодея, Мишата все глубже всматривалась в них.

В них как бы не было ничего страшного.

Страшным было то, что в них как бы ничего не было.

Они сидели с таким видом, словно не нуждались в своих лицах. Лица висели у них, как промокшие флаги, не оживляемые внутренним ветром.

Земляки шуршали. Одни расставляли значки в бумажных гадалках, другие осторожно жевали что-то нескончаемое, третьи шевелили газеты — и так сдержанно, словно перестилали постель спящего ребенка.

И жуткое сомнение шевельнулось в груди Мишаты. На мгновение ей словно приоткрылась ужасная правда, оскорбительная и безжалостная догадка блеснула в сердце. Но она отогнала эти ложные мысли, эту непозволительную слабость.

Два человека с разными лицами, но в одинаковой серой одежде вошли в вагон на полном ходу, впустив за собой немного грохота. Видно было, что они очень хорошо приучены ездить — так умело они покачивались, ни за что не держась. Их одежда хранила строгое выражение. Медленно двигаясь по проходу, они принялись внимательно осматривать каждого земляка или то, что он вынимал из карманов. Стражники, пограничники. Проверяют каждого въезжающего в город.

Их появление сообщает: настала последняя минута, чтобы передумать. Еще не поздно встать, извиниться, пройти назад. Выйти на станции. На то и ходят стражники, чтобы каждый мог еще раз задать себе вопрос — действительно ли решился? Готов ли к борьбе с ловушками разочарований, капканами тоски? К лабиринтам бессмыслицы, из которых не выбраться? Увяданию в себе ростков будущего? Кто вынесет подобные муки? Не лучше ли вернуться, пока есть время?

Не торопясь, стражники сурово и вопросительно всматриваются в лица... На их шапках, на пуговицах и пряжках железные знаки — двухголовая птица, глядящая и вперед и назад, птица выбора, которого у Мишаты нет. Какие бы скверные предчувствия ни одолели — возможности отказаться, передумать нет. И никто не передумал.

Только один земляк вдруг не выдержал, сорвался с места, посеменил назад, грохнул дверями... И Мишата видела, как потерянно, как жалко-напряженно исказилось его лицо... Она отвернулась, перевела дух, взяла себя в руки. Если и была секунда колебания, то Мишата снова стала тверда.

Все молча показывали стражам бумажки.

У Мишаты тоже была при себе бумажка — объявление из газеты, ради которого Мишата, собственно, и покинула лес. Когда старший стражник поравнялся с ней, Мишата протянула ему объявление.

— Это мне? — спросил тот с большой высоты, густым голосом перекрыв грохот поезда.

— Только не насовсем, — крикнула Мишата, приподнимаясь с улыбкой, — мне это самой надо! Но вы можете прочитать.

Пограничник поднес листочек к глазам.

— «Модельное агентство “Розалия”, — стал он читать, — приглашает желающих на отборочный тур к конкурсу красоты “Мисс Транснефть-2000”. Проживание и питание! Возможность трудоустройства! Стань королевой красоты!»

Прочтя, он не то чтобы улыбнулся в ответ, но утратил свою строгость. Лицо у него было загорелое, а глаза голубые, и пуговицы были красивые, золотые, украшенные птицами выбора, и зубы золотые, хотя не украшенные.

— Что же, родители отпустили? — спросил он Мишату.

— Меня все отпустили!

— И не страшно одной?

— Не страшно! Потому что так надо!

Он покивал с игрушечным уважением в лице, и Мишата перевела дух.

А пограничник все стоял и помахивал объявлением, словно не зная, что с ним делать дальше.

— Где же ты его взяла, двухтысячного-то года? — спросил он Мишату.

— Из газеты, — крикнула она, — а газету в лесу нашла! Но мы ее по праву забрали, потому что этот земляк, охотник, который бутылки и газету оставил, забрал с елки одну елочную игрушку, которая гораздо ценнее этой газеты!

Стражник кивнул опять. Тут подошел второй пограничник, «тень». Как и положено, он был подозрительнее и угрюмее первого. Толстыми пальцами он забрал объявление и, сдавив, поднес к самым глазам. Перечел раза два, шевеля губами, и даже заглянул на другую сторону. При этом он посматривал и на Мишату, как бы сравнивая буквы с чертами ее лица. Наконец с видимой неохотой вернул Мишате смятое объявление, и оба пограничника отвернулись и устремились прочь, где освободили следующий грохот.

Мишата, ослабев от волнения, откинулась на спинку лавочки.

Граница была позади.

Город медленно заглатывал поезд.

По мере того как снаружи разрастались дома, темнело, будто их изобилие порождало сумерки. Бледные остатки неба виднелись теперь только на самой выси, в щели между рамой вагонного окна и зубчатой линией темноты.

И вот за стеклом проплыли громадные дымящие башни. Со страхом и почтением Мишата наблюдала их великое шествие. Когда башни скрылись, Мишата увидела первые огни, означавшие поражение и гибель дня.

Вскоре фонари подступили так близко, что подожгли лампы внутри вагона. Те зарозовели в два ряда, мигнули и вспыхнули, вмиг уничтожив остатки дня за окном.

Внешняя чернота затянулась пленкой отражения с фигурами задремавших соседей-земляков, желтым свечением лавок и платочком самой Мишаты. Трудно было приспособить глаз к тому, что творилось дальше: отражение отталкивало взгляд, словно масло воду. Тут Мишата рассмеялась.

Отражение, не имея даже ничтожной толщины, заставляло отказаться от целого мира, поверить в то, что там, за окном, все тот же поезд, набитый уродливыми призраками, а вовсе не влажная ночь, полная благоухания железнодорожной смолы.

— Глупости! — встряхнулась Мишата. — Просто померещилась чепуха какая-то.

Ей стало совсем легко, может быть, потому еще, что всегда так становилось после захода солнца. Какая-то тяжесть исчезала с плеч, мысли делались яснее и глубже дыхание.

Наконец поезд застрял и тяжко испустил дух. Тогда Мишата встала и на онемевших незнакомых ногах направилась к выходу.

По блестящей каменной дороге шли в одну сторону земляки.

Вдали стояли огни, сырой подсвеченный туман и что-то огромное.

Мишата шагнула на твердый камень, в дождливый воздух. Холодная капля упала ей на руку, прохожий на ходу переложил сумку из одной руки в другую, поднял руку со скипетром стражник на площади и дунул в свисток, и вдали отозвалась, завыла труба, по всему городу перекликнулись часовые, стрелка звездного циферблата в разрыве туч скакнула на следующее деление, заплясал в подвале безумный директор, а выше, на трубах и шпилях города, зажглись рубиновые огни, предостерегая от чего-то влажную черноту.

начинается диалогом, а кончается побегом

— Скажите, пожалуйста, где выбирают королев?
— Эт-та, пардон, я не поэл.
— Простите, я не поняла.
— Чет-та я тут недопоэл.
— Простите.
— Пардон.

— Добрый вечер! Можно спросить?
— Спроси, беби.
— Где выбирают королев?
— Игрушечных — в ларьке. А настоящих — в Англии где-то.
— А где это?
— Ларек — вон. А Англия дальше.
— Так куда же мне все-таки идти?
— Спроси у мамы.

— Чего ты хотела, дамочка?
— Я только хотела спросить. Где тут конкурс королев?
— У нас отдельно. Есть «Королева» за тридцать пять и «Конкурс красоты», набор. Но сейчас его нету.
— Простите, но я хотела узнать про другое. Вы говорите о предметах, да? А мне нужно — явление.
— Как?
— Ну, конкурс красоты как явление. О нем в газетах писали.
— Не знаю я об этом, дама. У нас — товар.
— Может быть, вы знаете, где Англия?
— Я знаю, что уже десять часов.
— Да?
— И тебе не в Англию пора, а спать.

— Не подскажете, как отыскать агентство?
— Справочное?
— Модельное.
— Не знаю. Я не справочное агентство.

Вечер, дождь и толпа!

Дождь подхватывал вечер, удваивал количество огней, да что там удваивал — каждая капелька блистала отдельно, каждая кепка и каждый зонт! Свет сделался жидким, тек ручьями из автомобильных фар, тяжелыми искрами сыпался с крыш. Немного света было смыто на асфальт с каждой лампы, витрины, вывески. Вывески были такие: «Желдорпресс», еще: «...ский вокеал», еще: «Зал ожидания»... Ноги топтали пролитые, растаявшие буквы. Однако обходили — жалея — те, что, упав в лужи, сохранились в целости. Лишь иногда эти буквы разбивались вдребезги колесом сумки-каталки.

Потом эта сумка, припадая на одно колесо, неловко спускалась по лестнице... И в какой-то момент пропадала, ее закрывали зонты, блестящие, как маслята. Только маслята сырые под шляпками, а земляки под зонтами были сухие и направлялись домой. Их ждала крыша, постель — что за беда им промокнуть? Вот Мишате, которой мокнуть было нельзя, ибо высохнуть негде, действительно требовался зонт. Но именно у Мишаты зонт отсутствовал.

Толпа все так же двигалась мимо, земляков было много-много, и казалось, что все это один земляк-человек, бесконечно размножившийся.

Мишата встряхнула головой, потянулась, топнула. Набрала в ладонь немножко дождя и размазала по лицу. Подняла свой ранец и нырнула в лямки.

Поздним вечером, когда день уже далеко, время словно прекращает свое движение. В эти особые часы тоска покидает сердце, неудачи перестают огорчать, решения выдумываются с легкостью. Остается, пользуясь приливом чудодейственной силы вечера, успеть найти ужин, очаг, постель.

— На сегодня хватит, — твердо решила Мишата. — Запрещаю себе думать обо всем, кроме ночлега! Он там, куда движутся люди. Значит, мне за ними.

Густой поток людей неторопливо и неуклонно двигался вниз по лестнице и исчезал в подземном коридоре, помеченном красной буквой «М». Казалось, тот ведет к огромному «Вокеалу» — зданию в каменном кружеве, железном куполе. Однако вряд ли все люди могли там поместиться.

— Но это не беда, тесно так тесно, я не ищу лучшей участи, — рассуждала Мишата, пытаясь протиснуться в толпу, налетая на столбы и ведра для мусора...

Наконец она догадалась: сняла ранец, сунула его в щель среди земляков, и руку сразу втянуло, а следом и всю Мишату. Она сразу перестала мокнуть: над головой сомкнулись зонты. Было душно и влажно; ее сжали со всех сторон, она закрыла глаза и только переставляла ноги.

— Точно в поезд снова села, — сказала она, отдыхая.

Ступени кончились, и сразу же — дождь. Толпа повернула в длинный коридор, ход ускорился, и топот возрос. Попалась стеклянная дверь, беспомощно мотавшаяся в густой толпе. Когда Мишата толкнула ее, железная толкалка оказалась прямо-таки горячей от сборного тепла тысяч разных рук, на секунду прикоснувшихся к ней. И очень гладкой, полированной тысячами метров человечьей кожи.

Тут же поперек обнаружились частые воротца, словно расческа на пути у толпы. Мишата, почти вдавленная в чью-то спину, прошла и попала в белоснежное свободное пространство, где растворялась толпа и над каменными цветниками медленно вращалась карусель золотого света, настолько огромная, что даже летали голуби...

— Вот, значит, как они живут, — с тревожным благоговением всматривалась, шагая, Мишата. Но прежде чем она опомнилась, купол исчез, под ногами открылась головокружительной глубины лестница и без всяких предупреждений стала плавно проваливаться вместе с толпой.

Никто не захотел остаться в прекрасном зале, все стояли теперь на живой лестнице, а некоторые, не сдержавшись, бежали по ней вниз.

— Что же там такое? — гадала Мишата, потрясенная происходящим. — Что же может превзойти этот только что бывший зал? Еще один, еще больше, еще светлее?

Гадай не гадай, а земляки единодушно стремились туда, и Мишате оставалось только преследовать их... Внизу, перепрыгнув на сушу, Мишата продолжила погоню. Скорость движения никак не изменилась, толпа словно и не заметила, что из-под нее убрали лестницу и снова работают ноги. Главным было движение к цели, к цели, неведомой Мишате, но ясной и желанной для всех остальных. Никто не размышлял, не задерживался, не колебался в выборе пути, не удостаивал даже взглядом драгоценные убранства подземелий.

Промелькнул длинный коридор, увитый бронзовыми зарослями; погрозились и исчезли вязанки ружей; одна за другой отстали колонны; толпа повернула, и Мишата чуть не ахнула от нового вида. Перед нею был протяженный зал, столпы которого невозмутимо стояли по колено в бурлящем людском потоке. Мишата замедлила шаг... Но сию же секунду на нее нажали, наступили, наподдали, и ошарашенная Мишата с головой провалилась в человеческую гущу.

Теперь главное стало — не сбиться с ноги, не потерять скорость. Мишата бежала в движущемся колодце, полном матерчатой тьмы и запаха мокрой ткани. Высоко над головой проплывали сверкающие картины, флотилии факелов, но ничего не удавалось рассмотреть, нельзя было отвлекаться...

— Видимо, нас ждет что-то невероятное! — волновалась, спотыкалась Мишата.

Никто не удостаивал взглядом окружающую красоту. Она, значит, и в сравнение не шла с тем, что предстояло увидеть впереди. Нетерпение толпы возрастало, и скорость тоже. Многие земляки спешили не только сами, но и тащили за собою вещи. И какие! Телеги тя-

жестей, валуны баулов... Спотыкаясь, семенили дети... Вдруг открылась новая лестница, и толпа обрушилась вниз. Иные убранства, еще тоньше, еще чудеснее, полетели над ней, но Мишата нарочно теперь не смотрела.

— Дальше — лучше, дальше — лучше, — ровно дышала она, трудясь ногами. Она видела, как растет напряжение в лицах земляков, как пот заливает их глаза, как скалятся зубы... Но чем утомленнее делались лица, тем мощнее становились движения, громче грохот каблуков, и было ясно, что цель все ближе и ближе.

...Снова лестница, теперь уже вверх, и многие земляки, не довольствуясь спокойной ездой, бросились подниматься пешком. Хотя и нужно было беречь силы, Мишата, захваченная общим порывом, бросилась тоже. Все выше возводила лестница, все яростнее сипело чье-то дыхание за спиной... Вот и конец... Снова колонны, коридорчик, каменные ступени, зал...

Уже не обращая внимания на красоту — а из розовых столбов здесь когда-то ударили каменные фонтаны, растеклись по потолку, сбежали по стенам, застыли потеками меди, — но мимо, мимо — Мишата кинулась бегом. И все бежали. Тяжко тряслись толстяки, ковыляли старухи, воздух гудел, как рассерженный рой. Мишата понемногу глохла от детского плача, выкриков, брани, заливистого свиста стражи. И чем оглушительнее становился шум, тяжелее духота, плотнее давка, тем неистовее рвалась к своей цели толпа... Все ускоряясь и ускоряясь, Мишата достигла следующей лестницы и вместе с напирающими земляками устремилась вверх. Показалось, яростный восторг охватил пассажирскую массу оттого, что эта лестница коротка и что кончается она озером чистого света, золотящейся глубиной...

— Наконец-то! — едва не крикнула измученная Мишата... Последним рывком преодолев несколько ступеней, она, в завихрении толпы, вынеслась на простор желанного зала.

Зал был обращен к ней затылком. Незнакомо махали двери, казалось, другие голуби сидели на таблицах

с лукавыми стрелками, предлагающими Мишате продолжить путь, — и все-таки это был тот самый зал, откуда началось ее путешествие. Тот же зал — как он ни отворачивался, ни переменял свои стороны света. И в плавном купольном изгибе, казавшемся раньше широкой улыбкой, мелькнуло теперь что-то столь хитрое и жадное, что Мишата зажала ладонью рот и укусила рукав телогрейки.

Как ей сделалось плохо на миг, как тошно! В глазах потемнело, и в этой тьме она видела:

как двоится толпа, как часть земляков идет по тому коридору, что ведет к поездам, а часть, ни минуты не колеблясь, пересекает зал и опять исчезает на лестнице, ведущей вниз;

как земляки, столпившись у лестницы, начинают тупо и страшно раскачиваться с боку на бок — точь-в-точь «соленые», безумные шатуны, появлявшиеся в лесу зимой;

как рядом с хрустальной люстрой, похожей на ослепительный торт, гнилостным светом теплится желтая лампочка — но именно она помечена красным знаком;

как за позолоченной решеткой завывает тьма и ветер из бездны качает бороды пыли.

«Значит, так они и ходят по кругу?..» — прыгали в голове ужасные мысли.

Толпа продолжала нести Мишату, и пасть подземелий вновь приближалась к ней. Душные меха и лохмотья тащили ее мимо сияющих гирлянд, каменных садов, золотых лужаек... Собравшись с духом, она шагнула в сторону — и тут же ощутила мощь толпы, ее поперечную неуклонность. Упругая, душная масса тел немного пропустила ее, а потом с удвоенной силой швырнула назад.

До лестницы оставалось шагов десять, ну пятнадцать.

Сжавшись в комок и хрипло выкрикнув обрывок заклинания — первого попавшегося, на закваску грибного вина, — Мишата кинулась вбок повторно.

Сумки бодали Мишату, сапоги швыряли ее, как мяч, захлестывали полы одежд... Неведомо как, вертясь, извиваясь, ввинчиваясь в щели между телами, Мишата вырвалась.

Она оказалась на сравнительно пустом пространстве. Прямо над нею пучился купол. Стена земляков со стоном двигалась мимо. Мишата оглядывалась: направо, налево, назад...

«Долго стоять нельзя, — билось в ее голове, — привлеку внимание. Что делать? Это ловушка, но ловушка, которая работает в одном направлении! Значит, выходить надо там, где другие входят».

Ей больше ничего не оставалось. Она тихо приблизилась к серым воротцам, сквозь которые входили с улицы земляки.

Короткий отдых — несколько минут или даже секунд — изменил ее состояние: ноги казались тяжелыми, а голова пустой, но страх куда-то подевался, и в мыслях было легко. И на сердце как-то спокойно — хотя Мишата не обманывала себя, понимала, что отсюда так просто не выбраться. Только с дыханием она не могла справиться — как запыхалась от испуга, так и не могла успокоить грудь.

Ей пришлось подождать, пока опустеет дорога.

И как только путь стал свободным, Мишата стремительно бросилась в узкий проход.

В тот же миг из незаметных прорезей в стенках прохода грянули черные клешни.

Они с лязгом стукнулись друг о друга и закрыли путь. Если бы Мишата прыгнула резче, она оказалась бы как раз между клешней и они перешибли бы ее пополам. Но слабость Мишаты спасла ее: клешни громыхнули, едва задев.

Как белка, Мишата скакнула назад. В воздух взвилась громкая музыка: ворота играли тревогу... Заголосили вокруг земляки... Свист привратников забуровил зал.

Теперь ей важно было не останавливаться ни на миг, прыгать, вертеться, метаться туда-сюда… Цельного мира больше не существовало — его обрывки, как ветви, хлестали ее слух и зрение. Каталка, выбитая ногами у грозящей старухи… Пухлая рука с газетой, занесенная над головой… Выпученные глаза дежурной, толстым телом затыкающей путь… Стеклянная витрина с надписями, пролетающая на цепях высоко-высоко…

По-заячьи вильнув, оторвавшись от преследователей, Мишата на бегу перехватила ранец и, выставив его вперед, метнулась в ворота. Клешни тяпнули ранец. Мишата, отчаянно брыкнувшись, перепрыгнула их. С шипением затормозив по ту сторону, она развернулась, схватила лямку и дернула ранец из клешней. Опять чья-то рука, но Мишата лязгнула зубами, и рука исчезла. В глазах покраснело, однако ранец удалось вырвать. Прямо спиной, сшибая кого-то, она кубарем вылетела на улицу. Лужа, брызги! Огни, гудки, земляки… Мишата бросилась наутек.



мишата находит приют

Белое здание поднималось во мрак сотней каменных ребер, и было не различить вершин, потому что, если поднять лицо, глаза сразу начинали щуриться и моргать от летящих брызг дождя.

Дальше лежала площадь, за ней — грузная тьма с костлявым зубчатым краем. Над ним — несколько укольчиков звезд, и всё.

— Темно, — произнесла Мишата, вылезая из щели за мусорными баками... — Вот и хорошо. В освещенные места я больше не сунусь, хватит!

На улицах не было ни души.

Спасшись из ловушки, Мишата сначала бежала куда глаза глядят, то и дело уворачиваясь от земляков, пока не забилась в щель между мусорными баками. Она сидела там часа два, и за это время с улиц исчезло все живое. Под землю всех засосало, что ли? Или с приходом ночи остатки земляков забились в укрытия?

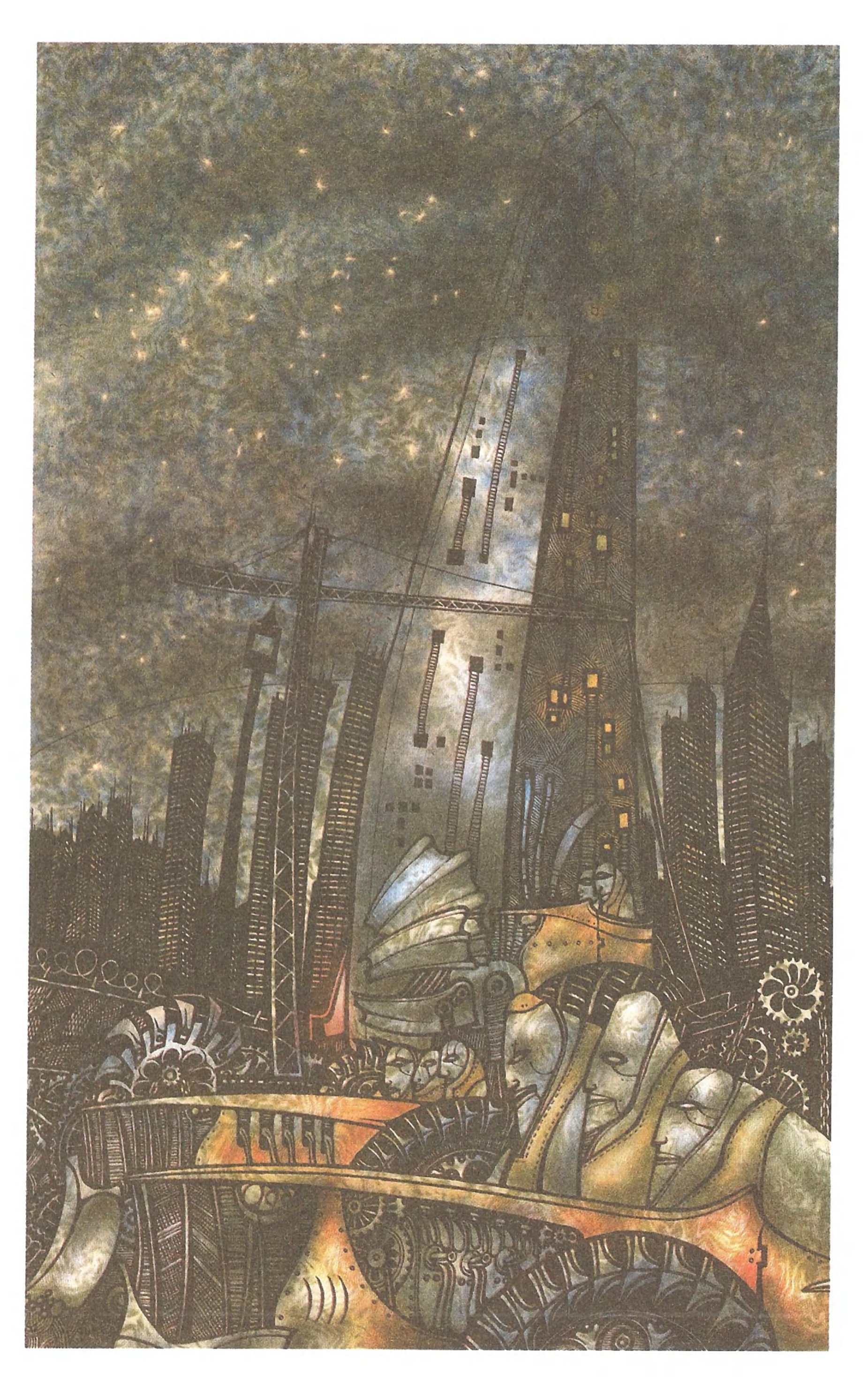
С трудом заставила себя Мишата покинуть убежище, но выхода не было: в таком ненадежном, открытом месте ночевать было нельзя. Железный козырек защищал от дождя, но не от неведомой опасности, которой, казалось, дышит здесь каждый камень.

Она осторожно пробралась вдоль стены и заглянула за угол.

Там продолжалась площадь, и это было тихое, сонное продолжение — с красивой башенкой, темными деревьями и редкими пятнами фонарей.

— Дом*а*... — прошептала Мишата. — Ни одно окно не горит... То ли они зажигать боятся, то ли и некому зажигать... Всех Вокеал побрал. Но фонари-то горят для кого-то? Не все, может, земляки закружены?..

Она подняла руку и коснулась пальцем стены, шер-



шавой и теплой на ощупь. И, чертя по стене невидимую линию, медленно пошла от фонаря к фонарю.

Когда стена кончилась, Мишата не опустила руку, а так и шла, следуя невидимому продолжению стены и аккуратно, в струнку, выставляя ноги. Издали каждый фонарь казался мутным пятном, но, вырастая, он делался четче, и становилось видно, как сеется из него дождь и бегут по луже внизу серебристые блестки.

...Дождь, похоже, ослабел. Все же голова Мишаты намокла, поникшие пряди прилипли к лицу, и платок, увлажненный, съехал, но ей было лень поправить его.

— Вот буду идти и смотреть под ноги, а как только рука дотронется, остановлюсь, — пообещала себе Мишата и так и сделала.

Угрюмые, сутулые и скупые, в ветхих богатых одеждах, дома нависали вокруг, и крыши съезжали им на глаза, и торчали из крыш у них трубы, точно черные ученые пальцы.

— Все в небо показывают, — прошептала Мишата, вглядываясь в дома.

«Ночь», — сказала она себе.

Ее настроение разом изменилось: словно в душной каморке задули свечу, но распахнули окно. Она вдохнула полную грудь темноты, закрыла глаза и прислушалась.

Ручьи, омывая решетки колодцев, со звоном летели в бездну; тонкие струйки искрились под каждой трубой и мелодично сверлили лужи; дождевой крап танцевал на железных подоконниках и сеял во мрак разноцветные точечки звуков. Все, как тончайшая сеть, покрывала пелена дождевого шуршания. Мишата стояла, стояла, растворяясь в затихающем дожде. Уже и ранец намок и сделался тяжелее, и рука ее в намокшем рукаве опустилась.

— Что же, — вздохнула она наконец, — пора заканчивать день. Дом*а* я нашла. Что же дальше?

Дальше надо было, понятно, выбрать дом и зайти. Мишата поднялась по ближайшим ступенькам и потяну-

ла дверную ручку, блестевшую от дождя. Но дверь оказалась заперта.

Она перешла улицу и подергала дверь дома напротив. Эта тоже была закрыта.

Выпятив губы, Мишата немного подула на озябшие пальцы.

Дома стояли безмолвно, насупленно хранили свою темень... Сном и пустыней пахло из их щелей. Сколько тут не ступала нога земляка? Десять лет? Больше? Мишата отошла на несколько шагов и посмотрела вдоль улицы. Третий, четвертый дом, и еще много домов. И у всех в окнах — такой крепкий настой черноты, что ясно делалось: везде одно и то же ничего.

Мишата тихо пошла вдоль улицы, размышляя: может, в окно залезть? Но пятый дом оказался как раз с разбитыми окнами, и оттуда тянуло до того жутким запахом, что она заторопилась пройти.

Один фонарь уже давно отстал, второй был пока далеко. Мишата шла к нему, невольно ускоряя шаги.

Гул электричества внезапно возник и все усиливался. Отдельно прорвался вдруг визг какого-то механизма. Что-то звякнуло так, что испуганное эхо метнулось прочь... Свет фар, словно пар, поднялся из-за угла.

Там выросла стальная стена. Она перегораживала просвет между домами, и подходы к ней окружались рвом. Железные ворота были закрыты. Над ними и вдоль стены ночной воздух сверкал от колючей проволоки. Огромная башня поднималась дальше, башня-дуло с черепаховой избой наверху. Купол прожекторного света стоял над крепостью.

Прожекторы горели ярко, но подходы к стене были достаточно замусорены, чтобы Мишата могла перебегать из тени в тень. Когда оставалось только перейти ров, Мишата заметила нечто, заставившее ее чуть ли не вскрикнуть. А сердце так и подпрыгнуло!

На воротах стояла красная буква «М». Та самая, что помечала вход в подземную ловушку, откуда Мишата недавно спаслась.

— Так-так, интересно, — дрожа, зашептала она и припала к земле.

Первым ее побуждением было бежать что есть силы прочь. Но в ней заговорил голос мужества и разума.

— Может быть, — сама себе велела Мишата этим голосом, — сейчас я, если не струшу, узнаю ответ на важные вопросы. Мне ведь нужно все понять, если я хочу остаться в этом городе. Зачем же откладывать?

Колени у нее затряслись от волнения.

Она видела, что ворота накрепко заперты. Вся опасность, значит, тоже заперта внутри.

— Чтобы схватить меня, нужно приоткрыть сначала ворота, — лихорадочно соображала Мишата, — успею...

И она оглядывалась на кромешный мрак позади себя, где лежали пустынные улицы, оказавшиеся почти родными по сравнению с жестокими сооружениями впереди.

Тяжкий непрерывный шум катился из-под ворот. Пахло разрушенной землей и соком партизанских машин.

«Хорошо, что воняет, зато и меня им не унюхать», — повторяла Мишата, выбираясь из тени.

Легко, как мышь, она перебежала мостки и прижалась к стене. Все было спокойно. Тогда она прокралась к воротам. Их створки не достигали земли, оставалась щель, пылающая электрическим светом. Опустившись коленями на ранец, Мишата склонилась низко-низко, так, что волосы коснулись блестящей грязи, и заглянула в щель.

Грозное и отвратительное зрелище открылось ей. Это был партизанский лагерь, огромный, суетливый, в ледяном электрическом свете ведущий свою страшную жизнь. Ворочались и захлебывались глиняной кашей бульдозеры, тяжко ползли железные грубияны, громоздились короба, а за ними, надрываясь, била и била тяжкая баба, выла земля, и брызги грязи смешивались с фонтанами искр. И все кишело партизанами: оранжевые, редкие красные и даже невиданные синие партизаны рылись в грязи, грызли камень, лезли в небеса по цепям и яростно кричали, заглушая даже надрывные стоны машин.

Глаза у Мишаты расширились, рот приоткрылся, она оцепенела и, забыв об опасности, стояла скрючившись очень долго, не в силах оторваться от страшной картины.

Вдруг, опомнясь, она вскочила, подхватила ранец и, зажимая от ужаса рот ладонью, бросилась за угол.

Там она прислонилась к стене дома и стояла до тех пор, пока сердце не перестало плясать.

«Так вот оно что! — хотелось ей крикнуть во весь голос. — Это партизаны строят подземные ловушки! Партизаны захватили город и поработили земляков! Как же я не додумалась сразу!..»

Столько изумления и тревоги вызвало это открытие, что Мишата забыла об опасности, еде, обо всем...

Шум и свет партизанского замка долетали сюда, но глуше. Мишата медленно приходила в себя, и вместе с этим возвращалась усталость, а следом и здравый смысл.

— Сейчас-то что делать? — спросила Мишата.

Она осторожно осмотрелась и вздрогнула от радости.

В доме, давшем ей укрытие и опору, горели окна.

Дверь без труда отворилась, и Мишата скользнула внутрь.

Какая сухая, чуткая тишина встретила ее там! Мишата с минуту стояла, боясь шевельнуться.

Впереди располагалась сетчатая башня, и, оборачиваясь вокруг нее, ввысь восходила лестница. Кое-где горели огни, видимые сквозь сетку. На каменный пол был наброшен легкий узор сеточной тени, и Мишата тоже оказалась закутанной в эту сеть.

Ступая как можно легче, Мишата тронулась в сторону ступеней, и огни заморгали, и пестрая тень побежала через ее лицо.

Остановившись, она подняла руку к глазам, глядя, как скользят по коже серые клеточки. Их прикосновение было столь прохладным и нежным, что Мишата не могла

задержать руку, а повела ее плавно в сторону, вниз, вверх и обратно, выписывая мягкие восьмерки, так и эдак купаясь в сумрачной росписи. Но тут она спохватилась.

— Дирижирую как дура, — сказала она, прекратив.

Ячейки сети замерли, четкие, словно нарисованные, а кожа внутри их оказалась небесно-белой.

— Какие у меня пальцы худые, — прошептала Мишата и коснулась пальцем носа, — и холодные. А может, это нос холоден, не понять.

И, протягивая вперед ладони, она двинулась прочь из тени. Рука освободилась первая, а затем и вся сеть соскользнула с Мишаты и, совершенно целая, осталась лежать на полу — Мишата же стояла у ступеней.

Здесь она сняла сапоги и на мягких цыпочках начала подъем. Босые ноги еле слышно поплескивали по камню. Оглянувшись, Мишата увидела за собой мокрые следы.

— Промокли, — сказала она. — Просила ведь Серого запаять сапоги, но забыла, и он забыл.

Возле первой же двери Мишата поставила сапоги и осторожно повернула ручку... Дверь приоткрылась. Подхватив сапоги, она шагнула и спиной затворила дверь.

Стало темно, но в дали коридора стояло немного прямоугольного света. Пахло подгоревшей едой, краской, смазкой. Вдоль стен выстроились резиновые боты, висела заляпанная одежда... Звукам было тут тесно, они не получали эха и сразу гибли от глухоты — так что Мишата осторожно обулась. Обулась и ранец опять надела.

Потом пошла по коридору, заглядывая в двери справа и слева.

Все комнаты были заняты, и очень плотно. В первой земляки спали прямо на полу, укрывшись старыми тулупами, выставив на воздух штопаные ступни. В других местах сидели по двое-трое на кровати и угрюмо пировали. Бормотанье, кряхтенье и рыки раздавались повсюду. Тесный для горла, удушливый воздух брел из дверных щелей.

Растерянная Мишата дошла до конца коридора. Последняя комната оказалась пустой. Здесь горела кис-

лая лампочка. Мишата, усталая, присела на стул возле входа.

Из трубы в обугленную кастрюлю накрапывала вода. Менее грязная посуда высилась в шкафу с полуоткрытой дверцей, чья тень, разрастаясь до невероятности, погружала во мрак полкомнаты, а далее стоял пустынный стол с хлебной крошкой и горелой спичкой и целая стена липких, блестящих банок, а за ними черное окно, где все отражалось в обратном порядке и оканчивалось бледным лицом Мишаты.

Посидев, она подошла к посуде и взяла оттуда чайник без крышки, с водой на дне; обняв чайник, стала пить его хмурую воду и пила так долго, что вспомнила почти весь прошедший день.

Потом тихонько поставила чайник и новыми глазами осмотрелась.

Это была единственная незанятая комната. Здесь можно было лечь у стены. И под столом довольно места. Но совсем не хотелось, несмотря на большую усталость. Не хотелось тут спать совершенно.

Что-то опять творилось непонятное.

— И запах плохой, — сказала Мишата. — Как же быть?

Вдруг что-то загрохотало в коридоре... Участились шаги... Показалось, они приближаются! Испуг охватил Мишату!

Хотя земляки не обращали внимания на нее, заглядывающую в комнаты, сейчас почему-то ей очень не хотелось попадаться им на глаза.

Хорошо, слева была дверь. Мишата скользнула за нее, уперлась спиной во что-то мягкое и, сколько могла, прикрылась.

Могучий земляк, сотрясая пол, вошел и остановился. Мишата наблюдала сквозь щелку. Было видно, как земляк покачивает чайник, взвешивая остаток воды... Ударила и смолкла струя. Гукнул огонь и загудел иначе, придавленный тяжелым чайником. Белая майка временно растворилась в темноте коридора, удалились шаги...

Мишата тихонько толкнула дверь. Скрипнув, та поворотилась, и вновь Мишата увидела себя и всю комнату в черном зеркале окна. Только новый, яркий, невиданный раньше цвет маячил теперь в отражении. Сразу над головой Мишаты. Она повернулась и чуть не вскрикнула.

То мягкое, к чему она прижималась спиной, оказалось партизанским жилетом.

Это были не земляки, а партизаны.

Все комнаты занимали партизаны. Весь дом был партизанский. И Мишата оказалась в самой его глубине.

Вот как все объяснилось! И какая дрожь охватила ее от этого страшного объяснения!

Первым движением она кинулась было обратно в коридор — и замерла. Там раздался топот, лязгало оружие... Значит, таинственные и всесильные духи неведения, сделавшие ее невидимой для партизан, уже отлетели. Стук сердца и запах страха теперь, наоборот, привлекали партизан с удвоенной силой. Даже не видя Мишаты, они могли, повинуясь чутью, заглянуть сюда. Уж, кажется, и шаги какие-то придвинулись!

Мишата, задыхаясь, стояла посреди комнаты... С отчаянным усилием, преодолевая оцепенение, она искала, где бы спрятаться.

И тут она разглядела нечто, не замеченное ею раньше.

Еле видимая, цвета стены, в дальнем углу находилась еще одна дверь: старая-престарая, не открывавшаяся, казалось, множество лет. И запор ее, крупный крюк, находился здесь же, внутри.

Как стрела метнулась к двери Мишата!

Умоляя, чтобы дверь вела не в какой-нибудь шкаф или кладовку, обдирая пальцы, она еле-еле откинула липкий, жирный крючок и нажала что было силы.... Привыкшая за века к своему месту, дверь не поддалась сразу, но наконец скрипнула и шевельнулась. За ней появилась щель темноты. Мишата пролезла туда и немедленно, до рези в глазах, навалилась на дверь. Прислушалась. Но тол-

стенной дверью наглухо закрыло все звуки из комнаты. Должно быть, партизаны ничего не заметили. Все заняло секунды три, не больше.

Свежий ветер слегка коснулся рук и лица Мишаты. Он дул через разбитое стекло в узком полукруглом окне. Уличный свет, изломавшись, взбегал по ступеням вверх. Мишата осторожно побежала тоже — вверх, неизвестно куда, на ощупь.

Местами было так темно, что она бежала с закрытыми глазами. Вот лестница кончилась. Свет косым окошком лежал на потолке. Окошко вело дальше.

Не раздумывая, Мишата влезла по приставной железной лесенке и, поднатужась, приподняла обитую жестью крышку.

За спиной оказалась стенка, а сбоку — пустота. Туда и вползла Мишата, стащила ранец и уселась, прислонясь к стене.

Никто за ней не гнался... Весь огромный колодец лестницы был полон безмолвия и мрака, пробитого на площадках пыльным уличным светом. Но Мишата еще заставила себя привстать и опустить тихо крышку. Потом уселась окончательно.

Сидела и смотрела, как по мере пришествия ночного зрения сереет мрак и проступают в нем очертания комнаты, крошечной, шагов в пять поперек. Посреди возвышалось огромное колесо, наполовину скрытое в полу. Маленькая лесенка виднелась чуть дальше и завершалась дверцей в потолке.

Превозмогая усталость, Мишата встала и, обойдя молчаливый мотор, взобралась по лесенке и нажала на дверцу. За ней оказались звезды.

Мишата высунула голову и задохнулась от свежести и сощурилась — мокрый ветер толкнул ее в лицо, подхватил и растрепал волосы. Дуло ровно, мощно, и было очевидно, что здесь такой ветер всегда. От дождя остались только белые обрывки облаков. Железо под пальцами было мокрым. Мишата осторожно вылезла по пояс и осмотрелась.

Впервые ей открылась столь страшная высота, и впервые с этой высоты Мишата увидела так много мира и так много ничем не загороженного неба над ним.

Город лежал внизу. Начинаясь в глубоких пропастях между крышами, он расходился и разветвлялся в стороны вереницами редких фонарей.

И вот что потрясло Мишату. Несмотря на то что каменные донья улиц блестели от влаги и число фонарей в них удваивалось, темнота царила во всей середине города. Но этот пустынный и мрачный город был окружен целым морем огней.

Дома, дома! Тысячи ярко освещенных домов стояли гигантским кольцом, и края ему не было: огни сливались в единое дрожащее покрывало и потом обращались в зарево, которое опоясывало горизонт.

— Этот город, да он же невероятный! — прошептала Мишата. Да возможно ли здесь что-то понять? А тем более найти?

Ответить ей было некому. Только провода раскачивались и гудели под ветром. Становилось все холоднее. На западе небо поблекло — оттуда ползли новые тучи, предназначенные новому дню.

Мишата забеспокоилась, не протекает ли крыша люка. Вернее, заставила себя побеспокоиться об этом.

— Если я промокну, вряд ли начну соображать лучше, — сказала она и полезла вниз, припоминая, что на лестнице видела картонки... И она их действительно нашла.

Крышка люка закрылась плотно. Стало темно, но зато тепло и уютно.

Мишата улеглась на картонки с ранцем под головой, а телогрейкой закутала ноги.

Напряжение дня ее не покидало, сон медлил.

В обители среди братьев сохранился обычай рассказывать ей сказку на ночь, и за три с половиной года это правило ни разу не нарушилось. Мишата улыбнулась во тьме, припомнив странные и порой бестолковые эти сказки.

И сейчас она свернулась клубочком, накрылась с го-

ловой, чтобы не терять тепла собственного дыхания, сунула руки под мышки и, затихнув, принялась сочинять сказку и рассказывать самой себе.

сказка вторая.
девочка, воспитанная снеговиками

Жила-была одна девочка, Мицель. Жила эта девочка в одном доме с другими детьми. Детей было, наверное, пятнадцать или сто. Они не скучали, потому что у них были воспитатели, игрушки и всякие праздники.

Дети жили в большой комнате на втором этаже. Дом назывался «корпус». Так говорили взрослые, а дети нет, потому что лицо у дома было доброе, а скажешь «корпус» — и словно на огрызке поскользнулся.

Дети говорили просто «дом». Например, когда замерзали на прогулке или надоедало, говорили: «Пошли домой». И все уходили.

Каждое утро начиналось словом «подъем».

Мицель сначала не понимала, почему «подъем», но потом поняла! Надо было, встав, отнести в кладовку: раз — раскладушку, два — матрас, три — белье и подушку. Чтобы не ходить трижды, дети старались все отнести за один раз, вот и получался подъем! Чаще всего из-за матраса, который разворачивался по пути. И такая трудность: матрас должен быть крепко скатан, чтобы залезть на полку в кладовке. Для этого нужно было топтать его ногами. А это в одиночку нельзя было сделать — если просто топтать, он еще хуже развертывался.

Когда матрасы удавалось наконец одолеть, дети бежали строиться на встречу зари.

Они строились в той же большой комнате, вдоль стены, разрисованной Винни-Пухом и его друзьями.

Мицель стояла седьмой от начала, под самым дубом. За спиной у нее был дубовый ствол с дуплом, а листва упиралась в самый потолок и была им слегка обрезана. И Мицель думала, что на третьем этаже есть продолжение

дуба, и небо, и солнце. Но на третий этаж, к старшим, детей не пускали.

Они встречали зарю, прыгая и размахивая руками: «Ты, заря высокая… ты, заря широкая… мы допрыгнем до зари. Раз-два-три-да-раз-два-три».

Зимой было холодно в трусах, а летом ничего.

Потом начинался завтрак: яйцо и бутерброд с сыром, или пшенная каша с маслом, или манка с изюмом и чай.

Солнце во время завтрака заглядывало к детям в левые окна.

Потом все шли на прогулку, потом был обед, и солнце глядело теперь в правые окна.

Получалось так, что всего один столик освещался солнцем и на завтрак, и на обед.

И за этим столиком сидела как раз Мицель.

Другим детям было зябко садиться в шортах на холодный стул, и вилки и ложки были у них холодные. У одной Мицели был всегда теплый стул и теплые вилки и ложки. И солнце золотило ей чай, и у тени стакана была красная сердцевина. Солнце съедало масло на бутерброде раньше Мицели, а у других детей масло даже не размазывалось от мерзлоты. Так Мицель ела солнечную кашу, пила солнечный чай и ела масло, облизанное солнцем, а суп могла есть долго-долго, ведь он не остывал на солнечном подогреве. От всего этого Мицели жилось лучше других. Она почти никогда не плакала и была всегда спокойная, и на душе у нее было хорошо. Дети ее любили.

Манька, которой было уже шесть лет и которая вообще много знала, говорила: когда они подрастут, их переселят в другой дом, побольше, где они будут не просто жить, а вдобавок учиться в школе. Но чтобы поступить в ту школу, учиться требовалось уже сейчас: а то не возьмут в первый класс и останешься здесь, с малявками.

Поэтому осенью после завтрака начались уроки.

Уроки Мицели понравились, потому что они были интересные. Она старалась хорошо учиться и к началу зимы знала уже буквы. Воспитательница сказала, что хорошим ученикам будут на Новый год особенные подарки. Мицель

этому радовалась и с нетерпением ждала, когда же придет Новый год.

А прошлый Новый год она вспомнить с точностью не могла. Только одно ей запомнилось: как она потянулась к двери и вдруг увидела, что блестящая дверная ручка вся в разноцветных огоньках. Но они сразу потухли, лишь только приблизились пальцы Мицели, и ручка оказалась холодной.

Однажды утром воспитательница сказала, что до праздника осталась всего неделя и пора начинать приготовления.

Вместо уроков детей посадили клеить бумажные фонарики и гирлянды или вырезать снежинки из сложенной вчетверо бумаги. Так они трудились три дня.

На четвертый день, когда гирлянд была уже целая гора, дверь раскрылась на обе створки. Два снежных дядьки, прямо в мокрых сапогах, внесли в комнату огромную елку. Эту елку они установили в углу, в ведре, и ушли. Елка была до потолка и шириной в полкомнаты. На иглах ее таял лед и капал. Дети сперва притихли, но после раскричались радостно и стали толпиться и трогать елку руками.

Пришла воспитательница с большой коробкой, а в ней были елочные игрушки. Это городские дети собрали целую коробку в подарок. Воспитательница велела придвинуть стулья. Дети влезли на них и принялись наряжать елку.

Каких только не было тут игрушек! Сначала шли шишки: зеленые, розовые, серебряные. Некоторые были обсыпаны, как пирожные, стеклянным сахаром.

Потом начались игрушечные вещи, все из стекла: изба, мельница, самовар, паровозик, ракета. И звери, конечно: заяц с барабаном, медведь с гармонью, гусак с трубой и просто золотые рыбы и хрустальные птицы.

На самом дне лежали огромные шары, все завернутые в тоненькие бумажки, и большущая звезда на самый верх — верхушка.

Дело шло медленно — кто-нибудь все время кричал: «Смотрите, что у меня!» — и все толпились смотреть, даже слезали со своих стульев.

Коробка оказалась такая большая, что скоро уж некуда было вешать. Чтобы надеть верхушку, воспитательница влезла на стол — такая огромная была елка. Напоследок она внесла длинные бусы лампочек и украсила ее сверху донизу.

Получилось хорошо необыкновенно! Хотелось смотреть и смотреть на елку. И говорить шепотом. Никто в этот день не баловался. А еще воспитательница пообещала, что вечером зажгутся лампочки — тут-то самое главное и начнется!

И вот настал наконец вечер, все дети собрались в комнате.

Закрыли дверь и погасили свет.

И воспитательница зажгла елку. Дети только тихо ахнули. Было так красиво, что даже страшно. Одни лампочки горели ярко-ярко, а другие, в глубине, таинственно. Зеркальные игрушки усеялись огоньками, а старые ватные только тихо искрились, но зато будто ожили. От дождика и мишуры елка вся двигалась и дрожала. Тени выросли на потолке, как загадочные цветы. Дуб Винни-Пуха стал как настоящий, и комната сделалась похожей на лес.

Дети и начали было играть в лес, но воспитательница запретила, потому что пришла пора спать. Все легли, и елка погасла.

Мицели повезло: она лежала так, что с ее места было видно всю елку целиком.

Совсем особенно елка выглядела во тьме.

Ее и видно почти что не было, она угадывалась только по белому блеску.

Теперь, когда огоньки погасли, в елке не осталось ничего игрушечного, а одна только серьезная и тревожная тайна. Что это за елка? Зачем она? К чему она появилась такая? Почему она не похожа ни на что остальное?

Наверняка и воспитательница не знала. И никто на самом деле не знал. Все спали, кроме Мицели и елки.

Мицель встала и подошла к елке.

Босым ногам было холодно на линолеуме, и одна

нога укололась о елочную иглу. Мицель поджала ногу и почесала, не отрывая от елки взгляда. Серебряный дождь искрился. А за ним была глубина, где что-то едва мерцало. Мицель пригнулась, раздвинула ветки и вошла в елку.

Игрушки зацокали и затренькали. От зеленого запаха, густого, как компот, голова у Мицели закружилась. Она закрыла глаза, чтобы почувствовать, как это, в елке. Но не совсем до конца закрыла — оставила щелочки.

Наступила тьма, лишь одна стеклянная искорка сохранилась. Иголки подкрадывались со всех сторон и покалывали Мицель.

«Заблудилась в лесу, — подумала она, — и огонек увидела. Но он еще так далеко».

Мицель играла, как будто идет и идет сквозь чащу и очень утомилась.

«Прилягу здесь, — решила она, — здесь меня никто не найдет».

И на секунду вздремнула. Вдруг Мицель словно что-то толкнуло. Она открыла глаза: прямо перед ней висел серебряный паровозик. То, что Мицель принимала за огонек, было отражением окна спальни в его окошке.

«Паровозик, повернись ко мне», — молча попросила Мицель.

На своей длинной ниточке он поплыл вокруг себя и остановился лицом к Мицели. Она подняла осторожно руку, чтобы тронуть его, и вздрогнула: внутри паровозика что-то пошевелилось. Но это было всего лишь отражение.

«Сколько всего он проехал на свете, — подумала Мицель, — и сколько в нем разного отразилось...»

Она осторожно взяла холодный паровозик пальцами.

— Я тоже хочу в путешествие, хочу уехать, — попросила Мицель. — Я тебя заберу, чтобы ты, когда соберешься в дорогу, забрал меня.

Мицель продела палец в петлю и, слегка уколовшись, сняла паровозик. Спрятав его под майкой, на животе, она вылезла из елки и пробежала к себе в кровать. И прямо так, обнимая паровозик, заснула. Какие-то необыкновенные ей снились сны, и утром она вспоминала их постоянно.

— Какие? — спросила ее Манька.

— Знаешь, рассказать нельзя. Про старика, который плачет все время, то от горя, то от радости, и слезы разноцветные. Какая-то война, дворец огромный, страшный... А за ним, вдалеке, город, светлый-светлый, легкий-легкий. Стрельба такая, и все салют, все салют... Этот паровоз вообще волшебный! Я сегодня назад повешу, а вечером опять тихонько возьму. Я его всегда теперь буду брать.

— А Новый год пройдет, елку разберут и его тоже уберут.

— Ну и что? Я его перед этим спрячу. Я с ним теперь всю жизнь буду.

— Дай посмотреть немедленно.

— Ночью придешь — увидишь.

— А сейчас? Покажи.

Манька долго смотрела на паровозик, нагнув голову. И Мицель смотрела, какой он прекрасный при свете дня — совсем другой, чем в темноте, но не менее чудесный.

— Видишь?— спросила Мицель.

— Вижу, — ответила Манька. — Паровоз как паровоз. Пошли в столовку, поговорим.

В столовой было пусто, темно. Они сели у дальнего столика.

— Значит, он тебе сны показывает? — спросила Манька.

— Потрясающие!

— Ага, — сказала Манька, — ну понятно. В паровозик она смотрелась. А про зазеркальных детей знаешь?

— Нет...

— Вот то-то! Ты лучше послушай, что я говорю. Этот твой паровоз — наверняка ловушка. Не нравится мне это. Для меня он обыкновенный, а для тебя, значит, волшебный! Говоришь, ты просилась к нему? А он тебе отвечал как-нибудь?

— Ничего не отвечал...

— Слава богу! Нет, ну надо же... Хуже всего, что ты сама попросилась. Он теперь от тебя не отстанет. От него



теперь не отделаешься. Но мы попробуем. Смотри: когда все заснут, мы незаметно его снимем и спрячем. А утром куда-нибудь забросим или лучше разобьем!

— Еще чего! Только попробуй!

— Минька, лучше послушай меня. Ты маленькая. Он тебя сожрет — да и все. Или другая беда какая-нибудь. Я тебе говорю.

— Уходи отсюда! И про паровозик забудь! Это мой паровозик!

— Не твой, во-первых, а общий. А во-вторых, если ты не хочешь, я сама его разобью все равно.

— Ах ты! Вот ты как... Знать тебя не хочу! И попробуй только тронь мой паровозик!

Мицель расплакалась и убежала в комнату. Когда все дети легли спать, воспитательница сказала:

— Спокойной ночи! Завтра у нас праздник. Утром станем разучивать стихи, потому что потом придет Дед Мороз и нужно его чем-то радовать. Будет очень весело! Засыпайте скорее!

И она ушла. Но от ее слов детям совсем спать расхотелось. Они долго сидели в кроватях и шептались про Деда Мороза и какие будут подарки. Только Манька сказала, что Дед Мороз будет не настоящий, а просто маскарадный дядька. Некоторые обиделись, а другие сказали:

— Какая ты, Манька, противная все-таки! Все время гадости выдумываешь. С тобой жить тошнит! — И даже послышались нехорошие слова.

На следующий день настал праздник. После обеда действительно пришел Дед Мороз, спросил, как звать каждого по имени, и начал с детьми свою игру. Были здесь и догонялки, и пляски. Дети читали Деду Морозу стихи, он взамен читал свои. Веселились до темноты. Когда приблизился ужин и Деду Морозу пришла пора уходить, воспитательница вдруг сказала:

— Дети, вот что я придумала. Дедушка Мороз доставил нам столько радостных минут! Давайте и мы ему что-нибудь подарим!

— Давайте, давайте! — закричали в ответ все дети.

— А что же мы ему подарим?

Дети переглянулись, примолкли. Тут вышла Манька и сказала:

— А давайте подарим ему вон тот паровозик с елки!

Воспитательница обрадовалась.

— Манюта, молодец! Хорошо придумала!

— Спасибо, детишки, спасибо, внучата, — сказал Дед Мороз, но под бородой не было видно, улыбается он или нет.

Воспитательница дала ему паровозик, и Дед Мороз пошел в столовую попить перед уходом чаю, а дети потянулись за ним, кроме Мицели, которая плакала.

— А ты, Машенька, что же не идешь со всеми? — спросила воспитательница. — Что у тебя такое случилось?

Но Мицель рыдала.

— Зачем мой паровозик этому Деду отдали!

— Да что ты! — расстроилась воспитательница. — Разве паровозик твой? И потом, подумаешь, паровозик. Ведь тебе такие часики подарили!

— Не надо мне ничего! — зашлась в рыданиях Мицель. — Мне паровозик мой нужен!

— Ну подумай, Маша, — сказала воспитательница, — вот Дед Мороз вернется на Север к своей Снегурочке совсем без ничего! Хорошо разве? У всех праздник, а у них что? Будет им очень грустно. А так принесет он паровозик, нарядят они елку, сядут и будут чай пить, и радоваться, и тебя и нас всех вспоминать...

— Неправда! — закричала Мицель. — Не будет он на Севере сидеть! И никакой он не Дед Мороз, а просто дядька в костюме!

— Ну раз так, — рассердилась воспитательница, — если ты, оказывается, такая жадная, скверная девочка, то и сиди тут одна! И нечего портить остальным Новый год!

И воспитательница ушла. Мицель рыдала и все не могла успокоиться. Потом тихонько подошла и заглянула в столовую. Дед Мороз пил чай, а дети сидели вокруг с радостными лицами. Паровозика видно не было.

«Куда же он дел его? — подумала Мицель. — Не в карман же?»

Да и не было карманов у тулупа.

«В мешок, больше некуда», — решила Мицель.

Она присмотрелась к вешалке, которая стояла возле двери воспитательской. У вешалки лежал мешок. Мицель стояла и не знала, что делать. Кто-то взглянул на нее, и она сразу ушла.

Она встала в пустой комнате возле окна и смотрела, как из фонаря сыплется снег. Когда стекло туманилось, она отирала его рукой.

И вдруг придумала.

— Вот что! — сказала она сама себе. — Пойду сейчас и в мешок влезу. Он возьмет мешок с собой и меня заодно. Он такой здоровенный, не почувствует, что я в мешке. А я подсмотрю, куда он пойдет: в лес или домой! И узнаю, настоящий он или нет! А потом в мешке дырку прорежу и с паровозиком убегу.

И сердце у нее забилось часто-часто.

Она тихо пробралась к вешалке. Мешок лежал высокой кучей. С лестницы подул холодный ветер. Мицель сделалось на секунду страшно, но она поджала одну ногу и сказала себе:

— Это не страх. Это холод просто.

У нее была шубка в ее шкафчике с картинкой из мультфильма «Маугли». Мицель захотела одеться, но тут в столовой задвигались ноги.

«Не успею», — вздрогнула Мицель и полезла быстро в мешок.

Она села в него как в ванну и натянула сверху. В мешке было много всяких коробок и свертков.

«И вовсе не все он раздарил», — подумала Мицель, тихонько устраиваясь.

Вдруг она нащупала паровозик! Она тут же обняла его крепко-крепко и успокоилась совсем. Паровозик был теплый и как будто кормил ее мужеством. Мицель беззвучно рассмеялась и приготовилась ждать. Слышны были весе-

лые голоса. Вдруг приблизилось шлепанье ног. Мицель затаилась и перестала дышать. Шлепанье стихло возле мешка.

— Мишенька! — послышался шепот.

Мицель молчала.

— Мишенька, я знаю, что ты здесь.

Мицель молчала.

— Минька! Пожалуйста, отзовись! А будешь молчать, пойду, все расскажу.

— Чего тебе? — мрачно спросила Мицель.

— Знаешь, — прошептала Манька, — я сразу поняла, что паровоз тебя потянет. Поэтому и хотела его разбить. И даже попыталась. Вчера ночью, когда ты спала.

Мицель не ответила ничего.

— Я тоже в нем отразилась, на минутку. И тоже, чувствую, тяга... Ну, я давай его бить, бросать. Ну вот. И представь себе, он не бьется. Его невозможно разбить. Я об батарею била. Мне страшно стало. Тебе не страшно?

Мицель не ответила.

Тут в столовой грохнули стулья. Манькины ноги сразу зашлепали прочь. Дед Мороз зашумел снаружи, большой, словно дом. Он тяжко возился и одевался. Потом нашарил мешок. Страшная сила пришлепнула Мицель о спину Мороза. Он зашагал по лестнице, и спустя миг Мицель оказалась во дворе. Жуткий холод пронзил ее.

«Ну ты, не дай мне замерзнуть! — крикнула она в мыслях паровозику. — Грей меня! Вон как я ради тебя стараюсь!» — И волна потепления разлилась от паровозика.

— Покатились! — с тихим смехом поздравила его Мицель, расслабилась и посмотрела внимательно сквозь мешок как через сеточку.

Снег покрыл все вокруг. Было очень тихо, лишь скрипели шаги. Сквозь забор виднелись желтые окошечки дома. Они медленно покачивались, как на волнах, от ходьбы Деда Мороза и удалялись. Потом скрылись в темной куче деревьев, еще померцали и исчезли совсем.

Вдруг Мицель обнаружила, что Дед Мороз покидает поселок. Мицель подумала: не испугаться ли? А дорога вела на станцию.

«Может, он у станции где-то живет», — успокоила себя Мицель.

Однако Дед Мороз отправился прямо на платформу. Он устроился на лавочке и притих. Паровозик берег Мицель, но она чувствовала, что мороз кругом ужасный, еще секунда — и набросится на нее со всей злобой. Вдали послышался свист поезда.

«На поезде поедем», — подумала Мицель растерянно.

Ей стало не по себе.

И тогда она еще крепче обняла паровозик и потребовала:

— Ну-ка, добавляй мне смелости!

Он добавил ей смелости, и она успокоилась. Поезд ревел все громче.

— Настоящий Дед Мороз не ездит на поездах, — сказала себе Мицель. И страх ее совсем ослабел.

Дед Мороз затащил ее в поезд и бросил в темном углу. Сверху виднелась желточек-лампочка. Она затряслась, и в полу под Мицелью что-то застучало и задергалось: состав тронулся.

Холод здесь был еще хуже, чем на улице, и Мицель начала потихоньку замерзать. Она осторожно пошарила под собой и кругом, не найдется ли чего теплого. Но в мешке были жесткие холодные игрушки. Только одна бородатая маска нашлась, и Мицель надела ее и обняла бороду. Борода хоть немного грела.

Поезд ехал и ехал. Время тянулось ужасно медленно. Наконец Дед Мороз встал и взвалил на себя Мицель. Зубы ее лязгнули. Страх снова схватил ее.

«Или сейчас будет город, — подумала Мицель, — или лес. Если лес, тогда я не знаю что. Город, пожалуйста, пусть будет город», — взмолилась она у паровозика.

Стуча зубами, она всматривалась сквозь мешок. Вот скрылся последний фонарь у станции, кругом стало совершенно темно. Дед Мороз шел не переставая. Что-то начало стегать и царапаться по мешку снаружи. Это были ветки деревьев. Страх с еще большей силой сдавил Мицель.

— Пусть сейчас лес кончится, — загадывала она паро-

возику, — немножко леса еще можно, а потом, пожалуйста, пусть будет город!

В это время странное сияние разлилось за деревьями. Светилось что-то огромное.

— Город? Город? — спрашивала Мицель у паровозика.

Она заметила, что давно уже плачет. Но паровозик молчал. Тут Дед Мороз вышел на поляну. Деревья раздвинулись.

Над ними оказалось черное небо и луна, ослепительная, плоская и совершенно пустая.

— Отпусти меня! — завизжала изо всех сил Мицель. — Ты не настоящий! Тебя нету, нету!!!

Она кричала так громко, что сама чуть не оглохла. Слезы лились ручьем и брызгали из глаз, и еще она пыталась колотить по спине Деда Мороза, но тут обнаружила, что мешок валяется на снегу, а Дед стоит к ней лицом, смотрит вниз и рот у него открыт.

— Нету! — крикнула еще раз Мицель и замолкла.

Дед попятился, и на лице у него появился ужас. Внезапно он повернулся и, задев луну, побежал прочь, к темному лесу на другой стороне поляны. Он увязал, падал, полз на четвереньках, потом вставал, бежал, увязал, падал и полз опять.

Видно было, что он убегает изо всех сил, но получалось это у него так медленно, что прошло, казалось, полчаса, пока он добрался наконец до елок и скрылся в них.

Мицель так и стояла по пояс в мешке, глядя ему вслед. Маска мешала смотреть. Мицель сняла маску и повернула. Это была маска Деда Мороза. Мицель опустила маску в мешок. Сбоку на совершенно гладком сугробе сиял паровозик. Мицель дотянулась до него и взяла. Потом присела в мешке, укрылась им с головой, обняла паровозик и уткнулась в него носом. Ей стало совсем, совсем спокойно.

— Видишь, — сказала она паровозику, — что ты натворил! Остались мы вовсе одни. Ну, это ничего — мы будем так сидеть, сидеть и греться, а потом кто-нибудь придет и спасет нас, правда?

От ее дыхания паровозик медленно покрывался инеем. Сияла луна, голова Мицели клонилась все ниже, ниже, и все кругом было белое, и мешок был белый с серебряными цветами, и майка Мицели белая, и кожа ее побелела. Все белое, кроме волос, которые, кстати, были рыжие.

Детский дом был родной для Мицели. Он стоял на небольшом пригорке, окруженный сетчатым забором. Когда Мицель ходила еще игрушечно, как плюшевый медведь, этот забор был для нее вроде горизонта. Обведенный забором мир был огромен. Здесь помещалось все: дом посреди, цветники и веранды вокруг, неведомые заросли за верандами. Все это соединялось чистыми каменными дорожками, и заросшими тропками, и сухими тропинками в далеких местах. В небе стояло солнце. И оно, ослепительное, и мир вокруг, увиденный в солнечном свете вдруг весь, целиком, был самым ранним воспоминанием Мицели. Они стояли на припеке вдвоем с Манькой, и Манька учила ее плакать. Мицель была за что-то наказана, и ей нужно было заплакать. Манька заставила ее смотреть на солнце и не моргать, чтобы слезы выступили на глаза. Таким способом получились в конце концов две слезы, и Мицель сразу побежала их показывать. С тех пор, стоило ей заплакать, она тотчас вспоминала солнце.

А сейчас слезы заканчивались, и солнце, сияющее во сне Мицели, гасло. Картины из прожитой жизни путешествовали в дремотной ее голове, и меркли одна за другой, и исчезали из памяти. Дыхания было у Мицели мало, столько же, сколько воспоминаний. Жизнь, прожитая ею, была коротка, потому запас воспоминаний подходил к концу, и вместе с ним кончался запас дыхания.

«Скоро нечего уже будет вспоминать, и я засну», — думала Мицель.

Между тем ночь продолжала свой путь, оборачивалась звездная карта, и луна добралась до елочных вершин на другой стороне поляны. Мицель забыла уже всю свою прошлую жизнь и почти совсем потеряла память, но тут, к счастью, за ее спиной что-то стало происходить.

«Кто-то топчется в снегу», — подумала сонно Мицель.

Правда, доносилось скрипение снега, но оно не делалось громче или тише, а неслось равномерно, словно приплясывал кто-то усталый. Что-то странное слышалось в снежной возне, и эта странность пробудила наконец Мицель и заставила прислушаться. Тогда она медленно стала узнавать слова и догадалась, что не топтание на снегу, а разговор скрипучими снежными голосами доносится сзади, разговор, топчущийся на месте.

— Остынем, братья, — скрипело, скрежетало, — осмыслим немыслимое, вонмем невнятному.

— А что тут тебе, брат, невнятно? — отвечал точно такой же голос немного сбоку. — Пред нами тюк. Извне его все обыкновенно.

— Изнутри таинственно, брат. Гляди, как высится крупным комом! Комоватый!

— Поспешим же, братья, вовнутрь взглянуть.

— Сперва осмыслим, поспешный брат.

— Эх, Серый. Невмоготу уже! Уж что-нибудь сделаем, а осмыслим после, народ нас ждет и ругается.

— Что ж ты намерен?

— Да потрогать хотя бы.

— Ощупью рук?

— Да и что ж такого? Ну ощупью, ну и рук!

— В сомнение меня ввергаешь, брат Серый! Ты будто и не изумился, что нами обнаружилось. Чудо ведь это, чудо! Чудо открылось какое-то. А ты, мнится, и не преисполнился трепета.

— Да я преисполнился.

— Однако ты нетрепетен в желании трогать, не осмысляя. Легкомыслие лихомыслием обернется! Вот как сказано! Сказано: пока очи пучатся, ручи прячутся. А ты порядком пренебречь хочешь?

— Я порядок знаю!

— Тогда повтори: чем туловище увенчано?

— Голвою.

— А обременено?

— Ну, руками.

— А куда голва у нас, брат, устремлена?

— Ввысь, брат Серый!

— Ввысь, к Полярной звезде! Голва нам путь указует, а ручи вширь распространены для одного лишь крестообразия. Известно: ручища — разума корневища. Итак, давай сперва вразумимся, а потом уж ты ручища выпятишь.

— Ну давай.

— Давай.

— И давай.

Голоса смолкли. Правда, как будто говорил кто-то один и тот же, только переступал то вправо, то влево. И звали оба голоса одним именем. «Две головы, может?» — сонно решала Мицель. Молчание длилось еще, и наконец левая голова с твердостью сказала:

— Нет... Ощупать надо.

— Ах ты, тягота! Так ведь и я убеждал ощупать!

— Ты от торопливости убеждал, а я от осмысления. Я отважусь.

— Да-а! Вот ты какой, брат, пышный! Отважиться он способен! И к компасу его приставили, и купольщиком определили, ему и трогать теперь? А я, выходит, до полярной ночи в незначительности пребуду? Чтобы морковный нос себе вставить, много величия не надо. Еще и уши себе вылепил! Небось мечтаешь о восседательстве? Стыдно, брат. А ведь мы с тобой однолепки. Нет! Если по справедливости, то сейчас именно мне дерзать.

— Эх, брат, горячишься, а ведь сказано: горячность духа во телесное потаяние. Подержи-ка вот лучше компас.

— Не буду. Важный ты, возвеличенный, ледовитый! А ведь сказано: хладомыслием душа индевеет. Прозябающий да примерзнет — вот как сказано!

— Ладно, брат. Не по справедливости, а по милости прошу: дозволь мне первому. А я тебе компас тогда передоверю. Вдруг там в тюке одна дрянь, разнотряпие? А ты до самого города компас понесешь!

— Нет.

— Да как же так нет?

— Нет. Если дрянь окажется в тюке, ты у меня потом отберешь.

— Не отберу! Лбом тебе стукнусь, что не отберу!

— Мало этого.

— Ну как же мало? Ну хочешь, я тебе в ножки поклонюсь?

— Надо подумать.

— Да нечего думать, брат любезный, прими поклон. Примешь? Дозволишь? Вот, придержи компас. На тебе! На тебе! На тебе!

И усилились снежный хруст и снежное фырканье.

Мицель легонько пошевелила складку мешка и выглянула наружу. Глаз едва открылся, потому что заплаканные ресницы смерзлись. Лунный свет просиял в них холодной радугой.

Неподалеку на ярком сугробе стояли трое: пара снеговиков и еще один какой-то темный и длинный. Мицель вгляделась и поняла, что это вообще огородное пугало.

Первый снеговик торопливо устремился к мешку. Мицель бесчувственно наблюдала приближение огромного туловища. Голова снеговика загородила небо и склонилась близко к Мицели. Лицо имело тревожное и глупое выражение, вместо носа была морковь.

Мицель устало прикрыла веки.

— Что там, брат, отвечай, окочнел, что ли! — неслось издалека.

Но большой снеговик молчал. Потом откликнулся хриплым голосом:

— Серый, а Серый!

— Что, брат Серый?!

— Подойди, брат Серый, сюда, да поспешнее, слышишь?

— Ай, ай, да как же я, да ведь у меня компас!

— В снег! В снег утверди компас!

— Да как же в снег: он выворачивается, эх, валкий такой!

— А ты примни ногою!

— Яма от того образуется!

— Да подгреби извне-то снегу, эх, тужилище, да утрамбуй! Быстрее же, брат, восходи сюда!

Второй снеговик наконец тоже явился в небе. Голова его была поменьше, нос сделан из еловой веточки и обмотан для украшения обрывком елочной блестки. Оба снежных лица уставились на Мицель. Снова на минуту сделалось тихо.

— Что, брат, чувствуешь? — спросил морковный нос погодя.

— Я-то? — тихо откликнулся еловый нос. — Я — как будто восторг и печаль. А ты?

— Я похожее. Радости и грусти одновременное воздействие. А думаешь ты чего?

— Знаешь, эге, мыслей не соберу. А ты?

— Тоже в смятении. Какая-нибудь снегурочка, может?

— Какая тебе еще снегурочка? Снегурочка — вымысел земляков. Это другое что-то.

— А что же, брат?

— Да вот ты сам и наблюдай. Что видишь?

— Дитя пресветлое. И будто смотрит. Белая вся. Рот не улыбается совсем у нее.

— И в руке какое-то серебристое тело.

— Да. Зеркальное светило, наводящее изумление. Я в трепете, брат.

— И я. Ощущаешь тепло?

— Отчетливо. Что же оно означает?

— Что это земляки потеряли свое дитя.

— Но ведь если это дитя земляной природы, она должна в ледяном состоянии пребывать!

— В том и непостижимость. Ведь она покровов лишена?

— Лишена.

— Как всякое существо снеговой природы. А при этом своего земляного естества не утрачивает?

— Брат, я поколеблен, я сотрясен. Не утрачивает, брат, не утрачивает! Глаза вон моргают у нее! Не утрачивает!

— Что же нам делать, брат?

Они переглянулись и помолчали.

— Бежать что есть мочи, — сказал морковный нос, — ее водрузить на закорячки и скорым топотом...

— В одиночку не унести. Обоим надо. Что же компас тогда?

— А что? Тут, по-моему, ясно. Давай...

— Что ж, давай так давай.

— Эх, давай.

И голоса удалились. Мицель дремотно смотрела, как снеговики качнули пугало и тень его обежала выпуклость сугроба. Потом один снеговик с осторожностью понес к Мицели гору черных одежд. Другой остался стоять и неуверенно озирать голую теперь крестовину, которая косо торчала из снега.

Снеговик, что принес одежду пугала, завозился вокруг Мицели и стал одевать ее.

Он поднял ее, как куклу, и всю замотал морожеными тряпками. Потом он напялил сверху телогрейку. Руки Мицели снеговик продавил внутрь рукавов, паровозик так и остался в правой руке. На голову Мицели снеговик надел старую шапку со ржавой звездой. Огромные рукавицы, которые раньше украшали у пугала бока, снеговик, подумав, натянул Мицели на ноги, бережно вынув их по очереди из мешка.

Руки у снеговика были толстые и короткие, заледенелые, поцарапанные: виднелись разные зарубки и насечки вроде календаря. Пальцев не было. В одном месте показался узор из вмерзших листков и иголочек. Когда Мицель была одета, только нос у нее остался снаружи. Мир едва виднелся из-под съехавшей шапки.

Снеговики с минуту постояли над Мицелью, разглядывая.

— Возьмемся, братья, — важно объявил с морковным носом.

Оба склонились, облапили Мицель, и она взлетела наверх. Задний подхватил ее под мышки, передний поддержал ноги. Неся Мицель как бревно и отдавливая друг другу ступни, братья осторожно сошли по сугробу.

— Мешок не забыт?

— Мной прихвачен.

— Как крестовину понести? В жесте совлечения или воздвижения?

— Воздвижения! Повыше вздыми! Прем с торжеством, знаменуем свершение пророчеств!

Долго-долго качалась Мицель в медленном хороводе снежных вершин, пыли созвездий, пока не оказалась в самой густой чащобе. Лес был тут такой тесный, что наверху сросся от снега. Единый сугроб покрывал деревья и был только кое-где затоплен лунным сиянием. Из берлоги в берлогу, из норы в нору бежали снеговики, и ни пылинки снега не слетело сверху. Вдали между стволов родилось красное свечение и все росло. Потом огонь мелькнул среди деревьев, и Мицель оказалась на берегу небольшого овражка.

С другой его стороны горели факелы. Они торчали из башенок, украшавших верхи снеговой стены. Стена была сложена из снежных шаров и комков разного размера.

— Видны! Видны! Овражный угол! — раздался оттуда громкий крик.

Факелы двинулись с места, и тут Мицель поняла, что не башенки, а снеговики стояли на стене и возле ворот. Они засуетились и полезли вниз. Тени заметались по склону оврага, словно их трепал ветер.

— Овражный угол! Отметьте! Овражный вперед всех доложил! — надрывался один снеговик, махая факелом.

Внутри поселения брякнули в железную звонилку, подождали секунду, как бы решаясь, и потом затрезвонили во всю мочь. Гул взволнованных голосов поднялся оттуда.

— Дуй! — грянул вдруг отклик переднего снеговика.

От этого внезапного оглушительного крика Мицель вздрогнула и тут же с испугом увидела, что одно ухо у снеговика отвалилось.

Он схватился за опустевшее место и при этом так сильно встряхнул Мицель, что шапка съехала ей на единственный глаз и все закрыла. Только звуки остались: звон, за-

вывания какой-то трубы и восклицания снеговиков, что покинули стены и скапливались теперь вокруг.

— Дорогу, братья, не гомони, не комкуйся! — бодро вскрикивал передний снеговик. Но гомон только густел.

— Оглоушили!

— Околодили!

— Да что же это!

— Покровы горизонтально влекутся!

— А вознесено лишь голое перекрестие!

— Беда!

— Билберда!

— Эй, — кричали со стороны стен, — эгей! Стену-то низвергать или помедлить? Внесение-то начинаем свершать или как?

— Тихо! — бабахнул снеговик из-под Мицели. Все на миг замолкли, только несся унылый звон. — Кто сейчас на курантах стоит?

— Трехрукий призван.

— Так... ладно. Скажу кратко: событие небывалое. Все мы содрогнемся. Но радостным, братия, содроганием. Покровы, значит, преклонены, так как чудесное обрели в себе содержание. Пусть взволнуется вся обитель. Сейчас, без лишнего чиноизмельчения, чудесную эту ношу на площадь доставить.

— А что ж, стену разваливать все-таки?

— Посоветоваться бы с кем-нибудь...

— Да с кем же посоветуешься, брат? Никого не осталось, все на площади собрались, и Колян давно воссел и внесения ожидает. Одни мы здесь по чину медлим, вас высматривая... Да вратари, да вон ребята-молотобойцы стену опрокидывать поставлены. Как все-таки? Стену ворохнем или теперь оставим?

— Вот что: чем оправдываем лом стены? Тем, что компас накренять нельзя. А тут он уже заведомо накренился. Выходит, и стену трогать отпала необходимость. Покровенное в ворота просунем, а крестовину через верх передадим.

— Тебе, брат, по всей строгости отвечать.

— Мне, мне... волокнемся же, мощней! Эй!

И Мицель опять понесли. Потом стиснуло, на нос посыпался снег, кругом раздались покрикивания и пререкания — ее просовывали в ворота.

Кто-то давил сзади ее голову и плечи, а кто-то с другой стороны дергал за ноги.

Наконец Мицель опять была на свободе, и опять ее несли и раскачивали, словно в люльке. Железный звон приближался, и вместе с ним пламя большого костра. Гул волнения большущей толпы охватил Мицель. Звон метался, казалось, прямо над ее головой и смолк в тот момент, когда ее опустили наземь. Настала тишина, полная шепоту и шороху толпы и треска горящих дров.

— Братья, единоверцы! Почтенные восседатели! — громко обратился передний снеговик. Толпа окончательно стихла, даже костер перестал трещать. Серый потоптался и еще громче продолжил:

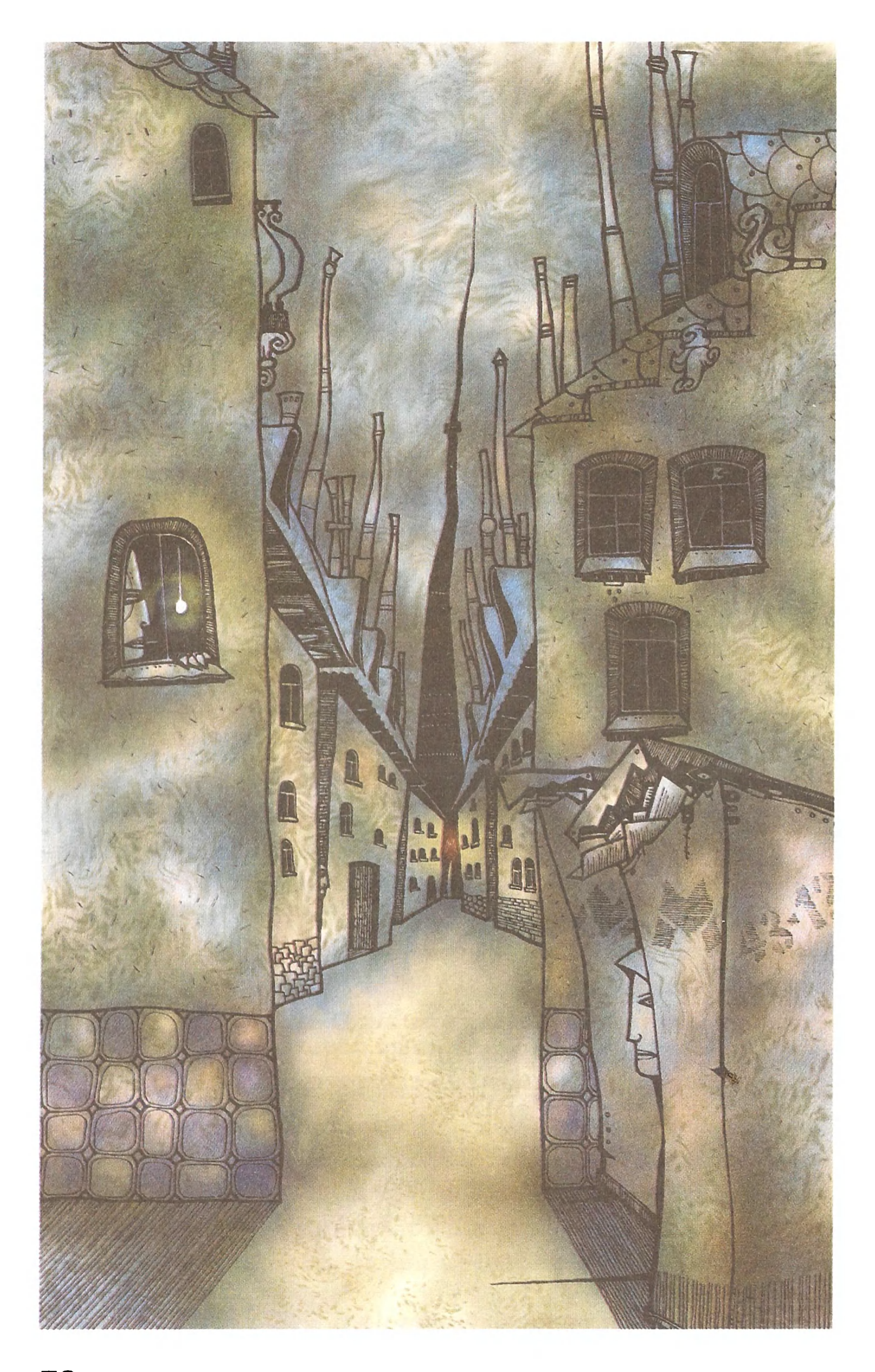
Нынче, в ночь стояния Полярной звезды,
избороздили мы пространства внешних пустынь,
дабы стяжать там знаменование нашей веры —
компас, указующий в небесные сферы.
И, стяжав, шествовали сюда и достигли места.
И да воздвигнется компас во направление мыслей
наших отвесно,
во сохранение сей вертикальности до последней
минуты,
когда полярная ночь придет и расторгнет
смертные путы
и избегнем мы губительного потаяния,
вкусив бессмертного существования...

Тишина, воцарившаяся было при первых словах снеговика, к концу его речи сменилась таким шумом, что последние слова расслышала, может, одна только Мицель.

— Заканчивай!

— Заворачивай!

— Бросай чиновное бубнение!



— Скажи ему, Колян!

— Брат Серый! — раздался густой, тяжеленный бас, и все стихло. — Говори своими словами.

Серый в растерянности озирался кругом. Но наконец махнул рукой:

— Эхма...

Потоптавшись, он продолжил, слегка запинаясь:

— Ладно! Поведаю кратко: мы с братом Серым шли по картофельной тропе. Возле самого края леса, где поля уже видны, мне Серый указывает: гляди, таинственный сгусток виднеется. Я сперва подумал — пенек. Ладно, возразил я после размышлений, на обратном пути убедимся, что это. Пошли, как и следовало, туда, куда разведчики указали, вроде там компас подходящий есть и земляки кругом почти не живут. Достигли, хоть оказалось не двести, а все триста перекатов до того места... Обрели компас, все благополучно, лишь Серый бок о терновую проволоку потревожил... Повлеклись обратно. Дошли до того сгустка, думали миновать, да луна отворилась, видим — ну совсем загадочно что-то... Ну и подступили...Эх, братья! И вот что обнаружилось-то!

При этих словах с головы Мицели бережно подняли шапку.

Ее охватило ледяным воздухом. Перед ней горел костер. Кругом неподвижно стояли снеговики. У некоторых носы были из бутылок и сверкали отражением пламени.

Самый величественный состоял из целых пяти шаров. Носом у него была морковь, раздвоенная в разные стороны. Голову украшала черная шляпа. Он открыл рот от изумления. И все остальные тоже были поражены. Взволнованное кряхтение прокатилось по толпе.

— Слушайте, братья! — возвысил голос Серый. — Ведь создание, от стужи не прикрытое, но при этом жизнь сохраняющее, значит, снежного естества! Встрепенемся! Ведь это двуединое существо нам явлено! С небесной повозкой в ладони! Пророчествам согласно! Мост воплощенный, из смерти в бессмертие ведущий!

Тогда шевельнулся громадный снеговик. Медленно-

медленно сгибаясь, он приблизил к Мицели глаза-уголечки. В молчании подержался так, а потом откинулся назад с изумленным стоном.

— Серый, а Серый, — прозвучал его испуганный бас, — а ты уверен, что это — нам?

— Сказано же, Колян, — ответил Серый голосом, рвущимся от волнения, — что с нами, то наше. Следы свидетельствуют, что земляк, ее принесший, удалился в беспамятстве. Никто не явится ее возвращать. Она наша, Колян, навеки!

— О восторг! — взревел Колян, вздымая ручищи. — О братья, братья! Начнем же великий праздник, равного которому не бывало! И пусть навеки растает лед отчаяния в наших душах! Сбылось пророчество, от века нам возглашенное! Великий Компас обрел зримое тело!

И грянуло веселье! Завыли трубы, забормотали барабаны. Снеговики стеснились вокруг Мицели, нежно ахая. Еловые прутья, шишки и снег так и посыпались свысока. Ее же охватывало безразличие. Она опять закрыла глаза и, долго ли, коротко ли длился праздник, уже не осознавала. Только почувствовала, что ее снова подняли, и расслышала взволнованные возгласы:

— Гляди, она аиндевела!

— Заморозили! Заморозили!

— Уже не трясется даже.

— Бубубу...

— Бабубы...

— Бабу бы!

— Бабу!

— Ей бабу надо!

— Эй! Эй! Федотова! Нюша! — раздались крики и прокатились вдаль.

Снежные бабы пролезли к Мицели.

— Да что ж вы творите, ледоеды! — запричитали бабьи голоса. — Первичную природу ее всю выморозили!

— А чего же сделать? Трением, может, согреть?

— В кузницу несите! — приказал скрипучий и важный голос. Все так и покатились в сторону.

Меньше чем через минуту Мицель пихали вовнутрь снежного холма, полного дыма.

Ее подтащили поближе к печи, горевшей в сердцевине берлоги. Здесь стояли ведра и громоздились ледяные кирпичи, частично талые. С другой стороны печи вздымались дрова. Серый разровнял их ногой, свалил на них Мицель и тут же отступил, заслоняясь от жара.

Мицель оказалась лицом к печи, к горячему ржавому боку. Здесь было тепло и даже пар не шел от дыхания. Но глаза заслезились от дыма.

Мицель почувствовала, как тепло проникает в мороженый тулуп.

Нос и щеки уже оттаяли и больно горели, исколотые тысячью иголок.

Хуже всего было с ногами, которые лежали далеко от печки, по-прежнему прищемленные морозом, и не хватало сил подтянуть их к теплу. И руки были как будто раздавлены ледяным колесом. Но паровозик в них был живой, и чувствовалось, что и руки живы, оттают. Смертельный ужас холода стал покидать Мицель. Она немного поплакала, но слезы шли теплые и скоро закончились, высохнув возле печки.

— Снегу еще растопить, купать ее велено, все земляки купаются.

— Назначить потопника, сидельца, водоноса, воспитателя, — бубнил у выхода Серый.

— Сейчас огласили: утром собираем экспедицию к месту обретения. Вы оба призваны.

— А еще кто пойдет?

— Ледопыты будут, Пуговкин, Жирный. Жирный будет изучать следы земляка, чтобы дознаться о причинах бегства, он в страхах хорошо разбирается. Немного баб тоже отправятся, прибраться в том месте.

— Федотова-то здесь останется.

— Федотова! Ты бы волосы себе перетыкала, почтения, что ли, ради.

— Я завтра облепиховых себе наломаю. Сейчас облепиховые ветки носят.

— Дров еще потребуется, слышишь, Серый.

— Пусть Серый сходит, охладится.

— А чего вы так говорите: Серый, Серый? — спросила, приподнявшись, Мицель. — Вы же оба белые.

Снеговики застыли, словно каменные. Только Серый совладал с собой. Быстро пиная и встряхивая собратьев, он в несколько секунд выстроил и поровнял всех, и вот уже снеговики стояли пред Мицелью в ряд, согнувшиеся в глубоком поклоне. Серый выступил вперед и, волнуясь, с торжеством промолвил:

— Славна минута вашего пробуждения, о нежданная! Ликует обитель наша! Возблистала надежда в сердце каждой двуногой твари! На ваш же вопрос отвечу: мы с братом однолепки, из одного снежного слоя вылеплены, и оба создателя наши носили имя Серый; согласно обычаю, эти имена и нам присвоены. Нет ли у сиятельной еще пожеланий?

Мицель посмотрела внимательнее на их добрые взволнованные физиономии, и на сердце у нее стало легко.

— Не надо меня купать, — попросила она.



часть вторая

конец планетария

паровозик завозит мишату все дальше и дальше

Трудно маленькой девочке в городе, захваченном партизанами, особенно если она совершенно одна. Нужно быть разумнее всех, осторожнее всех, внимательнее, чутче, неуловимее всех.

И не у кого спросить совета. Агентства не было нигде, а партизаны были повсюду.

Их метелки ощупывали каждый уголок двора в ранний час, когда город еще пустовал. Бочковозы махали по улицам струями воды, чтобы сбить всю налетевшую пыль, чтобы самой мельчайшей травке было не за что зацепиться. Даже мусор интересовал партизан: каждое утро огненные грузовики въезжали во двор, тискали и трясли помойные короба, и те потом стояли опустошенные, лишенные тайны.

Партизаны брели по крышам и висели на веревках вдоль зданий. То здесь, то там их машины выгрызали в городе огромные дыры. Как сильно устала Мишата за первые дни! Чтобы найти агентство, ей требовалось обойти целый город, но пока удалось не больше трех улиц. Все время ушло на сидение в укрытиях и перепутывание следов. Несмотря на огромные усилия не встречаться с партизанами, Мишата все-таки попадалась им на глаза.

Наконец она заметила, что партизаны очень невнимательны: сколько раз оказывались близко-близко и хоть бы посмотрели на Мишату!

На пятый день она поняла, что могла бы и вовсе не прятаться. Сила партизан была так огромна, уверенность в том, что зима здесь побеждена навсегда, так тверда, что они не опасались врагов.

«А вдруг кто-нибудь из них опомнится? — думала

Мишата, пробираясь мимо партизан, и внутри у нее все замирало. — Ведь стоит им порасспросить меня или обнюхать — и все пропало!»

Но тревога была напрасной. И радость невидимости освежила Мишату. Партизаны, не обращая на нее внимания, были беззащитны перед нею. Необыкновенные возможности открывались ей.

Под масляными крышками тряслись внутренности машин; в железных коробах гудели от напряжения запоры, сдерживая накал электрических змеев; бочки с ядовитым солнечным соком стояли боком, и никто не оберегал их от пламени.

«Сколько хорошего тут можно сделать, — думала Мишата, — но я подожду пока. Мне необходимо стать королевой, сперва пускай королевой красоты, а там и Снежной королевой. И тогда мы восстановим зиму, а партизаны уйдут. Но для этого надо сперва отыскать агентство».

И она искала со всем терпением, но напрасно: в картах и вывесках нужного имени не было, а прохожие качали головами еще прежде, чем Мишата успевала о чем-то спросить.

В первые дни она и близко боялась подойти к тому, что называлось «метро».

Потом Мишата поняла, что метро — основа и мотор существования земляков. Все живое, что было в городе, метро перекачивало через себя. Войти в него, а потом покинуть было гораздо легче, чем ей казалось. Мишата проделала это раз, другой — все с меньшим и меньшим страхом. Сильнее всего пугали клешни-ворота. Но Мишата приспособилась проходить сквозь них, прижавшись к земляку, — и глупые клешни ее не различали.

Вот тут-то, в подземном зале, и открыла Мишата удивительную вещь. Таких залов-ловушек было множество по всему городу! Все они соединялись подземными рельсами, по которым ездили поезда. Потребность оказаться под землей возникала у земляков два раза в день, утром и вечером. Свои дома земляки возводили далеко отсюда,

так далеко, как только могли; здесь, в самом городе, они не ночевали. Но, видимо, сил противиться притяжению метро у них не осталось. И каждое утро земляки как зачарованные покидали свои дома и кружились в метро, теснились в вагонах, топтались у лестниц...

А Мишата сидела на лавочке в зале, глядя в толпу, словно в речку. Чего она ждала? Она и сама не знала. Но чувствовала, что, если смотреть и смотреть, что-нибудь рано или поздно высмотрится.

«Если потерялся, сиди и жди, пока не найдут, — мелькала в ее голове мысль. — Может, и меня найдет кто-нибудь?»

И с каждым днем она привыкала вот так сидеть. Ей уже нравилась красная буква «М» над входом.

— «М» — Мишата! — говорила себе Мишата и высовывала немного язык. В высовывании языка тоже мерещилось что-то красное.

И вот, день на пятый, Мишата сидела в метро особенно долго.

Люди тысячами толпились мимо. Но после отъезда поезда в зале делалось чуть прозрачнее и было видно чумазых детей, которые бросали бусину и прыгали за ней по квадратным лепешкам пола.

Внезапно бусина, вертясь, выскочила из-под ног бегущих на поезд людей и застряла рядом с Мишатой. Дети остановились, ища глазами бусину, вытягивая шеи. Один увидел бусину и через весь зал закричал Мишате:

— Эй, ты, глазастая! Эй, размышляга! Глянь, сколько очков?

Мишата пригляделась к бусине и увидала, что это кубик с рисуночками. На верхней стороне была нацарапана ладошка с пальцами в стороны.

— Пять! — крикнула Мишата и, так как завыл поезд, показала вдобавок растопыренную пятерню.

— Слышишь, ты! — крикнул опять ей мальчик. — Иди сюда.

Мишата подобрала кубик и подошла к детям.

Их было пятеро. Тот, который кричал, был в шапке и весь какой-то приплюснутый: как будто пожал однажды плечами, развел руками, да и остался так. Лицо было бледное, рот большой, как у лягухи, а глазки водянистые.

Рядом стояла девочка, очень красивая, с пышными, как пыль, волосами, но одноглазая: носила черную повязку. Третий был сам очень высокий, да еще и в высоком колпаке. Еще у одного был вокруг лица завязан платок — трижды и с узлом, как заячьи уши. Малюсенькая девочка неподвижно сидела в самой серединке черного квадратика пола, и глазки были черненькие, умные, как у мышки. Она была босиком, пальцы ног казались очень длинными, сильными, цепкими. Странные были дети.

— Привет, — сказал мальчик скрипучим голосом. — Сыграешь с нами?

— А что за игра? — спросила Мишата. — Опасная?

— Опасная! Это же игра. Называется «поддавки». Играется на полу. Один ходит поперек, остальные — вдоль. Кроме красного квадрата, он стрелка. Если попадешь на него — можешь один раз поменять направление. Кубик бросается по очереди. Один ходит поперек — это поезд. Кому он поддаст, выбывает.

— Я ездила в поезде, — сообщила Мишата.

— Ну и гордись. Сюда, что ли, поездом приехала?

— Поездом.

— Из деревни, что ли?

— Почти. Я рядом жила с деревней.

— А чего так выглядишь? Одна, что ли, живешь?

— Одна.

— Давно?

— Дней семь, наверное.

— Наверху или здесь?

— Наверху.

— А там где?

— В комнате для мотора. В нее тайная лестница ведет. Попадать на нее надо через подвал. Там под домом подвал. С улицы залезаешь в дыру, проходишь подвалом и выходишь через дверь на ту лестницу.

Мишата так давно не говорила длинно, что с непривычки запыхалась и помогала себе руками, жестами изображая устройство дома. Дети не двигались, но их зрачки неотрывно следовали за руками Мишаты.

— А ты наверху знаешь кого-нибудь?

— Нет. Никого.

— А здесь, в метро?

— Я в городе вообще никого не знаю.

Дети переглянулись между собой и опять уставились на Мишату.

— А есть, пить как достаешь?

— Я к партизанам в квартиру ходила через тайную дверь. Там у них набирала из кастрюлей, банок, отрезала по кусочку, что режется. Я так, немного, чтобы не заметили. Но они заметили, видно. Ловить меня не стали, просто заперли дверь.

У девочки на полу оживилось чумазое личико. Хихикнув, она поглядела на Мишату как на диковинного зверя. Одноглазая, склонясь к уху мальчика в шапке, прошептала что-то. Тот покачал головой. Сказал:

— Отойдем за угол, об нас тут спотыкаются.

Повернулся и пошел в арку. Дети тоже пошли, кроме маленькой, которая осталась сидеть и подбрасывать кубик. Ей, наверное, нельзя было выходить по игре.

Мишата задержалась на миг и пошла за остальными. Они остановились в темном углу между стеной и железным шкафом. Мишата ждала: что скажут? Но все молчали. Наконец одноглазая попросила:

— Языков! Узнай, а чего ей вообще надо?

Языков, не отрывая взгляда от Мишаты, поскреб свою шапку.

— Да, странная фигура.

— И вы странные, — сказала Мишата.

— Мы хотя бы друг для друга не странные. А ты для всех.

— Я разыскиваю агентство, — сказала Мишата девочке. — Модельное. «Розалия».

— Зачем еще? — спросил Языков.

— Там будут выбирать королеву красоты. Надо, чтобы меня выбрали.

— Почему именно тебя-то?

— У меня в поселке народ живет плохо. Зимой еще ничего, а летом совсем невозможно. Если я стану королевой, то смогу поменять жизнь. Поэтому меня и послали в агентство.

Мальчик в колпаке засмеялся. Но Языков остался строгим.

— Адрес-то есть у тебя?

— Да нету, мы же сперва не знали, что он нужен, и по ошибке отрезали. Вот, объявление только.

Мишата вынула сложенное объявление. Он взял. Прочел внимательно и передал девочке. Та тоже прочла. Все по очереди посмотрели объявление. Языков стоял, хмуро думая. Потом сказал:

— Оно же пятилетней давности.

— Как это?

— Ну, газета напечатана пять лет назад. Ты читать хоть умеешь, считать там, а? Пень-перепень! Двухтысячный год!

— Умею, — тревожно сказала Мишата. — И что же? Агентство, может, не закрылось еще?

— Я думаю, ты ничего не найдешь.

— Не найду?

— Нет. Я думаю, тебе пора обратно ехать.

— Куда же мне ехать? — ответила Мишата. — Нет, ехать мне не получится. Я, когда садилась в поезд, не посмотрела названия станции. Теперь только снега ждать. По снегу я или вычислю дорогу сама, или проводника сделаю. Но снег-то придет дней через шестьдесят пять. Время есть поискать!

— Давай-давай, — сказал мальчик в колпаке, ухмыльнувшись.

Он стащил колпак, на голове его оказалась огромная спящая крыса. Почесав под ней, он напялил колпак обратно. Одноглазая вопросительно глядела на Языкова. Тот недовольно произнес:

— Ведь я уже сказал — не ищи. Сказал? Что же ты не слушаешь? Мы не так уж часто даем советы. Мы вообще с наземными детьми не разговариваем.

— Да нет, я слушаю, — сказала Мишата. — Просто народ готовился много лет, а тут ты говоришь — ошибка. Ты что-то знаешь про агентство?

— Знаю. В этом твоем агентстве из таких, как ты, девочек делают манекенщиц. Понятно?

— Нет...

— Это такие твари вроде людей. На улице посмотри в любую витрину, где одежда... Днем они застывшие, а видела бы ты их ночью! Нам — ладно, мы из метро не выходим... А вот наземным детям просто караул с ними. Одно спасение — собраться в кучу и камнями разбомбить. Но если ты одна попадешься — до свидания. Никто о тебе не услышит больше... Вот. Это манекены, а еще хуже — фотомодель. Тоже не слыхала?

— Нет. Что это?

— Ну, видела фотографии?

— Нет.

— Посмотри-ка туда. Видишь — лицо как живое. По всему городу их вообще миллион. И все будто живые. А откуда они высосали жизнь? Из девочек вроде тебя. Понятно? Может, ты и отыщешь какое-нибудь агентство... Может, тебя и возьмут — да наверняка возьмут, с твоей-то внешностью. И станут твое лицо фотографировать, то есть расходовать на такие живые картинки, пока ты вся не истратишься. А когда ты вся истратишься, ты станешь девочкой без лица.

— А как же королева? — спросила Мишата растерянно.

— Какая королева, — сказал Языков, — какая королева, если тебя размножат на миллион картинок! Не бывает миллион королев. Королева неповторимая, королева всегда одинока! Как ты сейчас, например.

— Значит, мой приезд был ошибкой? — сказала тихо Мишата.

Языков взглянул на нее из-под шапки и облизнулся голубым языком.

— Ошибка? — спросил он. — Ну, это необязательно. Может, агентство было только поводом тебе приехать. А тут на самом деле иным ветром было дувано.

— Каким?

— Сама должна думать. Ну, напрягай мозги. Если исключить агентство — тебя тут что-нибудь притягивает?

Мишата пожала плечами.

— Надо сперва привыкнуть, что агентства нету, — ответила она устало, — тогда, может быть, я пойму. Нет агентства, но зато есть что-то другое — ты об этом говоришь?

— Вот-вот. Агентства нету, но зато есть, может, что-то другое. Ты сначала попробуй понять, что сюда тебя привело.

— Здесь много тайн, — осторожно сказала Мишата, — город весь сплошная загадка.

— Ну, это как сказать, — неохотно возразил Языков. Было видно, что он не желает говорить, но превозмогает себя, словно выполняет какой-то долг. — Для меня, например, город ясен, а вот ты — загадка. Я думаю, чтобы ее разгадать, нужно, чтобы ты покопалась в себе, а не в твоем городе.

— Так мне про себя все ясно.

— Ну да, только ты сама не знаешь, зачем оказалась здесь. А говоришь, все ясно.

— Как зачем? Газета вот привела.

— А кто тебе ее дал, кто надоумил?

— Надоумились мы как-то вместе... А газета...

— Ну откуда хоть взялась газета-то?

— Это было так давно, — ответила Мишата, — прошлой зимой. — Она, нахмурившись, помолчала. — Ну вот, у меня был любимый елочный паровозик. Я гуляла в лесу и повесила его на елку, потому что должен был настать Новый год. Я подумала: хорошо — белая елка и один-единственный белый паровозик. Я хотела ходить туда каждый день, любоваться, размышлять. Но какой-то лыжник его забрал. Он был, наверное, охотник. Он оставил костер, бутылку, газету, а паровозик забрал.



— Так, может, дело в этом паровозе и надо думать в эту сторону? — предположил Языков.

— Может, — вымолвила Мишата.

— А давно он у тебя?

— Не знаю. Сколько я себя помню, был со мной. Это очень важная в моей жизни вещь.

— Что же важного?

— Он ведь привел меня в лес, где меня потом братья нашли. Это он не дал мне замерзнуть, а вовсе не снежная природа, которой у меня, может, и нет, что бы там ни считала братия. Тайна в нем. Он и сейчас меня манит, мне кажется, я чувствую его, если закрою глаза. Он, я думаю, тоже в городе где-то. Да! Я всегда это понимала, просто сейчас впервые вслух произнесла!

Еще один поезд улетел со станции. Волосы Языкова с трудом приподнял ветер, и Мишата увидела, что они полны черной и бурой пыли. И у других детей были такие волосы, а ладони серые, как железо.

— Получается, — улыбнулась Мишата, — что паровозик меня к вам привез. Или это случайность, что мы встретились?

— Да нет, — ответил Языков. — Ты же часто сиживала в метро? А мы днем все время в залах, играем. Знаешь, сколько игр у нас? Сколько вымосток — столько игр. Мы часто, если нас кто-нибудь заинтересует, кубик ему подбрасываем. Рано или поздно мы бы все равно встретились.

— Что же мне делать дальше? — спросила Мишата.

— Ну, — откликнулся Языков, — это уже совсем, совсем другой вопрос.

Он с размаху хлопнул по шапке и оглядел собратьев.

— Что думаете, желваки?

Все подошли поближе к нему, недолгий говор пробежал между всеми, и опять расступились, и Языков снова стоял перед Мишатой.

— Вообще-то шелест про какие-то елочные игрушки идет давно... Может, это так, сказочки... Факт же только один имеется.

Он помолчал и как бы нехотя, хмуро продолжил:

— В прошлом году мы постоянно высовывались-следили. Как-то ночью, зимой, застали компанию чужих, которые залезли в витрину. Там всякая техника была и мелочь тоже. Но их интересовала одна только елка. Они покрутились около нее и сняли три игрушки. Потом отошли и тут же, между гаражей, эти игрушки разбили. Мы нашли осколки. Один из наших — сейчас его нет — вроде узнал пару курток, из какой они школы. Больше мы их, правда, не заставали. Но той зимой такая картина имелась часто: витрина вскрыта, игрушки вытащены и тут же, рядом, разбиты. Что это, зачем? Похоже, искали что-то. Вот тебе одно сообщение.

Он посмотрел немного на Мишату, она кивнула. Он продолжил:

— Теперь другое. Ты сейчас поезжай на «Краснопресненскую». Спросишь или увидишь сама — решетки, замок какой-то... Это злой парк. В нем живут чуваки. Мы их никого не знаем.

— Узнаем еще, — пообещал обвязанный.

— Не знаем, — повторил Языков. — Но слышали: там кто-то, в общем, ходил когда-то в школу, откуда вроде бы и те, кто по игрушкам зимой хоботился. Вот так. Это все.

— Мне достаточно, — с благодарностью сказала Мишата, — спасибо тебе! Только как же я поеду? На поезде, как земляки?

— Какие еще земляки? Это люди, жильцы. Они ездят, и ты езжай. Ничего с тобой страшного не случится. Главное, не засматривайся в отражения: вместо стекол кривые зеркала вставлены. И не садись по часовой стрелке. Хоть это и дольше, но садись против стрелки. Всегда так езди. И на поверхности, как злой парк найдешь, тоже будь осторожна.

— А то тебе голову там откусят, — сказал обвязанный.

Языков недовольно взглянул на него.

— Не слушай Рукова, — сказал он, — их тебе опасаться вроде бы нечего.

Маленькая девочка — она как-то незаметно оказалась рядом — тронула пальцем колено Мишаты.

— Ничего, что мы посылаем тебя дальше? — спросила она таким странно нежным и мелодичным голосом, что Мишата вздрогнула. — Поверь, мы же тебе даже поесть дать права не имеем.

— Чего болтаешь? — пробормотал Языков. — Все она понимает. И отправляем ее по хорошему адресу. Не нам же ее брать. У нее вообще тема другая.

— Понимаешь, — опять заговорила девочка, — мы сейчас вот играли так, для себя, а вообще у нас разрешено позвать в игру того, кто номер угадал. Видишь? — Она показала кубик. Он лежал изображением собаки вверх. — Собака, — продолжила девочка, — четыре. Звезда — один, зайчик — два. Никто не угадывает, а ты угадала. У нас тоже, как у тебя, много домов, и едой бы мы тебе помогли, но у тебя другая тема, потому тебе лучше идти к другим.

— Хотя они и уроды, — сказал обвязанный.

— В общем, еще одно, — добавил Языков, — ты, когда их найдешь, передай там... Чтоб к нам в метро не совались. Ясно? Чтобы забыли лазить сюда.

— Привет им передавай, — сказал обвязанный.

— Ладно, — сказала Мишата. — Ну, я сейчас пойду. Да?

— Да, давай, — ответил Языков.

Мишата еще раз по очереди посмотрела на всех.

— До свидания! — сказала она и пошла.

— Эй, ты! — крикнул Языков.

Она повернулась. Между ними шли люди.

— Тем нельзя, — громко сказал Языков, — но ты — слышишь? — ты можешь приходить. Смотри, — он ткнул пальцем в мрамор пола, — вот здесь, если присмотришься, в камне — скелет допотопной рыбы. Прошепчешь в рыбу, где тебя ждать, и кто-то из нас придет! Это узел эховой сети. Заглядывай, если что! Поиграем!

Он хотел что-то добавить, да махнул рукой и отвернулся. Приехал поезд, Мишата зашла. Одноглазая де-

вочка продолжала смотреть. Мишата выбрала место в самом конце вагона, чтобы запах ее не долетел до людей, двери закрылись, поезд поехал. И пока одноглазая не скрылась, она все смотрела сквозь стекло на Мишату своим пристальным, беспокойным глазом.



глава вторая

рассказанная на бегу

Эх, что ж Мишата не догадалась поесть с утра? Живот теперь просто слипся. Злой парк, озаглавленный острою крышей, нашелся сразу, но дивные кушанья преграждали путь.

Еда смотрела из окошек будок. Целые мясные башни вращались и потрескивали на хитром своем зайцепеке. Люди, расставив ноги, навалясь на столики возле будок, ели руками. Жирные обрывки бумаг и капли подлив осыпали столики и землю вокруг.

Чуть дальше, через дорогу, пестрела решетка парка, и вдоль нее тоже были усажены люди, и ели, и мусорили. Мишата шла медленно, чтобы наполнить себя хотя бы воздухом, окрашенным пирогами и запахом мясных скворечен... Но, спохватясь, она все это выдохнула и перешла дорогу.

Непонятные это были люди. У некоторых в руках не было ничего, а рты тем не менее жевали без устали. Одна девочка куски хлеба привязывала на веревочку. Большой человек ел яблоки, но не доедал до конца, а всю середину выбрасывал и брал другое.

— Да хватит! — прикрикнула на себя Мишата и остановилась у входа в парк.

Толстый болдуин в синей одежде преградил ей путь и сказал:

— Билет показываем.

Он выслушал объяснения Мишаты, что она идет не гулять, а по делу и обещает, все сделав, выйти назад, и повторил:

— Билет показываем, — да таким противным голосом, словно передразнивал сам себя. Не увидев билета, он сразу потерял интерес к Мишате, поверх ее головы уже тыкая глазами другого посетителя. Мишата отошла.

«Вот неприятность, — думала она, оглядываясь. — Одна надежда: он очень толстый, устанет, может быть, и уйдет? Поесть бы мне, — сказала она себе, опять бредя вдоль скамеек с людьми. — Ишь, выбрасывает серединки! Наелся, ну и не брал бы другое яблоко! А девочка все привязывает... Зверей, может, хочет кормить?»

Из-за решетки пахло зверями.

И Мишата сказала девочке:

— Жалко хлеб зверям отдавать. Давай лучше сами съедим! А зверям отдадим серединки, которые тот земляк набросал.

— Ты этот хлеб будешь есть?

— Да, буду, а что?

— Нет, честно будешь?

— Ну да.

— Ну на, откуси!

И девочка сунула хлеб прямо к губам Мишаты.

— Давай, кусай! Ну?!

Мишата немного отвела голову и вгляделась в хлеб.

Это были два куска, положенные друг на друга, а между ними торчал черный комок волос. Мишата посмотрела на девочку. То были ее волосы.

Черные-пречерные, те же, что и в хлебе, волосы девочки торчали густой копной. Кое-где в них, как огоньки, виднелись заплетенные ягодки рябины. Одна ягодка качалась у самых губ, и девочка нетерпеливо отдувала ее и отплевывала, не сводя при этом с Мишаты диких зеленых глаз.

— Давай! Ам! Ам! — лаяла девочка и тыкала Мишате в губы. Запах был кислый, едкий, совсем не хлебный.

— Да это плохой, кажется, хлеб, — сказала Мишата.

— Ну да, плохой, — сразу согласилась девочка, успокоилась, уселась и продолжила завязывание. — А что же ты тогда? Думаешь, я больная, хорошим хлебом кидаться? Я этот в луже нашла.

— А волосы зачем положила?

— Для зловония,чудачина! Это же селитрованный хлеб! Видела, в террариуме сыплют под лианы? Селитра,

поняла? Растворяешь в воде, вымачиваешь хлеб, потом сушишь — все! И волосы еще добавляются. Потом с этим бутербродом куда хочешь. От него дымовуха — ух!!! Можно полный театр народу выкурить. Но мне не этого надо.

— А зачем тогда?

— В колодцы.

— Зачем?

— Исследование проводить. Поможешь.

Она вскочила и дернула за собой Мишату.

Ноги девочки, в рваной цветастой юбке и деревянных башмачках, барабанили по дороге быстро-быстро. Она держалась очень прямо, расправив плечи, как настоящая королева, а руки ее отводили с дороги зазевавшихся земляков. Волосы мотались и прыгали, и было не видно, где выстрижено для бутербродов.

— Вонючие бутерброды я изобрела, — резко говорила девочка, поворачивая лицо к Мишате. — Попробуй выдай секрет! Ясно?

— Да мне и некому выдавать, — успокоила ее Мишата.

Они остановились возле квадратного колодца.

Невысокий, он стоял вплотную к стене злого парка и хранил следы оборванной сетки. Вниз уходили железные ступеньки.

— Сейчас такое увидишь! Если я, конечно, не ошиблась в расчетах. Вот карта, держи наготове. Я опускаю. Давай, поджигай. Что? Спичек нету? Откуда ты взялась вообще? Ладно, на, я сама подожгу, а ты опускай тогда.

Она достала спички и подожгла хлеб. Раскаленный лишайник пополз по хлебу, повалил густой дым.

— Ну!

Мишата осторожно ослабила веревочку, и хлеб поехал во тьму колодца.

— А бросить нельзя? — спросила тихо Мишата.

— Чучело! Там же вода на дне, может, — отозвалась девочка, жадно глядя в темноту.

Где-то внизу мигала искорка. Удушливый скверный дым поднимался оттуда. Прошла минута, другая. Ничего не происходило. Веревка ослабла в руках Мишаты.

— Прогорел,— негромко сказала она.

Отступив от ужасного гадкого газа, идущего снизу, она смотала веревочку. Девочка не отрываясь смотрела.

— Есть! — прохрипела она безумным шепотом…

Вцепившись Мишате в волосы, она дернула ее голову вниз, в колодец. Мишата, стараясь не дышать, заглянула. Во тьме раздавалось шипение, храп, толкались мутные пятна. Вдруг донесся отвратительный рев. Что-то приближалось со дна. Мишата невольно вздрогнула. Несколько жутких морд, сморщенных и уродливых в дыме, подымалось из тьмы.

— Отходи! — завопила девочка и рванула Мишату в сторону. — Это надо издали смотреть! Стой! Вот отсюда! — Она остановилась шагах в десяти от колодца. Приплясывая от возбуждения, она жадно уставилась на дымящееся жерло. Ее ногти все глубже впивались в руку Мишате. Из колодца вынырнуло несколько голов и застрялось, задергалось.

— С гребешком… — нежно ахнула девочка и взвизгнула прямо в ухо Мишате: — Смотри! С гребешком! Обычно лезут по одному! А эти застряли! Сейчас выпрыгнут, будто вырвало!

И точно: застрявшие вдруг разом выдавились из колодца и попрыгали в разные стороны. Идущие мимо земляки с ужасом шарахнулись прямо туда, где ехали машины. Ударил гудок… Брань, крики понеслись в воздухе… Девочка прыгала и вопила от восторга. Потом, выхватив у Мишаты карту, принялась отмечать что-то огрызком карандаша.

— Есть бредуны… И здесь тоже… — бормотала она безумным и счастливым голосом. — Я доказала!

Мишата, морщась, незаметно потерла синие следы ногтей на руке.

Два или три бредуна были уже на ногах. Шатаясь, они подбирали камни и палки. Один размахнулся и швырнул чем-то в Мишату. Кусок кирпича ударил под ноги и оставил дымный розовый след. Другой полетел прямо в голову Мишате. Она слегка повернулась, камень

пролетел мимо и бесшумно исчез за решеткой парка, не коснувшись прутьев.

— Плямба... росомаха... — доносились злые ругательства.

Бородатый прелый бредун уже набегал с древесным суком в руке.

— Послушай, — неуверенно обратилась Мишата к девочке, которая, высунув язык, все копалась в карте, — может, нам было бы лучше отойти куда-нибудь?

Та покосилась на бредуна и перевела на Мишату изумленные глаза...

— Эй, — взвизгнула она, — мотаем!

Изо всех сил они бросились с места. Вовремя! Палка бредуна махнула где-то мимо, лапа хапнула пустоту. Девочка бежала впереди, карта ее развевалась, лужи взрывались под каблуками. Сзади несся топот бредуна.

— Ничего, — кричала девочка, — он скоро выдохнется, потерпи, еще побегаем!

И они бежали и бежали. Девочка порой поворачивала голову к Мишате и, взмахнув волосами, глядела одним глазом, как птица.

— Меня зовут Фара, — задыхаясь, говорила она, — Фара Безобразова. Тебя?

— Мишата.

— Отлично! Вещей у тебя много?

— Мало!

— Хорошо, — кивнула Фара. Ее ноги мелькали быстро, и, если попадался внизу подходящий предмет — зеленое яблоко или банка, — Фара не забывала, замедлив ход, нагнуться и метнуть его в преследователя. Ветер был попутный, в спину, по влажной дороге ехали вперед листочки, и Фара от них не отставала, и Мишата не отставала, и бредун не отставал.

— Сейчас мы перелезем, — торопливо говорила Фара, — а то он не отвяжется.

Фара совсем запыхалась и наконец перешла на шаг, вскрикивая и хватаясь за грудь. Мишата тоже замедлилась и обернулась.

Бредун был рядом, но и он еле плелся — одет был, что ли, чересчур жарко.

Некоторое время они еще тащились, пока не поравнялись с будкой «таксофон», стоящей близ каменной ограды парка. Камни нависали огромные, грубые, залезть можно было.

— Давай здесь, — сказала Фара, — все равно придется: иначе он не отвяжется. А на стене полно яблок, так мы его добавочно обкидаем. Я первая, ты смотри.

Впиваясь в камни длинными тонкими пальцами, Фара полезла. Мишата с легкостью последовала за ней.

Забравшись на стену, они уселись между железными зверями, которые украшали верх. Фара кинула несколько яблок, но бредун укрывался за будкой, и яблоки зря разбивались о заграждение.

— Ладно, — сказала Фара, — прыгаем. А то пингвины сейчас увидят, разорутся.

Внизу, между деревьями, лежала ржавая крыша с лужицей воды в одном месте. Фара и Мишата прыгнули, и железо дважды бабахнуло.

Не медля, они спрыгнули на землю.

Было довольно высоко, но мягко: все устилала ранняя листва. Сильно пахло гнездом. Мишата оглянулась и увидела, что сзади огромная клетка, а внутри ее, в темноте, совы. И рядом стояли клетки: тесно, одна за одной, они расходились по сторонам.

— Тюрьма зверей? — недоверчиво внюхиваясь, спросила Мишата.

— Какая тюрьма! Просто зоопарк, — ответила Фара и перелезла через заборчик на дорогу, где прогуливались земляки. Неторопливо и важно девочки двинулись по дорожке.

Но не совершили они и десяти шагов, как крыша задней клетки ухнула от удара, и миг спустя туловище бредуна свалилось на листву, словно грязный мешок.

— Черт! — воскликнула Фара. — Опять придется!

И они снова бросились убегать.

По пути Мишата заглядывала в клетки.

Странные звери! Иные еще были похожи на лису или волка, которых Мишата встречала, другие походили на виденных во сне, а в некоторых клетках вообще было пусто — тут, наверное, жили и вовсе невиданные звери.

Бежать было тяжелее, чем раньше, потому что приходилось огибать людей. Бредун хрипел, плевался, но не отставал.

Наконец он свалился на лавку. Фара немедленно плюхнулась на другую. Мишата остановилась и тоже присела.

— Ляпа, гантеля! — бранился бредун и удушливо кашлял.

— Придется в воду лезть, — переводя дух, просипела Фара, — иначе это на целый день будет.

Они еще чуть-чуть отдохнули, встали, перебрались через забор и спустились к воде. Несколько испуганных уток покинули береговую грязь и поплыли прочь. Пруд был огромный. Ближе к другому краю виднелся остров.

— Гляди, — сказала Фара, — видишь, лежат? Это наши.

Мишата разглядела несколько детей в трусах.

— Голые вон те?

— Ну да. Дураки — загорают, что ли? Подбирай юбку. А сапоги положи в подол, как я. Здесь мелко, не думай, только ступай точно за мной.

Они неспешно побрели в воде, удаляясь от берега. Одинокий камень плюхнулся далеко сзади.

— Все уже, — оглянувшись, сказала Фара, — он в воду не полезет. Они воды как чумы боятся.

— Зачем ты им бутерброд закинула? — спросила Мишата.

— Раньше мы в парк через трубу лазили, а теперь — все! Бредуны заняли. Главное, их число нарастает. Я составляю карту, — она показала подбородком на оттопыренную сбоку кофту, — чтобы нападать на них. А то выживут нас из Планетария — где зимовать?

Говоря все это, Фара покачивала головой заботливо,

строго, словно повзрослела, припомнив свои заботы. Куда подевалось ее неистовство! Бледная, с задумчивым лицом, она придерживала пальцами подол юбки и двигалась осторожно, высоко поднимая из воды худые белые ноги.

Мишата тоже так шла, но все равно загребала ногами и делала волны больше, чем Фара.

Розовые птицы появились сбоку. Они мирно паслись, купая горбатые клювы. Фара вошла в их толпу, и некоторые птицы побежали, заторопились прочь, другие захлопали крыльями и подняли брызги. Но Фара двигалась невозмутимо, по-прежнему аккуратно поднимая ноги, сама подобная птице. Несколько алых перьев качалось на волнах, и Фара с сожалением постояла над ними.

— Была бы вода поглубже, я бы губами их поймала, — сообщила она Мишате. — Что же делать? И у тебя руки юбкой заняты!

— Да, вот это здорово! — согласилась Мишата, глядя на невиданной красоты перья. — А ты с ними что делаешь?

— В волосы можно заплести, в платье заткнуть. И продать можно. Эй, Гусыня!— завопила она внезапно диким, пронзительным голосом.

Птицы ударили воду и с грохотом взлетели, и вся вода зарябила от брызг и грязи.

На острове, уже недалеком, поднялись головы.

— Чего!

— Сюда, Гусыня!

— Колбасыня!

— Шагай, говорю!

— Чего, перья опять?

Какой-то детина спустился к воде и пошел, плюхая и брызгая.

Он все увеличивался в размерах. Мощные волны раскатывались от его шагов. Но лицо, когда он приблизился, оказалось глупое, как у маленького. Штаны были плохо закатаны и намокли по краям, и к одной штанине прилипла водоросль. Ну а волосы были рыжие.

— Еще одну рыжую привела! — заржал он, по-доброму взглядывая на Мишату. — Ну? Чем вам помочь, букашки?

— Подержи мне юбку, — холодно сказала Фара.

Раскорячившись возле Фары, Гусыня бережно принял уголки юбки. Фара осторожно пошарила по воде и подобрала перья.

— Сунь мне в башку! — тут же нагнулся Гусыня. Там лазили муравьи. Фара щелкнула ему в темя, очень сильно, согнутым пальцем, и бросила перья в подол Мишате.

Перехватив юбку и поджав губы, она презрительно прошла мимо Гусыни. Гусыня пошарил рукой в подоле Мишаты, выбрал самое большое перо, воткнул в голову и с диким криком бросился к острову.

— Я! Фла! Мин! Гус! — выкрикивал на скачках Гусыня. Тина и грязь разлетались у него под ногами.

— Обалдуй, — пробормотала Фара.

Они добрались до острова и вышли на берег. Здесь росли деревья, кусты, но трава вся была истоптана, и следы были птичьи. С той стороны возвышались лебяжьи дома. Лебеди гуляли по грязи и ни на что не обращали внимания.

— Знакомься, — сказала Фара Мишате, — это Соня. Ну, тот Гусыня, а вон еще Пушкин. — И она указала на дальнего мальчика с лысой головой и в ржавых очках.

Соня, который недовольно рассматривал Мишату, был страшно худой, ребристый, белобрысый, красноглазый и вялый. Его тонкие ноги лежали как ненужные.

— Смотреть холодно на вас! Чего разделись? — крикнула Фара.

— Мы загораем, — уныло сказал Соня.

— Чего загораете, если солнца-то нет?

— А его никогда нет! Чего же, не загорать совсем?

— Гляди не обгори! — сказала Фара и обратилась взглядом в серое небо. Ей словно надоело разговаривать.

— Новенькую привела? — спросил Соня.

— Не видишь? — отозвалась Фара, наблюдая небо.

— Вижу, — тоскливо произнес Соня, — вот и спрашиваю. Думаю — может, обидеться? Когда я привел хорошего кренделя, оказалось, он, значит, посредственный и едва ли не дубовый. Бузыкина привела подружку — тоже нельзя: блохи. Хотя это были комариные укусы. А Фара, я вижу, все сама решает. И на блох, наверное, проверила?

— Тебя надо проверить! — ответила Фара. — Дурак ты! Посмотри, кого ты водишь, кого водит Бузыкина. И кого привела я. Что ж ты пузыришься?

Соня посмотрел на Мишату глазами карася.

— Я пузырю? Значит, для тебя справедливость — пузырь? Правила — пузырь? Ведь клялись: тропу через пруд никому не показывать.

— За нами бредун бежал.

— Когда это ты бредуна боялась! Да хотя бы и сто бредунов. Договор или есть для всех, или нет ни для кого.

— Подавись ты своим договором! — крикнула Фара. — Смотри, какая девочка! Ты хоть раз таких видел?

— Ну и что, — пробормотал Соня, — а чего от нее толку?

— Ладно, Соня, перестань, — выговорил здоровенный Гусыня добрым голосом, — мне она нравится!

— А мне ты, может, не нравишься, — буркнул Соня.

Гусыня загоготал. И Пушкин улыбнулся.

— Балбесы вы, — скривившись, сказала Фара, — чего вы тут валяетесь? Сходили бы лучше чего-нибудь добыть. Ее зовут Мишата. Она со вчера не ела.

— В шесть будут тигра кормить, — растягиваясь на помятой траве, произнес Соня, — вот будет и нам мясо.

— Сейчас чего-нибудь, — строго сказала Фара.

— Нету, ну не-ту!

— Соня! — крикнула Фара и топнула ногой. — Ну я прошу!

— Да чего присосалась! — с досадой укорил Соня. Однако кое-как поднялся и стал натягивать синий пиджак прямо на свои ребра. — Что сегодня? — ворчал Соня. — Пятница! Народу никого нету. К ларям не подойти, к пончикам не прижаться, не популесосить...

И он встал, готовый, перед Мишатой, с брюками через плечо.

— С нами? — спросил он у Фары.

— Нет, — сказала Фара, — я позагораю.

— Тебя долго ждать? — недовольно обратился к Мишате Соня.

Они спустились к берегу. Мишата приподняла юбку и вошла в воду.

— Куда? — с раздражением спросил Соня. — Иди за мной. Смотри, мимо наступишь — тут по бокам глубина метра четыре.

Соня еле плелся вдоль клеток. Он даже не подымал ноги, а так и тащил по земле или по луже, если встречалась лужа, и мокрые его следы украшались по бокам полосочками от волокущихся шнурков. Мишата, аккуратно обходя лужи, шла сзади.

Голова Сони медленно поворачивалась то вправо, то влево.

Порой он останавливался и, близоруко моргая, глядел на гуляющих людей или клетки. Если на пути встречались прудики с водой, Соня заглядывал и в них. На Мишату он не смотрел, точно забыл о ней. А она терпеливо шла, останавливалась вместе с ним, заглядывала, как и он, в прудики, лужи и клетки.

У лавочек, где сидели люди и дети, Соня остановился надолго. Он вяло топтался, мялся, что-то обдумывал и прикидывал. Наконец обратился к Мишате:

— Попкорн хочешь?

— А что это?

— Дрянь, конечно. Это день сегодня дрянной... Ну чего, будешь?

Он направился к дальней лавочке, где одинокий мальчик что-то жевал, болтая ногами, одетыми в длинные кожаные трусы. Возрастом он был, может, как Соня, только толстый. В одной руке он держал воздушный шар с мордой веселой мыши, в другой — большущий пакет.

— Привет, — сказал Соня уныло.



Мальчик посмотрел на него, затем на Мишату и перестал жевать.

— Гуляешь? — спросил Соня.

Мальчик пожал плечами.

— А пестик дашь посмотреть?

Сбоку возле мальчика лежала черная штуковина. Мальчик немного побледнел и не ответил. Глаза его беспокойно забегали.

— Да чего ты боишься? — спросил Соня. — На фига мне твой драный пистолет? У меня был такой. — Он протянул руку и взял пистолет. — Шариками бьет?

Мальчик слабо кивнул.

— Ну ладно... — в раздумьях протянул Соня. — Слушай... а пара рублей есть у тебя?

Мальчик покачал головой. Соня понурился. Он натянул ствол пистолета и, когда щелкнуло, поднял руку и направил пистолет на шар с мышиной улыбкой.

— Сейчас твоему Микки-Маусу капец, — пробормотал Соня, — до двух только сосчитаю.

Мальчик приоткрыл рот и сморщился. Ноги его заскребли по песку и поехали куда-то под лавку.

— Раз, — произнес Соня, — два...

Мальчик сглотнул.

— Давай, — сказал Соня, не сводя пистолета.

Мальчик сунул руку в карман рубашки и вынул несколько серебряных монет. Соня принял их, но не убрал руку.

— Еще там шуршало что-то, — заметил он.

Мальчик задрожал, опять вернулся в карман и вынул денежную бумажку.

— И пакет, — сказал Соня, делая движение пистолетом.

Мальчик не двигался.

— Бери, — сказал Соня Мишате.

Мишата вынула из ослабшей руки пакет. Соня еще постоял в раздумьях.

— Ладно, — пробормотал он и бросил пистолет на лавку, — пока.

И, сгорбившись, потащился прочь, туда, где сходились кусты и клетки. Мишата улыбнулась мальчику и поспешила за Соней. Но догнать никак не могла — Соня постепенно ускорял ход.

— Побыстрее! — сердито сказал он ей через плечо, оглянулся, побежал.

Она побежала тоже.

Оказалось, Соня бежит еще быстрее.

Она побежала со всей скоростью. Оба они бежали уже как сумасшедшие. Шнурки у Сони мотались и хлестали, как молнии. Не замедляя дикого бега, они ворвались в проход между клетками и стали юлить и петлять в тесноте. Наконец явился тупичок, заваленный вениками. Соня тут же плюхнулся и задышал всеми своими костями. Мишата прислонилась к зеленой стенке сарайчика.

— Ешь, не стой, — задыхаясь, сказал ей Соня.

И Мишата стала есть пухлые шарики.

Вкус был приятный, странный, но еды оказалось мало. Соня немного отдышался и вытащил из кармана деньги.

— Двадцать восемь. Он все отдал со страху, все, что было.

Выговорив такие слова, Соня расслабился, развалился и стал рассматривать Мишату, как она доедает последнее. Она вытряхнула съедобную пыль, подвигала в воздухе пустым пакетом и, не зная, куда его девать, наконец протянула Соне.

— Да брось, — сказал Соня и вяло улыбнулся, — наземь, наземь бросай! Ты чего какая-то?.. С луны, что ли, свалилась?

— Нет, я такой же, как и ты, человек, — отвечала Мишата, кончиками пальцев обмахивая крошки с губ, — что ты!

— Так откуда же ты взялась?

— Жила под крышей одна дней восемь, а сегодня вот Фару встретила, она меня и привела сюда. Знаешь — спасибо тебе! Я очень давно не ела. Только вот что: может, ты мне расскажешь, как тут чего-нибудь раздобыть,

я бы еще походила, сама. А то очень хорошо, но все-таки мало...

Соня тускло посмотрел на нее.

— Куда ты сейчас пойдешь? Микки-Маус крик поднял. Теперь надо ждать, пока все уляжется.

— А нас не поймают, когда мы выйдем?

— Где там! Знаешь, какой зоопарк огромный! Его человеку за день не обойти. Бобовики побегают-побегают вокруг, но вглубь не полезут. Злодеи, мол, скрылись в недрах зоопарка...

— Хорошая вещь пистолет! — сказала Мишата. — Надо было забрать его тоже! С ним так легко добывать еду!

— Надо же, а я думал, ты будешь переживать за этого толстого.

— Да нет, чего тут особенного, — сказала Мишата. — Мы привыкли все брать у земляков. У них всего много.

— У каких еще земляков? — хмуро спросил Соня.

— Ну, у людей.

— А ты сама не человек, что ли?

— Я — да.

— А какие тогда еще земляки?

— Ну, существа земляной природы. Это особый род существ. Они — то есть мы — сделаны из земли.

— Ты бредишь, что ли? — недовольно сказал Соня.

Мишата стояла прямо и глядела серьезно. Соня показал ей рукав пиджака с картинкой: раскрытая книга и желтое солнце на красном фоне.

— Люди произошли из янтаря, — строго сказал Соня и указал на солнце, — тут все дело в солнце, а ни в какой не земле. И книга вот. Ученье — свет, неученье — тьма. А твоя земля — это мурня. Это куличики из земли. Ты из детского сада, что ли? И чего ты все стоишь? Да присядь хоть, гречиха, на веники. Мы все равно раньше чем через час не выйдем. Потерпишь час? Когда выйдем, чего-нибудь мирно купим.

Когда они выбрались наружу, Мишата не успела даже оглядеться, как Соня указал ей в сторону:

— Глянь, бегут... Наши!

Там, среди гуляющих, видно было бешеное мелькание. Раздавались свистки, взвизгивания, брань. Суматоха быстро приближалась, и вот Мишата уже видела совершающего огромные прыжки Гусыню, Фару, скачущую на одной ноге и с диким визгом машущую руками, еще кого-то... один из них запнулся, упал, поднялся и с хохотом бросился дальше...

Кто-то дернул ее за руку, кто-то крикнул:

— Тюленей запускают, бежим!..

Соня толкнул ее в спину, и Мишату подхватило и втянуло в общий необузданный бег.

С первого же прыжка в лицо ей бросился ветер и выдул все мысли, все до одной, и опасения и грусть исчезли, а осталась одна только буйная веселость.

Бежать было необыкновенно легко; с каждым прыжком покидая и покидая землю, Мишата не чувствовала ее тяготы, напротив, земля словно сама толкала ее в пятки, подбрасывала в небеса. Клетки, кусты, онемевшие люди выскакивали рядом и, завертясь, вмиг проваливались невесть куда, словно испепеленные скоростью. И весь мир обратился в ворох цветных обломков, что неслись в горизонтальную пропасть. Одно было постоянно: крики и топот бегущих рядом да еще ровное небо, где сквозь пасмурную пустоту уже проступали улыбки и знаки вечера.



шепота в которой больше, чем света

Мишата брела вдоль ограды, наблюдая, как парк заканчивает свой неряшливый день.

Дворники сплющивали метлы, стараясь отодрать прилипшие обертки мороженого. Ветра не было... На небесном стекле пруда застыла черная улыбка лодки, а берега уже померкли. Уныло кричали с башен дозорные, далеко над водой разносился лязг: из вольер выпускались ночные птицы. Олени появились из леса на другом берегу, постояли миг и исчезли, не тронув воды. Служители меняли синюю дневную форму на серую ночную и зажигали потайные фонарики.

Мишата и остальные уходили в глубь зоопарка. Все реже встречались по сторонам новенькие нарядные клетки, а потом они исчезли вовсе и остались только ветхие и древние.

Престарелые звери дремали на порогах, лениво настораживая уши, или блуждали в зарослях. Потом стали попадаться развалины клеток, переделанные под человеческое жилье, обернутые в потертые шкуры.

Дым проникал из щелей и висел в неподвижном воздухе. Коричневые старухи стояли в дверях. Их мужья, старые служители зоопарка, лилиеводы, ловушечники, волконавты, крокодильеры, кто с рукой, кто с ногой из чистого серебра, сидели на пустыре и смотрели маленький телевизор.

Звуки и свистки спортивной передачи слышны были далеко. Пары странных кушаний поднимались из-под шкур и беспокоили сердце — запахи и закаты стран, где никогда не суждено побывать. Гирлянды сушеных змей тянулись между клетками вперемежку с матросскими лохмотьями, невиданные цветы светились под рваным полиэтиленом, огромный слоновий череп стоял в грязи...

Скоро улица исчезла. Дальше лежал пустырь, весь в костях и обломках клеток, и змеи растекались из-под ног. На другом конце пустыря стоял остров черного леса, а над ним угадывалось огромное здание. Дымчатый его купол еле различался на фоне неба. Еще дальше висели ранние огни и слышался городской гул.

— Вон он, Планетарий, — прошептала Фара, указывая на купол. — А за ним — Садовое кольцо, Старый город и центр. Запоминай: идешь домой — обязательно прихвати доску там, бревно, в общем, дровину. Или, если хочешь, можно перпендулий взять и воды из родника набрать: а то у нас течет вода, но какая-то ржавая... А вот и наша клетка! — хмыкнула Фара, когда они подошли к темноте.

Решетчатый забор из толстенных копий, связанных узорными кольцами, сдерживал лес. Вовнутрь едва бы просунулась рука, а вверху между наконечниками слабо блестела терновая проволока.

Всей компанией залезли и повисли в ряд на небольшой высоте, упираясь в колечки-украшения.

И пошли тихонечко влево, переступая с колечка на колечко. Побрела и Мишата. Она оказалась последней. Через ровные промежутки забор скрепляли белокаменные бабы, и надо было оползать их, сжимая в объятиях облупленные бока.

— И всегда так ходи до лазейки, — учила Фара, терпеливо перебирая руками и ногами, — чтобы не светить ее, не вытаптывать рядом землю.

— Это вы хорошо придумали, а то бредуны тут недавно ходили, — прошептала Мишата.

— Да ты что! С чего ты взяла?

— Почуяла. Сейчас их нету. Запах уже еле слышен. Но все равно, где-то рядом они таились.

— Грех-табак! — выругалась Фара, косясь в темноту. — А ты молодец, следи, следи и, если что, говори сразу.

Наконец все остановились. Сверху раздался шепот:

— Эй, ползунки! Увидели вас, да не узнали! Перекличьтесь!

— Это я, Гусыня!

— Самоделкин!

— Пудра!

— Оплеухов!

— Опахалов!

— Пушкин!

— Фара и еще Мишата, — произнесла Фара. — Это наши сторожа, сычи, — объяснила она, — мы так по очереди. Тебе тоже сычить придется. У нас без охраны невозможно.

Тем временем Гусыня отыскал в решетке прут, разболтанный в своих креплениях, и хорошо приподнял.

Открылась дыра, куда все по очереди пролезли.

Гусыне последнему подержали прут, а потом опустили на место.

И пошли по решетке обратно тем же паучьим ходом, чтобы и изнутри возле прута ничего не вытроптать. А слезли там же, где и залезали. Пусть бредуны ломают голову: как это — тропа кончается у забора, продолжается за забором, а в самом заборе-то ни малейшей лазеечки!

...Тут была старая-старая аллея огромных вязов. Их стволы слабо выступали из темноты. В каждом было дупло, и в каждом дупле что-то жило. Под ногами чувствовалась дорога, в древности асфальтовая, а сейчас истресканная, и из трещин росли травы, кусты и даже тоненькие деревья.

Чаща по сторонам шумела, а ветра не было, и Мишата думала — что же это шумит? Порой похохатывала сова, и то и дело чьи-то коготки стрекотали по камням. Вдалеке, сквозь наслоения деревьев, еле сеялся свет фонаря. Иногда его пересекали летучие тени.

— Зверей, что ли, тут полно? — шепотом спросила Мишата.

Фара повернулась к ней. Одна сторона ее лица, нежно-белая от фонаря, была расписана голубоватой паутиной теней. Во мраке рта, как звездочка, поблескивал мокрый зуб, а вторая звезда — в глазу.

— Зверья тут много, но ты привыкнешь, — тихо-тихо

ответила Фара. — Все беглые звери с зоопарка собираются сюда. Зато ненужных людей тут не бывает. Границу забор охраняет, да и мы следим. Тут как страна: джунгли и развалины, и никого, кроме нас, нету.

— А что это там лежит? — спросила Мишата.

Из земли поднимался огромный сумрачный шар. Чуть дальше лежал еще один, похожий на голову в шляпе, а совсем вдали расплылся, кажется, третий.

— Иди, не задерживайся, — ежась, шептала Фара. — Это все планеты. Тут Луна, дальше Сатурн и так далее. В Сатурне, видишь, дыра, там гиена Яна живет. Планет тут много, и все пустые внутри. Это же парк при замке звездочетов, вот они в древности и наделали себе этих планет. Тут в чаще много всего: скульптуры созвездий, разные львы да пауки, бассейн, была даже здоровенная астролябия, но от нее только штанга осталась: разломали.

Так, перешептываясь, они приблизились к Планетарию. Трава колосилась на крыше. Она одиноко поднималась в небо — самых высоких деревьев едва хватало, чтобы только коснуться ее края, такой огромный был Планетарий. Его стены истрескались, решетки поржавели, и крохотные окошки, темневшие на высоте, молчали.

Гусыня и Самоделкин несли лестницу: ее тяжелый конец чертил в небесах непредвиденные дуги. А сама лестница была хорошая, серебристая.

— От пожарной машины отвертели, — негромко пояснила Фара.

Лестница звякнула о стену, и несколько птиц захлопали крыльями и улетели с купола в лес.

Мишата влезла на лестницу и посмотрела с высоты на лес. Кто-то странный прыгал у него на ветвях. Мишата отвернулась и ступила в окно.

Она попыталась сообразить, какое настроение у темноты, наполняющей здание. Темнота подстерегала звуки вроде большого уха. И была нежилая — пахла гниющим деревом и сырым кирпичом. И не имела никакого особенно мрачного настроения.

Мишата шагнула с подоконника и вдруг полетела

вниз. Оказалось, это было окно высокого зала! Пол ухнул по ногам, звякнули и заскользили осколки стекол... Мишата еле устояла на ногах.

— Надо же по витринам слезать, грешница-яишница, — отругал ее Самоделкин из темноты.

Фара осторожно взяла Мишату за волосы и потянула вперед.

— Давай я тебя поведу. А то тут весь пол в метеоритах.

И тут же споткнулась.

Мишата же привыкла к темноте и видела хорошо. Пол был весь усеян камнями разного размера, самые огромные прислонены к стене. С высокого закопченного потолка свисали цепи, на одной качалась полуоборванная табличка: «Метеоритный зал».

Фара шипела и плясала, исстукав ноги метеоритами.

— Давай лучше я поведу, — предложила Мишата.

Но тут впереди вспыхнуло пламя. Подняв факелы, несколько фигур брели между камнями обратно, затаскивать лестницу. Паника теней охватила зал до вершины.

— А нам дайте факелочек! — подскочила Фара и, махая факелом, вернулась к Мишате.

Гадко и ярко пылала тряпица, смоченная в партизанском солнечном соусе. Фара зашагала отважнее. Черные дыры туннелей глядели по сторонам. Фара выбрала один. Оттуда шел ветер, гнул пламя факела и приносил глухие голоса. Два рыцаря стерегли вход, один был без руки и с треснутым стеклянным забралом, и тени ползали внутри шлема.

Туннель до половины оказался засыпан бумагами, картами и рваными нотами. Ноги едва волочились в бумажном хламе. Мишата старалась ступать поверху, Фара же брела по самые колена, распространяя шелест и ворошение.

— Расчищаем, расчищаем, — шипела Фара, — а ветер опять все заметает!

— А тут есть что-нибудь интересное? — спрашивала Мишата, поднимая астрономические обрывки.

Но Фара сказала:

— У нас никто читать, кроме Пушкина, не любит.

Что ж? В молчании пошли они дальше.

Кончился туннель квадратом черноты, где без всякой опоры висели огоньки передних факелов.

Мишата подошла к краю, и бумаги медленно заскользили из-под ног и посыпались вниз. Она заглянула им вслед. Тихо исчезли бумаги. Эхо голосов наполнило глубину. Это был огромный зал.

— У нас тут мост висючий придуман. Наступай смелее. Иди тихонько. А теперь я покачаю. Тик-так, тик-так! — запела Фара и стала раскачивать мост, связанный из веревок и палок.

Факелы впереди заметались, один кувырнулся и полетел вниз. В полете он разгорелся, свет протянулся через весь зал, и стал на секунду виден словно низенький лес — ряды кресельных спинок, разом взмахнувшие своими тенями. Потом факел ударился об пол и стал тихо, ушибленно догорать.

— А ну хорош лошадеть! — понеслись разозленные голоса, но Фара только хохотала, отплясывая над бездной…

Так они добрались до железной площадки. Вокруг была высота. Вниз вела лесенка.

— Это проектор, — пояснила Фара, — он высоченный. Здорово? А лестница спускается прямо в оркестровую яму. Мы в ней живем. Она в самом центре у Планетария. Это лучшее в мире место!

В облупленной ванне развели огонь, по бокам разложили на палочках мясо.

Гусыня качал насос, надувая воздух в нижнее отверстие ванны, и борода огня поднималась выше человека.

Жар шел такой, что сесть можно было только широким кружком, — двенадцать человек, не считая Мишаты и двух удалившихся сычить. У всех в руках было мясо. Оно было так тонко нарезано, что Мишата, поднося его к глазам, видела розовое сияние костра.

Гусыня, размахивая своим мясом, наседал на Мишату:

— И чего ты как мороженая? Ну, оттай! Чего так ешь, словно щиплешь? Ты хапай, хапай! Вот так. Смотри, как я охобачиваю. Потом — никогда, я гляжу, не запьешь. Думаешь, мало воды? Гляди: я на башку лью себе! На пол плеснул... Вот! Не жалей! Воды — гора! Ну что, попьешь? Ага... Вот так... молодец. — Гусыня толкнул ее локтем. — Хочешь, завтра утку словим? Или пеликана? Мяса всегда полно, у тигров мы вытягиваем такие кусищи! А сладкое? В ветреный день сахарная вата по воздуху летает: пасть открой и услаждайся. И попкорн порхает, за час можно мешок напихать. Ну, еще можно павлинить, грибочничать, пулесосить. Ты давай приживайся у нас! Оставайся! В Планетарии здорово жить, а в Темнаташу ты не верь, ее одни дураки боятся! Пожары будем ходить смотреть, у нас Пушкин такой — всегда заранее знает, где пожар. В военный музей сходим, там по настоящему бронепоезду полазить можно, или в исторический. Внутри спрячемся, а ночью вылезем и будем доспехи мерить, ну или там платья, если понравится. Или в концертном зале схоронимся, а ночью на органе поиграем... По улицам гулять будем, я тебя научу пугать жильцов... Да и мало ли чего выдумаем! Ты дружи со мной! Я, может, и не такой ученый, как разные, зато повеселиться умею! И мощно постихийничать!

— Не слушай этого волдыря, — сказали Оплеухов и Опахалов, — не дружи ты с ним! Все равно что кабана приручить.

— Сам ты кабан-долбан! — закричал Гусыня. — Вы оба — кегли. Счас сыграю с вами в кегли.

Он полез через других, наступая на ноги и на мясо. Бутылка воды опрокинулась и полилась на одеяла, подстилки.

— Что за лихование снова! — заорали со всех сторон. — Не лихуй, Гусыня!

— Да я только одному в поддувало дам и сразу вернусь, — объяснял Гусыня.

Кто-то от смеха подавился и громко каркал. Громадные тени метались на опорах купола. Летучие мыши порхали над костром и один раз пролетели так низко, что Мишата ощутила ветер. Она спросила у тоненькой девочки, которая подпрыгивала и смеялась слева, где у них тут туалет.

— Ты поднимись сейчас на ту сторону, пройди все стульчики, и будет дорога вниз. Потом коридор. Пойдешь налево и увидишь: комната без пола, бездонная. Вот там. Возьми горелку. Череп надень: там сова живет, так и вцепится в волоса!

Мишата тихонько поднялась из ямы и погрузилась во тьму.

Ей не нужен был факел, она и так различала дорогу. А оранжевый партизанский череп надела. Туалет отыскался просто. Он пустовал, хотя действительно слышался легкий запах совы.

Обратно Мишата шла медленно и задержалась при входе в зал. Свет из оркестровой ямы слабо-слабо подогревал необъятную тьму зала. А голоса слышались очень громко, просто грохотали, и эхо превращало каждое слово в птицу. Со дна полетели вверх мыльные пузыри — кто-то пускал их прямо губами. Уже покинув границы света, пузыри были различимы, потому что хранили в своих боках отражение костра. И ощущение внезапности жизни, ее волшебной капризности и лукавства накрыло Мишату, и сердце ее замерло. Визг и гоготание наполняли ночь, и Мишата тоже засмеялась.

завтрак, купание, поцелуй

Ей снились высокие-высокие сосны, они плыли и гнулись в небе и шумели. Мишата проснулась, а шум не утих.

Она лежала, закрыв глаза. Далекий и стройный гул переполнял ей голову.

— Дождь, — произнес кто-то хрипло.

Сбоку, из-под шкур и тряпья, поднимались озябшие лица, белые и больные в полумраке. Все проснулись, но сидели или лежали оцепенев. Только Гусыня, покрытый мурашками, то тряс какую-то банку, то дышал в нее.

— Тут у меня палочники, — пожаловался он Мишате, — чуть не замерзли за ночь.

— Нашел о ком думать, — проворчала съеженная Фара.

— А чего? У всех четвероногие друзья, а я чем хуже? У Сони вон устрицы, а я палочников завел.

— Соломы в банки набрал и греет ее, — сказали из тряпок.

— Да ты слепая кишка, — возразил Гусыня, — я тебе сто раз показывал лапки.

— Это соломинки.

Гусыня только отмахнулся и стал тереть банку об живот.

— Они сдохли давно, — прохрипел Соня, тупо выставившись из тряпья.

— Это устрицы твои сдохнут, — огрызнулся Гусыня. — Представь, он их каждый день раскрывает ножиком, проверяет, растут ли жемчужины. Он разбогатеть, обормот, хочет.

— Грех-табак! — проклинали из-под тряпок. — Ну и холод! И ванну из люка залило!

— Почешись — согреешься, — советовала Фара.

Как ни трудно, ни зябко покидать нагретые норы, а пришлось: не было ни пищи, ни воды, ни дров.

Около одиннадцати утра они вскарабкались на окно. Белый свет заставлял их морщиться.

— Дневной — дрянной, — проклинали все.

В саду шатался бредун. По нему хлопнули раза два из треуха, и он шарахнулся прочь.

— Уже третий бредун в саду, — бормотала Фара. — И как только залазят?

Они высунули лестницу и спустились в блестящие, поникшие под дождем заросли. Мишата зацепила куст, и вода обрушилась на нее. Пришлось даже снять промокший насквозь платочек.

— Все равно он был криво повязан, — успокоила Мишату маленькая Нитка. — Ничего! Не грусти! После завтрака будет повеселее!

— Я и не грустила, — отвечала Мишата, с улыбкой глядя, как дождевая капля висит у Нитки на остром носу, — мне нравится, когда дождь и холод.

— Да ладно, с чего это?

— Глубже чувствуешь свое тепло. Представь, что вокруг огромный лес и ты в нем — единственное теплое существо, сам себе одеяло. И чем холоднее тебе в лесу, тем теплее тебе внутри.

— Я всю жизнь в городе, — отвечала Нитка, — а в лесу и не была никогда.

Дрожа, все проделали свой путь по решетке. Возле лазейки долго приглядывались — нет ли поблизости враждебного пингвина или бредуна? Но пустырь простирался безлюдный, прилегшие травы блестели, и блестела скользкая грязь дороги вдали. Они по очереди вылезли из дыры — будто звери в заброшенном зоопарке, по привычке живущие в старой клетке, не нужные никому.

— Щас популесосим, — обещал Гусыня. — Видишь, жильцов поднаперло! Это потому что выходной.

Мишате объяснили: у земляков, оказывается, был обычай бросать в воду монетки. Зачем?

Пушкин сказал:

— Вроде есть у жильцов примета: если встретился глазами со своим отражением в воде — бросить денежку. А чего ради? Отвлекают отражение или откупаются? Не знает никто… Не любят они сами в себя заглядывать.

Потом эти монетки можно было доставать со дна при помощи палки с наконечником из жвачки.

— Пошло тыкалово! — радовался Гусыня и бегал между водоемами, чтобы выбрать тот, где побольше накидано.

Мишата очень старалась, но получалось у нее хуже всех: жвачки отлипали от палки вместе с монеткой. Иные уже набрали рублей по восемь, а у Мишаты еле скопилось два. Больше всего было у Гусыни: на его палке торчал еще гвоздь, и им Гусыня накалывал те жвачки, что потеряла Мишата.

— Это потому, что ты несвежие лепила, черствые! — радостно объявил он Мишате. — И растоптанные к тому же, с песочком. С дороги подымала? Ну и дура! А я недожевки собираю. — Он отогнул ухо и показал прилепленные там катышки. — Народ перед едой вынимает, но стесняется на пол бросать, а прилепляет снизу на столик. Они внутри всегда липкие, даже вчерашние.

Соня услышал и кисло спросил Гусыню:

— А что же ты, набалдашник, сразу ей не объяснил? Да еще то, что она роняла, себе забирал? Сколько у тебя жвачек отлипло? — обратился он к Мишате.

— Четыре, да это ничего.

— Ну, гони четыре рубля, — равнодушно приказал Соня.

— Ты что, оващел?! — заревел Гусыня. — Там в двух местах было по полтиннику, а в третьем вообще десятик!

— Четыре рубля, — промямлил Соня, глядя по-рыбьи, — за то, что лихуешь.

Гусыня побагровел, крякнул, топнул от ярости, но более возражать не решился. Он сунул руку в свои штанищи и выгреб мокрую мелочь.

— Подавись, кишка! — швырнул он монетки.



Соня вяло перебрал их и два рубля возвратил Мишате.

— Пополам. — И, не дожидаясь ответа, побрел куда-то.

— Ах ты, выползок, — беспомощно сказал Гусыня, глядя ему вслед.

— Возьми, мне не надо, — улыбнулась Мишата и протянула Гусыне деньги.

Но тот лишь махнул рукой.

— Все равно потом в кучу свалим — еду покупать, — сказал он расстроенно. — Оставь у себя пока.

Подошла Фара, взяла Мишату за ладонь, заглянула туда и фыркнула.

— У вас сколько?

У нее был насморк, что ли, губы распухшие. На шее намотан старенький полосатый шарф, одним концом свисавший почти до земли. Вместо юбки оказались брючки, они были коротки, и из-под них торчали зябкие щиколотки. Без носков.

— Одиннадцать, — сказал Гусыня.

— И у меня восемнадцать. Что купим?

— Давай сгущенки! — радостно проревел Гусыня.

— Тушенки, — проворчала Фара.

Они перелезли через забор.

Магазин был в городе, среди домов, но недалеко. С банкой тушенки, хлебом и пустым перпендулием они вернулись назад, в зоопарк.

Расположившись под скульптурной колонной, они принялись открывать банку.

Делалось это так: банку терли об асфальт, чтобы наголо сточились бортики и крышка отпала. Гусыня наблюдал жадными глазами.

— Жижа-то вверху, а мясо внизу. Она вытечет. Чего ты банку вниз головой-то гоняешь? — говорил он Фаре. — Поставь ногами.

— Чего присосался, хобот! — кричала Фара. — Жижа успеет наверх переплыть, а через дно я не буду есть, не то воспитание!

Гусыня, надувшись, отвернулся и стал разглядывать белок. Они ловко скакали, и на каждый прыжок Гусыня одобрительно кивал с видом знатока, и губа у него оттопыривалась.

Фара раздраженно гоняла банку и наконец перевернула и выломала крышку. Потом постелила газетку, поставила банку, оглянулась, нагнулась под ноги соседним людям, взяла там пустую бутылку, хлопнула о бортик дороги и оставшимся горлышком с длинным лепестком стекла нарезала хлеб.

— Садитесь! — пригласила Фара. — Гусыня! Что ж ты грязную тарелку суешь, не видишь, кто-то уже поел в нее? Что же ты даже вилок не добыл, перпендулий не накачал?

Гусыня сходил к ларькам и принес чистую тарелку. Они не торопясь позавтракали.

Потом человек десять собралось в фонтане мыться и стирать одежду.

— Здесь это необходимо, — говорила Фара, намыливаясь, стоя по колено в воде, — а то сразу зарастешь тропическими лишаями и всякими там клещами. Вот метрошные дети вовсе не моются, наоборот, накапливают на теле железную пыль. Она их от магнетизма защищает, а заразы никакой у них там внизу нет. Другое дело мы. Три веселей! — И она тряслась и подвывала от холода, но терла себя и терла.

Гусыня мылился прямо в брюках.

— Так удобнее брюки-то стирать, на себе-то, — говорил он радостно, — а носки, глянь, я на руки надел! Они у меня вместо мочалки и заодно суперстираются.

Мишата тоже вымылась и выстирала одежду. Все пошли обратно в Планетарий, неся на головах мокрые узлы. Только опоясались: кто рубашкой, кто юбкой, чтобы не рассердить жильцов.

— Они ненавидят, если кто-то голый идет, — объяснила Фара.

Сад вокруг Планетария уже подсох, хотя глубокая

трава оставалась мокрой. Опять кто-то шарахнулся в чащобу — бредун или, может, олень?

Они прошли по бумажному коридору и свернули на этот раз в боковую дверцу. Железная лестница вела прямо вверх. Когда пришла очередь Мишаты высунуться в люк, она поразилась.

Весь лес находился внизу. Выше было только небо и самые высокие башни города, который неряшливо скучился в отдалении. Мишата щурилась, ослепленная белым облачным днем. Дул сильный ветер.

— Можно здесь, — крикнула Фара, держась за железный бортик, — а можно и на самую лысину подняться!

Она указала на купол, горой заслонивший небо. Крохотная лесенка тянулась по склону купола к вершине.

Но пока что никто не стремился выше, развешивая по бортику одежду. Красные, желтые, пестрые и клетчатые тряпицы окружили основание купола. Ветер раздувал рукава и штанины, волны катились по кронам деревьев. На миг Мишате почудилось, что весь огромный Планетарий двинулся с места, и у нее захватило дух.

— Сегодня последний день лета, — сказала Фара.

Мишата повернулась к ней. От ветра нос Фары наморщился, лицо затвердело, сжалось и выглядело жестоким, но слова прозвучали печально. Фара отступила на шаг, прислонилась спиной к куполу, распростерла руки и замерла.

— Знаешь тайну этого купола? — спросила она с закрытыми глазами.

Мишата покачала головой.

— Этот купол серебряный, покрашенный краской-серебрянкой. Никто про это не знает. Серебро спрятано. Никому не придет в голову искать под краской настоящее серебро.

Мишата увидела, что несколько человек тоже распростерлись и стоят, как Фара. На светлом металлическом фоне чернота ее волос выделялась особенно резко, но лицо и тело по цвету не отличались от купола, только веки были слегка тронуты голубизной.

— Мы так загораем, — медленно говорила Фара, — но наш загар не виден. Это внутренний загар. Он оттого, что скрытое серебро отражает лучи скрытого солнца. Загар остается в нас.

— Мне знакомо это, — сказала Мишата. — Когда снег после оттепели подмерзает и луна восходит, самый обыкновенный лед превращается в склянец. Если лечь на него, тоже можно накопить загар, который предохраняет душу от холода... Смотри-ка! Змеи тоже выползли загорать!

Действительно, несколько змей пристроилось в самом низу, где купольное серебро загибалось лапкой. И дальше виднелись змеи.

— Только ты их не трогай, — лениво сказала Фара, — они ядовитые, некоторые даже очень. Зато у нас крыс нету ни одной. А метрошные дети вон подыхают от крыс.

— Ничего они не подыхают, — возразил Опахалов, — у них крысы приручены, как собаки, и ростом с собак. У них крысы на головах живут.

— Это правда, — сказала Мишата, — это и я видела.

— Где?

— В метро. Я вчера познакомилась.

— Ничего себе! — Фара от удивления даже глаза открыла. — Недавно в городе и уже познакомилась! Это не всем удается. И что же, разговаривала и с метрошными?

— Конечно.

— Нормально! Вот это я понимаю. Много их было?

— Руков, Языков и трое без имени. А ты-то их знаешь?

— С ними война, — мрачно сказала Фара. — Мы иногда ходим в метро за золотом. А они считают, что все метро им принадлежит. Они опасные и злые. Их человек двадцать. Когда собираются все вместе, то получается как бы один здоровенный человек, мельхиседек. То, что ты слышала, не имена, а звания. Языков — значит, язык, он занимается у них переговорами. И так далее. Раньше, после войны, их много было. Они живы были тем, что грабили товарные поезда. Но скоро ох-

рана усилилась, они на пассажирские перешли. Рельсы заваливали и, когда электричка останавливалась, в окна залезали и потрошили жильцов, а потом назад через окна. Ищи их в подземельях! Сейчас мельхиседеков мало совсем, но жильцы все равно туннелей боятся, в поездах объявляют: «Осторожнее при выходе из последнего вагона». До сих пор! В общем, эти метрошники жутковатый народец.

— А ко мне они по-доброму отнеслись и сюда послали.

— А зачем?

Мишата собралась немного с мыслями.

— В общем, я занимаюсь исследованием одной очень странной елочной игрушки. Это бродячая игрушка: она перемещается и меня манит за собой. Всякими способами, даже до хитрости. Мне важно понять — куда она пробирается? Это все равно что понять про себя — каково мое назначение? Я ведь не просто так в городе оказалась. Я королевой хотела стать...

— Какая еще королева! — перебила Фара, впрочем, завистливо поглядев на Мишату. — Вот я принцесса. Африканская принцесса. А про елочные игрушки не знаю. Мне вообще все зимние дела до лампочки, хотя говорят, есть какие-то игрушки волшебные.

— Кто говорит?

— Ну, не помню.

— У кого же мне спросить?

— У Пушкина можешь попробовать, он самый у нас ученый. Если он тебе не скажет, не скажет никто. А чего там тебя еще занимает? Твое предназначение? Чепуха! Живи так, чтобы хорошо было, да и все!

— Как же мне хорошо жить, если остальным плохо?

— Кому это плохо? Здесь всем хорошо. Это в городе плохо, да о нем и думать нечего: город — дело конченое.

— Вот видишь! Целый город пропадает. Значит, надо помочь как-нибудь! Я хотела стать королевой и партизан прогнать...

— Дались тебе эти партизаны! Разве в них дело! — неохотно пробормотала Фара.

— А в ком же? Это ведь они метро построили! У меня доказательство есть.

— Построили, может, и они, но придумал-то кто-то другой! — брякнула Фара и спохватилась: — Слушай, кончай об этом!

— А ты думаешь кто?

— Не знаю! — раздраженно крикнула Фара. Понизив голос, она добавила: — Говорят, это все Часы. Метро управляется Часами. Они заставляют жильцов, или, по-твоему, земляков, ездить, бегать, суетиться... Вот жилец побегает, побегает — и готов. А его жизнь Часы засосали...

— И ты думаешь, это правда часы какие-то?

— Откуда я знаю?! Ты можешь о чем-нибудь другом подумать?

— А где эти часы?

— Отстанешь ты или нет?! Спроси у Пушкина, он этим специально занимался!

Мишата посмотрела вверх, где виднелся бортик верхушки купола, похожий на корону.

— Наверху кто-то сидит. Не он?

— Может, и он, — сказала Фара и снова прикрыла глаза. — Слазай, посмотри, если хочешь.

Это были просто гнутые железки, припаянные к кровельному серебру. Поднявшись до середины купола, Мишата почувствовала силу ветра. Несколько раз он попытался повалить ее, как игрушку. Но она держалась крепко пальцами рук и ног, и ветер ее отпустил.

Она добралась до вершины. Здесь был не Пушкин, а девочка Нитка. Она тихонько сидела, обняв колени, спиной к жутковатому колодцу купола, и нежно напевала. Мишата прислушалась.

Ну разве я не умница?
Ну разве не красавица?
Ну разве я не выспалась?.. —

пела и покачивалась, улыбаясь пустому, Нитка.

— Ничего, что я сюда? — спросила Мишата.

Нитка пожала плечами.

— Просторно, — сказала она и посветила Мишате лиловатой улыбкой. — Все равно.

Мишата оглядела мир, лежащий в пасмурном равновесии. Не защищенная ничем, кроме кожи, она чувствовала покалывание мелких песчинок и насекомых, которые вместе с ветром путешествовали к океану.

— Такого не было у тебя в лесу, верно? — спросила Нитка.

— Не было, — отозвалась Мишата, — тут все по-другому.

— Ну и как тебе?

— Каждый раз по-разному. И все по-разному разные...

— У нас все собрались разные, — кивнула Нитка, — вроде бы вместе живем — а все разные. И спим, и молчим, и плачем по-разному. У всех разные, интересные звуки.

— Как это интересные звуки?

— Ну вот, к примеру, Пудра. Ты к ней подойди и скажи: «Чай пила, баранки ела, позабыла, с кем сидела». Она и заплачет. Ты послушаешь, какие будут при этом звуки.

— А зачем это говорить?

— Чтобы она заплакала!

— А почему, я не понимаю, она заплачет?

— Потому что ты скажешь: «Чай пила, баранки ела, позабыла, с кем сидела».

— И что? Она начнет плакать? Почему?

Нитка пожала плечами.

— Не знаю. Наверное, что-то грустное есть для нее в «Чай пила, баранки ела, позабыла, с кем сидела».

Мишата мысленно повторила эти слова и вдруг ощутила их невыносимую грусть.

— И правда! — воскликнула она. — Делается грустнее.

— Ну вот попробуй, скажи ей это. Услышишь, как она пачит.

— Пачит?

— Ну да, пачит и припакивает.

— Припакивает?

— И попакивает. Так: пя, пя, пя, а потом — паки, и паки, и паки. Мы ее и дразним так: плакала и пакала. Мне кажется, это она пытается что-то сказать, но от слез не может довыговорить. А потом слезы проходят — ну, значит, и незачем выговаривать. Интересно? А бывают еще и няни.

— Это у кого?

— У Оплеухова. Он не плачет, а как-то нянчит. А у Самоделкина противные гыни.

— А Темнаташа — это кто?

— Ее нету, это выдумки все...

— А Гусыня как плачет?

— А Гусыня не плачет. Он только смеется.

— Как?

— Как... Крякает.

Мишата задумчиво помолчала.

— Ну а ты? — спросила она.

— Что я?

— А у тебя какой плач?

— У меня бессловесный. Это потому, что губы плохо действуют у меня, они всегда онемевшие.

— А чего?

— Это тайна моя. Но хочешь, тебе расскажу? Я, когда была маленькая, поцеловала каменного ангела, а он был от надгробия. Вот губы навсегда и заледенели.

— И сейчас?

— До сих пор. Мне теперь никого нельзя целовать — заморожу.

— Ты преувеличиваешь, — сказала Мишата, — телесный холод так легко не присваивается.

— Однако, если я тебя поцелую, у тебя губы заиндевеют.

— У меня в любом случае нет, на меня не действуют земные виды мороза.

— Тебе губы отшибет в одну секунду.

— Да нет же. Давай попробуй.

Мишата присела перед Ниткой и приблизила к ней лицо.

Нитка глядела неуверенно. Голубенькие слабые ее губы шевельнулись:

— Только недолго.

Мишата поцеловала ее и ничего необычного не почувствовала.

— Видишь, все по-нормальному.

— Ты просто не успела, — прошептала Нитка, — холод только сейчас выступает.

Тогда Мишата снова нагнулась, задержала дыхание и прижалась к ее губам. Ничего не чувствовалось, кроме шершавой кожи. Мишата ждала долго, пока хватало дыхания и терпения сидеть согнувшись в неловкой позе. Наконец оторвалась и сказала с улыбкой:

— Послушай, все у тебя в порядке.

Нитка сидела бледная и не поднимала глаз. Потом тихо сказала:

— Я твоего тепла тоже не почувствовала. Это не у меня все в порядке, это у тебя что-то не в порядке. Еще хуже, чем у меня...



глава пятая

впервые отчетливо слышится тиканье

Настал вечер. На огне выкипал компот. Он плескал, дрова шипели... Яблочный и грушевый пар подымался под купол.

Отверстие люка, над которым недавно сидели Мишата с Ниткой, померкло. Мишата лежала, пристроив ноги к горячему боку ванны, лицо обратив в высоту. Она решила дождаться момента, когда отверстие совсем почернеет и в нем выступят звезды. Они должны были появиться: вечерний ветер изорвал облака.

На ногах находился один Гусыня, огромной палкой мешавший варево.

Это он придумал компот. Они с Самоделкиным лично обколотили две груши и две яблони на аллее и, торжествуя, явились с набитыми пакетами. А вместо сахара принесли сахарной ваты, которой удалось наловить на ветру.

Гусыня собирал с поверхности компота мелкий мусор, пробуя, довольно мычал и дул на обожженные пальцы.

— Восемь машин разбомбили, — делился он со всеми, но никто на него даже не смотрел. Он заговаривал об этом в восьмой раз. — Я залезаю на грушу, — рассказывал с радостью Гусыня, — такую, чтобы пара машин внизу стояла. И главное — мощно тряхануть... чтобы удар был кучный, чтобы груша всеми фруктами враз... По капотам им, буферам, по башкам... Как сирены завопят! Как жильцы побегут!

— Да заткнись ты, зануда! — закричали несколько голосов. — Невозможно по сотому разу!

Гусыня обескураженно молчал, ворошил рыжие космы. Но обиды его хватало на недолго. Через несколько минут он опять начинал рассказ.

— Это у четвертого дома, что ли? — печально спросил наконец Соня.

— Ну да, — обрадовался Гусыня, — его самого.

— Что же ты, дышло, жильцов-то свирепишь? — брезгливо спросил Соня. — Это же самый близкий к нам дом. Не мог отойти хотя бы на квартальчик подальше?

— А где там груши? Где?

— Тебе, что ли, груши дороже крова? — со злостью спросил Соня. — И ведь знаешь, что жильцы и так волчатся на нас. Ведь сам по ним слюнявые пузыри пускал! А потом в результате что было — помнишь? Хочешь повторить? Чтобы тебя на этот раз поймали и отправили в вечные грузчики, эскалаторы вертеть или на фабрику календарей?

— Это Пушкин придумал пузыри! — закричал Гусыня и бросил палку в компот, а руки отер об голову. — Он пушку смастерил световую эту дурацкую!

— А кто придумал плевать на нее, чтобы слюни кипели? Не ты? — поинтересовался Соня.

— Пушкин тоже! — Гусыня швырнул грушей в направлении Пушкина.

— Не ври. Пушкин воспитанный. Он ни разу в жизни не плюнул.

Мишата повернула голову к Пушкину.

Тот тихонечко сидел и, ни на кого не обращая внимания, читал. Книга еле заметно покачивалась у него на руках, по строчкам бегал стеклянный шарик. Этим способом с шариком владел только Пушкин. Буквы выскакивали внутри шарика увеличенные и к тому же подсвеченные, ведь шарик собирал в себе свет. Так читать можно было даже в очень темных местах.

Мишата подобралась и заглянула в книгу, которую читал Пушкин. Книга была по небологии: след груши пересекал изображение созвездий.

— Это здесь ты книгу нашел? — спросила Мишата. Пушкин посмотрел на нее и кивнул с недовольным видом. — А мне говорили, здесь не валяется ничего интересного.

— Я целую библиотеку по астрономии собрал, — проворчал Пушкин. Он встретил Мишатин взгляд и уже без неприязни добавил: — Это же Планетарий, астрономический театр! Тут небесные представления воздвигались. Проектор вверху творил небеса. Все начиналось с заката, потом, когда темнело, разыгрывался спектакль из жизни звезд и планет. А кончалось все восходом солнца: оркестр играл радостный гимн, звезды гасли, птицы взлетали, с крыш съезжал снег! — И очки у Пушкина сверкнули. — Представь, каждый день тут происходило заклинание Солнца, показывалось, как оно восходит и уничтожает тьму! Неудивительно, что Планетарий закрыли. Мы хотели потом сами что-то похожее сделать, разжигали костры даже там, за экраном, но только пол прожгли да сами страху натерпелись. Ну и бросили. И очень хорошо, что у нас не вышло. В центре города Солнце заклинать! Сейчас-то! Это не шутка... Кто знает, что тогда с нами было бы? Нас сразу бы тогда тоже... закрыли.

— Я не понимаю, — сказала Мишата. — Кто бы вас закрыл?

Ей не ответили. Пушкин пожал плечами и отвернулся. Мишата посмотрела на остальных и не нашла ничьего взгляда. Пушкин, не глядя на нее, опять раскрыл книгу. Но не читал, шарик стоял на месте, прижатый указательным пальцем. Молчание нарушилось голосом Фары.

— А кто, — спросила Фара, и все сразу замерли, прислушиваясь, — кто сделал так, что я не могу надеть нормальную футболку, потому что на каждой — печать какого-нибудь болванизма, часовщицкая замануха или просто косая рожа, от которой идет дурильное электричество? Даже конфетку съесть не могу: на всех обертках заклятия тупости — разные дебилозверюшки да психолюдишки. Не буду же я такие конфеты есть! А кто сделал так, что нормальной куклы невозможно найти, зато везде продают манекенчиков, которые, всем известно, что кровь сосут? Кто сделал, что я в город не могу выйти, что, если я даже просто иду по улице и огрызки не подбираю,

я все равно матрешка в ихней гадовой игре! Мы не знаем. Но кое-кто знает, я уверена.

И Фара свирепо шмыгнула носом.

— И кто же это? — спросила Мишата, подождав. Она развернулась так, чтобы всех было видно. Слева сидел Пушкин, справа — Фара, и с другой стороны вышли остальные. Мишата потрогала глазами каждого.

Пушкин спокойно сказал:

— Они в темноте. Дела их рук на виду, но сами они — тайна. Их цель — воровать жизнь. Время бесценно. А они выменивают его за ложные вещи, еду, развлечения, книги, мысли... Человек и сам не замечает, что у него похитили все настоящее и подменили ложным. И продолжает продавать им жизнь. От этого сила их возрастает. Раньше люди старились лет в пятьдесят, теперь — в двадцать. И уже все больше детей, которые в десять лет старички.

Мишата перевела глаза с Пушкина на тех, кто сидел или стоял возле ванны. Кто-то потупил взгляд, кто-то почесался.

— Я об этом вообще не думала, — произнесла Мишата. — Конечно, я чувствовала в городе что-то зловещее. Но это как-то, знаете... отдельно от меня.

— Ну не говори, — строго сказал Пушкин, — магнетизм на всех действует. Он и на нас действует непрерывно. Правда, здесь он ослаблен: это ничьи земли. По сравнению с другими людьми, которые целый день в метро проводят, мы вообще нетронутые. Мы стараемся не пользоваться метро ни при каких обстоятельствах.

— Только пулесосить в нем, — сказал Гусыня.

— Ну да, если только пулесосить, — согласился Пушкин. — И запомни, — добавил для Мишаты Пушкин, — если тебе все-таки пришлось ехать в метро по кольцу, ни за что не садись по часовой стрелке! Никогда! Даже если тебе проехать одну станцию только — все равно едь против часовой, лучше объедь лишний круг.

— Мне метрошники говорили. Да я только один раз в метро и ездила, — созналась Мишата. — И мне вообще не понравилось.

— Это правильно! — одобрил Гусыня. — Тупое развлечение, и голова потом болит.

— Не знаю, может, Часы и вранье, — заявила Фара, — но, уж правда, хуже метро ничего нету. Вот почему: солнца там нет. И ладно бы просто нет — оно и не нужно там, и без него хорошо! Там золото, мраморы, картины вокруг, и все это — приучать людей, что не надо солнца, что и без него можно красиво жить! Потому люди и на земле не обращают внимания на то, что солнце пропало.

— Как пропало?— спросила Мишата.

— Как? — со злостью спросила Фара. — Вот ты сколько здесь? Две недели? Ну и как, вспомнила хоть один солнечный день?

И правда, Мишата не могла вспомнить.

— Что же делать? — спросила Мишата.

Снова настало молчание.

— Что делать? — задумчиво ответил наконец Пушкин. — Некоторые считают, что можно найти и остановить Часы. Часы, конечно, они везде: это и метро, и наземный транспорт, и дома, свет, магазины, книжки там... игрушки... слова, язык... Но сам механизм — под землей, в нижнем городе. Полное его местонахождение — тайна.

— Замолчи, Пушкин, — нервно сказала Фара. — У тишины острые уши, ты не забывай.

Все замерло, лишь потрескивали и со звоном раскалывались угли. Тьма сомкнулась над оркестровой ямой. Огромное здание Планетария молчало. Только где-то вдали, в глубине комнат и переходов, накапывала вода. Все сидели и прислушивались к ее капели и не могли пошевелиться. Вдруг послышался дальний шорох: обои ли отпали от сырости, свалился ли кусок штукатурки, а может, змея проползла? Никто не шелохнулся, но несколько пар глаз невольно покосились во тьму, да так резко, что Мишата вздрогнула: на миг на лицах остались одни белки и дико, слепо сверкнули. Тут Соня осторожно постучал ложечкой по чашке.

— Ку-ку, — сказал он лениво, — просыпайтесь! Компот будем пить или нет?

И сам встал, собрал стаканчики и чашки и раздал компот. Ничего, было вкусно, только, конечно, не хватало сахара.

— Давайте спать ложиться уже, — тихо предложил кто-то.

В огонь подбросили несколько больших паркетин. Лежали молча, открыв глаза в темноту.

— Вот у меня был случай, — начал рассказывать Соня вполголоса. — Подцепил я в метро однажды плеер. Причем ничей, реально, под лавочкой валялся. Было это, заметьте, уже ночью, в первом часу. Плеер новый, лазерный, работает как сахарный, наушники на веревочке висят. Потом заметили: наушники можно вытягивать на какую хочешь длину. Мы с Бузыкиной вытянули на три клетки, и еще можно было бы. Я и подумал: где же там умещается весь этот провод?

Соня замолчал. Все ждали.

— Ну? — спросили наконец. — Ну так чего дальше?

— Где там, значит, умещается этот провод... Ну, я отломал крышку. А там ничего нет. Только катушка с проводом.

— Как это?

— Да так. Пусто внутри. Никаких там электронных потрохов, винтиков, колесиков — просто пустая коробка. Провод только. А работать он после этого перестал, хотя мы три дня его вначале слушали. Еще удивлялись: какие мощные батарейки.

— Да-а... — протянул кто-то. — Страхота!

— Жуть берет, — подтвердили остальные.

— А у меня похоже было, — влез Гусыня, — были мы с дружком раз в метро... На «Пушкинской», что ли, наскочили вдруг кочерыжники и давай у нас анализы брать. В общем, дружку моему дали в мясо и руку еще сломали. Отнесли его в медпункт. Там же, в подземелье. Наложили гипсовую гулю. Ладно. Месяц он походил. Говорит: невмоготу, снимем! Стали разматывать. Мотали, мотали...

А руки-то и нету! Одна катушка бинтовая. Вся размоталась и — брык! Пустота. Парень захрапел да так и упал как бревно.

— Чего-то непонятно... — сказал кто-то. — Все, что ли?

— А тебе мало?

— Достаточно... — протянули в темноте.

Еще помолчали.

Потом выступил кто-то третий, четвертый. У каждого был рассказ про какую-нибудь жуть в метро.

Мишата услышала про рабов, которые день и ночь шагают по ступеням внутри эскалаторов: глазами к отверстию выхода, на плечах огромные камни, они идут вверх, не думая ни о чем, кроме дневного света, и таким образом вращают эскалатор...

И про таинственных языков, которые с ледяными молоточками в руках бродят по туннелю и постукивают в стены...

И про поезд с безголовыми машинистами, проходящий ровно в час ночи...

И про скорбные хороводы украденных детей, гуляющих по ночным станциям под присмотром часовщиков...

И много еще чего. Наконец разговоры стихли. И огонь почти прогорел. Чей-то храп пополз в темноту. Гусыня приподнял голову над одеялом.

— Эй, — позвал он шепотом, — я в туалет. Никому не надо? А? А то одному как-то жутковато.

глава шестая

проливается немного крови

Наступили первые дни молодой осени.

Листва уже смягчила каменные грани и складки улиц, но внизу ее по-прежнему было меньше, чем вверху, и зелень деревьев стояла крепкая.

А воздух очистился, и Мишата, охраняя лазейку в Планетарий, еще издали различала по лицам, с удачей возвращается компания или нет. И чаще лица были веселые.

Дни проходили теплые, земляки отмечали праздник города. По этому случаю они устраивали развлечения, вечерами ходили огромными стадами, а в метро, залезая в вагоны, сильно тискали, давили и топтали друг друга. Значит, пора было спуститься в метро и немного популесосить на рельсах, куда соскакивали с земляков оборванные в давке драгоценности.

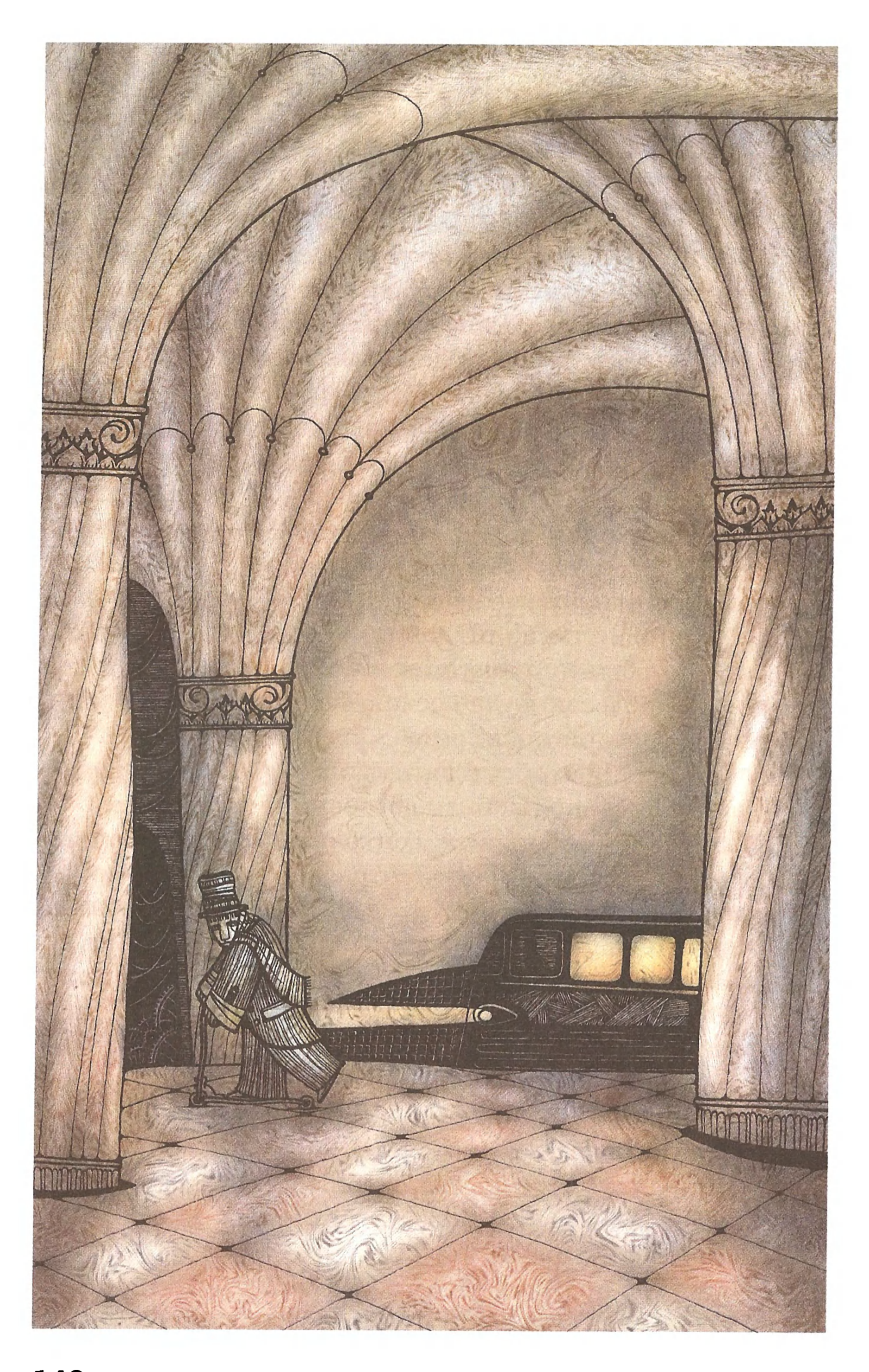
План операции обсуждали два вечера, долго шумели, препирались, но наконец договорились обо всем.

Решено было обшарить центральные пересадочные узлы, вокруг «Арбатской» и «Театральной». Чтобы не навлечь подозрения бобовиков и ломовиков, придумали изобразить школьную экскурсию, задержавшуюся на гулянках. В залежах разной дряни накопали модных значков, нашли надувных Микки-Маусов, свиные прописи, зеркальные очки, банки из-под пупырчатых вод и прочее. Все нарядились как умели. Инструменты поиска — две длинные палки — превратили в номера: прибили сверху картонки и написали «5» и «8».

— Чего пять? Чего восемь? — интересовались те, кто поглупее.

Но Соня ответил:

— Нормально! Пять! Восемь! Номера! Чего еще непонятно?



И правда, встречные пограничники-бобовики равнодушно взглядывали на номера и не выказывали никаких подозрений.

На эскалаторе и в зале по приказу Сони все шумели, отпивали из банок (где была простая вода) и кричали по-английски: «Мугалда! Бебелда!» Без приключений доехали до «Пушкинской». Была половина первого, и залы стояли пустынные. Поезда ходили совсем уже редко.

Поиски поручили толстенькой Бомбелине, потому что она считалась самой внимательной. И была коротенькая, что важно.

В руках у Бомбелины двигалась палка с зеркальцем на конце. Бок о бок с Бомбелиной перемещался Соня, который держал свечку на длинной проволоке. Его задачей было светить под кабелем, в то время как Бомбелина с помощью зеркала высматривала там добро. Остальные обступили искателей плотной кучей, чтобы со стороны не было понятно, что происходит. Еще двоих поставили сычить по углам зала.

Очень мешал Гусыня, который сперва терпел, но потом решительно отделился для самостоятельных поисков. У него была палка с пучочком прутиков на конце. Этой метелкой Гусыня махал под кабелем, наблюдая, что вылетает. Казалось, ему все равно, что найдется. Он шумно радовался всему, что выскакивало из-под метелки, будь то пуговица от шляпы или дамский коловорот. Самоделкин двигался вместе с Гусыней. Они гоготали и ухали на весь зал, несмотря на то, что Соня уже дважды задумчиво посмотрел в их сторону.

Мишата перемещалась вместе со всеми. Фара вполголоса рассказывала:

— Раньше был удобнее способ — брали на малявку. У нас жила целая гроздь всяких братьев-сестер, мельчайшие, по году или даже полгода величиной. Они, представь, даже ходить не могли, а цепкие! Хватали все, что видят! Берешь такого за ногу и опускаешь над рельсой, а он уже сам вцепляется во все, что там валяется. Жалко,

их тогда бобовики забрали: мы-то разбежались, а малявки пытались, конечно, расползтись, но разве уползешь от бобовика?

— Что-то ничего не находится. А ведь уже две станции осмотрели.

— Ничего, потерпи. Гляди вниз — видишь, сколько пуговиц? Это всегда хорошая примета. Жильцы мощно сегодня терлись! Ну, значит, и для нас что-нибудь перепало.

Мишате, однако, скоро наскучило участвовать в поисках. Она незаметно отстала и принялась прогуливаться в одиночестве.

Она поражалась величию созданного часовщиками. Душе было здесь просторно и вольно глазам. Светлое безлюдье было залу настолько к лицу, что, когда между колоннами возникло движение, Мишата даже вздрогнула, прежде чем успела туда взглянуть.

А это был маленький незнакомый мальчик на самокате. С виду ему казалось года четыре, не больше. Одет он был в старый костюм и галстук, очень просторные: рукава скрывали его пальцы, штанины — обувь, галстук свисал чуть не до колен. Тихо толкаясь одной ногой и не отрывая глаз от Мишаты, мальчик пересек зал и исчез между колонн как раз там, где были все остальные.

Мишата некоторое время стояла остолбенев.

Потом, опомнясь, она оглянулась на сторожей. Их не было. На миг ей показалось, что она вообще тут одна. Мишата побежала под арку. К ее облегчению, все оказались на месте, и сторожа-сычи тоже толпились с остальными — видно, не выдержали от любопытства...

Все наблюдали за извлечением очечника, обнаруженного Гусыней. Очки внутри оказались разбитые и в пластмассовой, а не золотой, как все надеялись, оправе, но Гусыня, радостно ухмыляясь, все равно их нацепил.

— А куда тот мальчик подевался? — спросила Мишата у Фары.

— Какой еще?

— Ну, который на самокате был.

— Сейчас, ты имеешь в виду? Здесь, в метро?

— Ну да. Только что. Я его высмотрела.

— Да ты что! — воскликнула Фара. — Ты видела? А сычи чего же?

— Они пулесосить уже ушли.

— Ч-черт!

Фара прикусила губу.

— Пора, значит, сворачиваться, — пробормотала Фара, — пока этот твой высмотрок подмогу не привел.

И они поспешили к остальным. Довольная башка Гусыни снова плавала над платформой.

— Запонка, — говорили в группе, — золотая!

— И часы еще! — ревел Гусыня радостно. — Хоть и разбитые, а все равно я буду носить!

— Гусыня, — произнесла Фара, наклоняясь, — пора собираться! Слышишь? Есть тревожные признаки.

Но Гусыня не слушал. Храпя от жадности, бежал он вдоль рельсы на четвереньках. Все толпой следовали за ним. Нежданно-негаданно Гусыня нашел десятирублевую бумажку. Он только заурчал, показал остальным и, спрятав в штаны, пополз дальше.

— Гусыня, — уговаривала сверху Фара, и уже голос ее нервно вздрагивал, — ты слышишь или оглох? Тревога! Надо стречка давать, всем, да поживее!

Но не только Гусыня не слышал, а и остальные тоже.

— И везет же этому стомаку, Гусыне, — дрожащими голосами переговаривались дети, — вдесятером ничего не нашли, а он все один захапал!

Из туннеля потянуло ветром.

— Поезд! Гусыня, поезд идет! — завопила Фара.

— Счас, счас, — отмахивался Гусыня.

Фара вырвала у Бомбелины палку с зеркальцем и шарахнула Гусыню по спине. Тот выпрямился и, моргая, уставился поверх платформы. Мишата успела еще удивиться, какой странный звук сопровождает нарастание поезда — диковинный заунывный вой. Гусыня стоял не двигаясь, с поглупевшим лицом и смотрел не на Фару

и даже не в туннель, а куда-то в сторону. И Фара смотрела туда. Мишата повернулась, и в тот же миг вой перерос в визг.

Из ближайшей арки высыпалась толпа фантастически замызганных оборванцев. Не медля ни секунды, вся стая бросилась на Мишату.

Ее одновременно ударили в лоб, в плечо и в колено, и она, как сломанная кукла, отлетела в сторону и вдобавок ударилась, падая, головой о скамейку.

Тут же, одна за другой, через нее стали перепрыгивать серые фигуры. Яростный вопль вонзился в уши. Мелькнула безумно мечущаяся Фара и тут же скрылась за бешеным кишением драки. Неистовый рев Гусыни вскипел из-под ног и, разорвав общий шум, раскатился эхом по залу:

— Руку! Дайте р-р-руку!!!

Слева надрывно засвистел поезд. Гусыне удалось уцепить ногу пробегающего чужака. Тот грохнулся и заорал, увлекаемый Гусыней в пропасть... Кто-то из товарищей упавшего успел поймать его и потянул на себя. Гусыня воспользовался этим и уже вылезал, ухватываясь за дико брыкающиеся штанины.

Небо цвета день рожденья,
победиловка грядет! —

орал Гусыня и в тоненьких очках на огромной, как пень, физиономии казался особенно жутким.

Кто-то ударил его ногой прямо по очкам, и Гусыня рассердился. Он увидел свою палку, которую топтали ноги дерущихся, и нагнулся за ней, но от чьего-то пинка палка, вертясь, улетела в конец зала и ударилась о зеркало, где отражался подъезжающий поезд. Гусыня бросился туда, но по пути был так пнут, что покатился кувырком. Он вскочил на ноги, но был сшиблен тычком в загривок... Тогда, не утруждаясь новыми попытками, Гусыня побежал на четвереньках и наконец добрался до цели. Враги сразу метнулись в стороны. Грозная фи-

гура Гусыни поднялась во весь рост. От гнева он казался еще огромнее. На лице висели полураздавленные очки. Ухватив поудобнее палку, Гусыня поворотился и заревел:

— Эх, понесло-о-о-ось!

Палка взлетела и, описав полукруг, со страшной силой врезалась в зеркало позади. Зал содрогнулся от оглушительного удара. Зеркало лопнуло и обвалилось, осколки с треском посыпались на платформу. Дерущиеся оцепенели.

— Класс, — вымолвил кто-то в наступившей тишине.

Мишата с трудом приподнялась, села на лавочку и огляделась.

Положение изменилось на глазах. Драка прекратилась. И все теперь пятились, озираясь на бегущих с разных сторон земляков.

Двое партизан спешили по краю платформы. Свистя, по лестнице в центре зала скатывались бобовики. Машинист, высунувшись из кабины, остолбенело глядел на ослепшее зеркало.

— Атас! — звонко выкрикнул Соня.

Он сидел на полу, улыбаясь, между губ у него налилась ярко-праздничная полоска крови, и лицо от этого казалось белее мрамора.

Началась паника. Все бросились кто куда. Мишата, прихрамывая, побежала тоже.

...Партизан выскочил внезапно. Мишата извернулась, но острый угол его фонаря ударил Мишате в бок и в колено... Она три шага проскакала на одной ноге, свалилась... И почти успела встать, но поздно: ее схватили за волосы. Попалась! Тогда она повернулась, увидела перед собой замасленный жилет, вцепилась в воротник и прыгнула на партизана, едва не вырвав захваченные волосы, пытаясь тяпнуть зубами его сморщенное горло. Она не дотянулась чуть-чуть — партизан, вскрикнув, успел отклониться, а рукой дернуть Мишату за волосы прочь от себя... Тогда она перехватила руку партизана и впилась зубами в запястье. Рот наполнился горячей кровью. Партизан вскрикнул и отпустил руку. Миша-

та метнулась вбок и врезалась в убегающего Гусыню. Тот сгреб ее и толкнул в сторону поезда с открытыми дверьми.

Они побежали, задыхаясь, изо всех сил, но двери у поезда уже захлопнулись. Тогда Гусыня прыгнул и уцепился за деревянные ручки в хвосте последнего вагона. И Мишата прыгнула и повисла, поймав ногой опору. Поезд разгонялся, сзади кто-то бежал. Мишата оглянулась. Незнакомый грязный мельхиседек прыгнул, расплющил ее, потом кое-как распределился в остатке места между ней и Гусыней и чуть отодвинулся. Мишата вдохнула поглубже и крепче сдавила пальцы. Поезд набрал ход. На миг сбоку возник Гусыня — выгнулся из-за мельхиседека, проверяя, не сорвалась ли она. Поезд ворвался в туннель.

Все заполнилось грохотом и посвистыванием, вагон начало встряхивать и мотать все сильнее. Мишату дергало и тянуло вниз, нога все время срывалась. Вдруг стенка вагона тяжело навалилась, надавила на Мишату, поезд засопел, потерял скорость и встал.

Сделалось тихо, только ровно шумел подземный ветер. По бокам лежали квадраты оконного света с одинокой тенью головы, а рядом с ней сбитая птица. Мишата повернулась и встретилась с темными, возбужденными глазами мельхиседека.

— Сообщили о нас, я так понял, — тоскливо прохрипел Гусыня, — и чешут сюда через вагоны.

— Ну, мне пора, — сказал вдруг мельхиседек и прыгнул на рельсы.

— Ку-да-а-а? — заревел Гусыня и ухватил недруга за воротник.

Но не удержал. Мельхиседек рванулся, запнулся о рельсы, не упал, выровнял бег и скрылся во тьме. Секундой позже загорелся фонарик, его свет попрыгал по зеркальному рельсу и свернул в боковой ход. В руках Гусыни остался обрывок воротника и какой-то амулет на веревочке.

Гусыня обрывок бросил, а амулет протянул Мишате:

— Держи! Тебе будет. От живого выползка оторвал!

Тяжелая веревочка повисла в руке Мишаты, она поднесла ее к глазам. Амулет был сделан в виде креста с толстым основанием, словно трубка. Вырез в трубке был треугольный. Его форма показалась Мишате чем-то знакомой. Медленно, как во сне, она поглядела на запертую дверь вагона... Амулет надежно сел на стержень замка. Мишата отчаянно надавила, повернула стержень, потом — серебристую ручку... Дверь открылась.

Торопливо, толкая и тесня друг друга, они пролезли в темную кабину.

Перед ними оказалась другая дверь. Они открыли ее мельхиседековским ключом и сощурились от яркого вагонного света.

Гусыня ногой захлопнул одну и вторую дверь.

Они перебежали вагон. Тем же способом перебрались в следующий. И больше не успели: сквозь стеклянные преграды разглядели толпу бегущих машинистов. Гусыня пихнул Мишату на лавку.

— Спи! — приказал он ей и тут же сам запрокинулся, раскрыл рот, зажмурился и застыл.

Мишата поникла на него головой и аккуратно прищурилась. И еще двое спящих сидели в разных местах вагона. Хлопнули двери, и топот прокатился мимо.

— Вот бы, — прошептала Мишата, — завести поезд, пока машинистов нет, доехать до Часов и ударить в них!

— Тише ты... — испуганно сказал Гусыня. — Не знаешь, Часы из брони сделаны. Это как минимум бронепоезд нужно. А вообще, — добавил он погодя, — прилично придумано!

И оба они замолчали, отдыхая.

Еще погодя поезд дернулся и поехал. Мишата с Гусыней миновали две станции и тихо вышли. На пересадку они уже не успели. Капитанша эскалатора, подозрительно посмотрев, пропустила их наверх и тут же закрыла эскалатор на цепочку. Они ехали долго-долго, рассматривая амулет, вспотевший в кулаке у Мишаты.

— Из олова отливают, — сказал Гусыня, повертев

ключ. — Главное, я ведь видел, что у каждого метрошного на шее висюлька, просто забыл. Ну и не знал, конечно, для чего она. А ты молодец! Ты носи, носи его, он тебе счастья еще принесет.

— Не могу же я носить его на шее, я же не они.

— Носи в кармане, — подумав, посоветовал Гусыня.

Они вышли из метро, и никто не остановил их. Не торопясь пересекли половину Старого города и к середине ночи были у Планетария. Они вернулись последними: остальные пришли давно. Спаслись все до единого.



оказалось, это был ход крестом

Гусыня сидел босиком, и штаны его были закатаны. Капли дождя сбегали по лицу. В руках у него был зонт. Он грибочничал. Едва завидя издали какую-нибудь жиличку, которая по оплошности бежала без зонта, защищая рукой или сумочкой голову, Гусыня наскакивал на нее с предложением проводить под своим зонтом. Это называлось «грибком работать».

— Тетенька! — вскрикивал Гусыня и вытягивал, как мог, зонт над головой жилички (которая чаще всего не откликалась, а только бледнела и ускоряла ход). — Давайте прикроемся! Зонтик директора зоопарка! Руки свободнее, прическа целая! До метро, до самых дверей! Мы мокнем, вы обсыхаете! — И бежал следом, вытягиваясь на цыпочках и брызгая водой и грязью.

Одна шарахнулась от него на проезжую часть, но машины не давали ей пересечь дорогу. Гусыня преследовал ее по тротуару и все уговаривал, пока она не провалилась одной ногой в решетку слива и не сломала каблук. Другая сразу же дала Гусыне десять рублей, даже не воспользовавшись его услугами.

Еще несколько жиличек убежало, а потом Гусыне повезло: жиличка не только милостиво приняла зонт, но и ходила еще с Гусыней от ларька к ларьку и долго выбирала что-то, пока он мок. Все уже решили, что он неплохо заработает, но Гусыня вернулся в ярости и показал три белые жвачки.

— Ну надо же! — ревел возмущенный Гусыня. — Она купила и себе сначала в рот сунула, потом меня спрашивает: будешь? Я говорю, да, и она мне в руки вот эти выдавила и бегом в метро! «До встречи» еще говорит! Кочерыжница лысая!

Мимо шли под зонтами дети, спеша в школу.

Дети были нарядные, как конфеты. Под каждым плыл цветной половичок отражения. Портфели выглядели так, как будто внутри лежали пирожные.

— Чубурашки, — мрачно произнес Гусыня.

— Сам ты чубурашка, — ответила Гусыне Фара.

— Я нет, а они да. Их всех вчера только в магазине купили.

— А тебя и даром с помойки не возьмут, — бросила ему Фара. — Эй, карамелька! — крикнула Фара на проходящего мальчика. — Нет носового платка?

Но тот лишь ускорил шаги, посмотрев испуганно.

Мишате надоело просто смотреть. Сунув руки в карманы, она стала прогуливаться и остановилась напротив Пушкина.

— Пушкин, не горюй! — ласково сказала она и коснулась его руки. — Мы добудем тебе очки! Украдем или купим.

— Мне не надо, — пробормотал Пушкин, все ниже глядя в асфальт.

— Как же не надо? Знаешь, какие мимо дети идут интересные!

— Заводные, — буркнул Пушкин.

— Зато цветные!

— Цвета и без очков видно. Только границы нечеткие. Но в такую сырость это как раз.

— Скажи, — попросила Мишата, — а во сне, когда ты спишь... ведь ты без очков... И как ты видишь сны — размыто? Или четко, как полагается?

— Чего пристала? — устало взглянул на нее Пушкин. Морщины побежали по его лицу во все стороны. — Нормально я вижу. И во сне, и наяву. И не нужны мне очки. В них обычные стекла были вставлены.

— Обычные?— Мишата удивилась. — А зачем же ты их носил?

— Для образа, — мрачно сказал Пушкин.

Он повертел очки в руках. Одного стекла не было, от другого осталась половина. Это был результат вчерашнего похода в метро.

— Я их все равно буду носить, — подумав, добавил Пушкин, — на веревочке, на шее.

— А знаешь, — сказала Мишата, — вот эти мельхиседеки, метрошные дети, тоже носят на шее вещи. Вот такие ключи.

И она вынула из кармана Гусынин подарок. Пушкин посмотрел с интересом.

— Можно?

Мишата дала ему ключ. Кожа задвигалась на лице разглядывающего Пушкина.

— Крест, — сказал он, указав на головку ключа, — они крестом воюют.

— Я заметила, — согласилась Мишата, — эта крестовина, она у вас часто тут попадается. На башнях, на шеях у простых земляков или воткнутая в земле. У нас она называлась компас.

— Это почему? — внимательно спросил Пушкин.

— Компас — полунощная тень. Если встать вот так в полунощной луне, все концы твоего теневого креста укажут на стороны света, а голова — на север, где ларец Полярной звезды.

Мишата раскинула руки и показала.

— Да, — уважительно отозвался Пушкин, — каждый этот крест по-своему понимает.

— А земляки по-другому понимают?

— По-другому. А мельхиседеки по-третьему. Но все им пользуются. Для вас он компас, землякам, как ты называешь, — якорь, а у метрошника — ключ. А часовщики ненавидят крест.

— Ненавидят?

— Ну да. Ведь крест всегда с кругом воевал. Он все четыре стороны предлагает: свобода. А Часы — это круг, кольцо. Бесконечное вращение, ловушка. Знаешь игру в крестики-нолики? Эта игра еще до людей родилась. Метрошные дети знают ее, у них вместо креста ключ от поездов. То есть победа над Часами так происходит: крест разрывает кольцо.

— У моего народа, — сказала Мишата, — тоже крес-

товина вознесена, а главные враги — партизаны, предатели Солнца, убийцы зимы. Но надо же! Что крестовину можно использовать против них, мы не думали. Компас может стать оружием?

Мишата некоторое время еще побыла, как компас, на цыпочках, расправив руки, всем телом чувствуя дождь. Капли щекотали лицо, и она отерла щеки о плечи, сначала о правое, потом о левое, не опуская рук.

— Да кто такие партизаны?

— Ну, те, что в оранжевой одежде, прислужники Часов.

— Почему ты их убийцами зимы называешь?

— А как же? Они все зимнее губят. Они сгребают снег, уничтожают снежные изваяния и отравляют весь остальной снег всякими солями, чтобы вылепленные из него изваяния были безумцы. Сосульки сбивают и сыплют на лед песок. Их машины работают на солярке, солнечном веществе. На их машинах оранжевые солнечные лампы. Они сами в оранжевой одежде — знак силы, украденной у Солнца. Хотя само Солнце зиме зла не желает, оно просто хранит и тепло, и свет. Когда наступит полярная ночь, оно отдаст свой свет снегу, а тепло — живым существам. Снег засветится своим светом, а живые заживут своим теплом и не будут страдать от холода. Но партизаны разжигают ненависть между зимой и летом, как бы от имени Солнца. Они будто Солнцу помогают, а на самом деле просто воруют ту силу, которая иначе досталась бы всем. Пока их армия владычествует, зима всегда обессилена и конечна.

Пушкин выслушал напряженно.

«У него морщины, как у старика, — подумала Мишата, — он очень умный, а морщины — отпечатки извилин мозга».

— Односторонне, — вымолвил Пушкин и поиграл очками. — Для нас твои партизаны всегда были ломовики: ломовые часовщики. Ненавидят зиму? То же самое можно сказать и о лете. Они асфальтируют траву, рубят деревья, загораживают солнце дымом, так что загорать нельзя. Они

ненавидят все непредсказуемое. Их цель — однообразие. Чтобы все было пасмурным, ровным, бесцветным — серые шахматы на одной-единственной серой клетке. Ломовики ни за белых, ни за черных, они за прекращение всякой игры вообще. Так что твой снег — это только следствие. Для ломовиков он — беспорядок, не больше.

— А почему же они в солнечные цвета одеваются?

— Это способ маскировки. Вспомни лицо хотя бы одного ломовика! Не выйдет — только оранжевые пятна. Этот цвет ослепляет глаза так, что лица за ним разглядеть невозможно.

— Странно, — задумчиво отозвалась Мишата, — как здесь, в городе, одни и те же вещи различаются с боков и сзади!

Пушкин морщился, как кот, от капель воды и слизывал их с краешков губ. Он уныло пожал плечами на Мишатины слова.

— Эта путаница всегда будет, пока каждый смотрит со своего места. А как выглядит вещь, на которую никто не смотрит? Невозможно представить. Но ведь это и есть ее настоящий облик. Чтобы его понять, надо целиком в глаз превратиться. Для этого главное учиться. Побольше изучать. Читать. Я потому очки не выбрасываю, буду и дальше на веревочке носить. А ты свой ключ тоже надевай на шею.

— У меня там уже есть гороховое ожерелье.

— Какое?

— А ты не видел?

— Не обращал внимания.

Мишата оттянула ворот кофты и показала бусы из сухих горошин.

— А что оно означает? — спросил Пушкин.

— Ничего... Это разве обязательно?

— Обязательно. Вот младенцы носят соску — это герб их жизни и ее заглавие. Богатые жильцы носят галстук: это петля, знак тяжелой ответственности. Мельхиседеки, ты видела, крест-отмычку — символ кольцеборства.

— А очки?

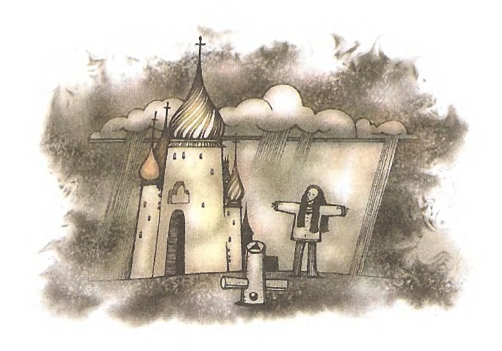
— Символ внимания: «Смотри не моргая».

— Я пока что не знаю, какой у меня символ, — спокойно сказала Мишата, — так что подожду что-то вешать. Пускай будет пока горох. Смотри-ка! Побежали! Приехали, что ли, наконец?

Это относилось к оживлению, возникшему среди детей при появлении серой машинки. Машинка возникала с утра возле метро и стояла по многу часов. Она покупала у людей разные драгоценные вещички. Все высыпали на улицу, чтобы продать золотую запонку, найденную в метро. Гусыня и Соня, посланники, перебежали дорогу и склонились над окошком машинки. Остальные с волнением наблюдали. Вскоре разнесся необузданный вопль Гусыни.

— Семьсот дали! — ревел счастливый Гусыня с середины дороги. — Живем! Живем, ребята!

И заплясал, не в силах сдержаться, задрыгал ногами и головой, не обращая внимания на гудки объезжающих его машин.



плохое предчувствие запоздало, зато оправдалось

Дождь лился на полиэтиленовую крышу. Раз в пару часов необходимо было пробудиться, встать и слить тяжелые пузыри воды, наросшие в провислом полиэтилене. Если этого не сделать, крыша могла прорваться прямо на головы спящих, как было вчера. Одеяла так и не просохли с тех пор. Под ними, скрюченные, спали и кашляли во сне дети.

Мишата одна вставала, опустошала висячие озера, подбрасывала дрова в потухающий огонь, чтобы гадкая ледяная тьма не сомкнулась над спящими. Потом Мишата опять ложилась и слушала, как постук дождевых капель постепенно сменяется бульканьем.

Она засыпала, и во сне встречала миг равновесия, и видела все будто заново: сказочным, свежим, как тогда, в свою первую лесную зиму.

Неба вверху как бы не было вовсе, одна серая, бесцветная пустота, и лес стоял кругом не шелохнувшись, отдыхая после утреннего снегопада.

Со всех концов обители: дозорных постов на стенах, кузниц, лепилен, жилых сугробов — тянулись к площади братья. Они собирались вокруг серединной ели и, выбрав место, замирали в ожидании.

Мицель тихо стояла вблизи Серого, глядя сквозь щели толпы. Был виден черный висячий рельс в снежной шапочке и Трехрукий, поднявший жезл, чтобы призвать к полному молчанию. Не шевелилось ничего, только редкие хлопья снега отвесно плыли к земле — или это весь



мир, наоборот, восходил кверху сквозь неподвижный снег. Трехрукий стоял, как дирижер, ожидающий неведомого сигнала. День медленно угасал.

И вот обесцвеченный лес слился с тусклой землей и небом. На миг связи верха и низа разрушились. Мицель открылось бескрайнее белое пространство, где пропал мир, оставив после себя лишь редкие серые пятна, бессмысленно рассеянные в пустоте. Тогда палка Трехрукого, почти невидимого, двинулась и стукнулась в рельс. Густой звук толкнул, и подхватил, и закачал на волнах Мицель. Он длился, длился, волна шла за волной, незаметно затихая, и наконец стало непонятно, истаял уже звук, или его пение навеки впиталось в мир, или это в голове звенело безмолвие. Мицель закрыла глаза...

Вдруг ее крепко толкнули в бок. Она с удивлением взглянула на Серого.

— Мицель пускай запомнит: в такой момент глаза должны быть открыты! Иначе можно раствориться и стать невидимкой. Как мы тогда отыщем Мицель?

Толпа тихо зашевелилась и начала распадаться. Серый повел Мицель обратно в кузницу.

— Вот, — говорил он, — мы прошли границу равновесия дня и ночи. Прежде небо освещало землю, а теперь оно делается темнее земли. Значит, всем маленьким пора собираться ко сну.

До входа, который стал теперь вдвое шире, вели специальные ступеньки, а дверью служила круглая льдина и горела изнутри жарким пламенем. Из верхушки холма поднимался дым и развешивался в воздухе, проницаемый крупными хлопьями падающего снега, тоже подсвеченный огнем из сердцевины холма.

«Ярко пылает огонь-то, — решила Мишата, — какое расточение дров».

Странно было, что при таком на вид огромном огне холод не ослабевает. Но Мишата перевернулась на бок и плотнее закуталась, подтянула ноги, накрылась с головой и, согреваясь, стала опять засыпать.

«Это оттого холодно, — думала она, — что равновесие перешли... Жизнь начинает заваливаться в зиму. Когда же это случилось? Был ведь, был вчерашним летом какой-то особенный день, да прошел стороной... А я от него отвлеклась, проспала, прожила его мимо... Как же я буду теперь жить, не собравшись, дальше?»

— Ну и что, — возразил невесть откуда попавший в сон Мишаты Языков, — это на земле тебе кажется: лето, зима, день, ночь, и все это очень важно. А мы знаем, что это не важно. У нас нету дня, нет ночи, лампы в залах не выключались пятьдесят шесть лет.

— Как же вы обходитесь? Ведь нельзя пропускать момент равновесия, ведь, уследив за ним, ты устанавливаешь собственное равновесие и тогда за полгода не оступишься, не пошатнешься ни разу.

— Ничего, живем без этого и обходимся, и каждый из нас может бежать с огромной скоростью по рельсу или ехать по рельсу на самокате, не думая и не падая. Жизнь наша ровная!

— Но время у вас есть все равно, — выглянул из-за его плеча старый Дидектор. — Время, сложенное из секунд, а в каждой секунде вершина, на которой жизнь замирает между восхождением и спадом. Тут находится сердцевина жизни, которая принадлежит вечности. И ты живи на вершинах и не достанешься смерти, которая стережет снизу.

— А я это знала, — обрадовалась Мишата, — я ведь именно так и пытаюсь жить. И мне с высоты весь мир видно, значит, я могу поместить в себя мир, значит, я одного с ним размера и смерть не сможет меня забрать, потому что ей меня некуда спрятать.

— Ты ошибаешься. В мире есть еще и Часы. А в тебе нет Часов, значит, твоя смерть спрятана в Часах.

— Да? Но все-таки ведь и меня у Часов нет, выходит, их смерть спрятана во мне.

— Это правда; значит, тебе нужно поторопиться, чтобы убить их прежде, чем они тебя убьют.

«Да, надо поторопиться, — подумала Мишата. —

Надо спешить, а я все сплю и сплю. Костер-то между тем потух».

С трудом прогоняя сон, снимая одну за другой клейкие его обертки, она слышала, как кто-то, задыхаясь, с корнем рвал из себя ядовитые водоросли кашля. Мишата заставила себя сесть и разлепить глаза. Мрак был разбавлен холодной послеполуденной серостью. Сверху сыпался, сыпался дождь. Было двенадцатое сентября, понедельник.

В потемках она набрала дров — кресельных спинок и подлокотников, потом аккуратно слила в котелок скопившуюся на навесе воду и поставила на огонь кипятиться.

Кроме нее, сделать этого было некому: скрюченные от холода, грязные, как коренья, остальные лежали и тряслись в своих мокрых одеялах, вздрагивали и стонали в полусне.

Соня выполз из-под кучи тряпья и сидел возле ванны. Но он почти ничего не соображал — моргал красными глазами да изредка искажался мучительной судорогой. Еще двое больных лежали в углу, завернутые в полиэтилен. Из остальных трое, без сомнения, должны были заболеть сегодня. Другие, хотя и здоровые, наотрез отказывались покидать одеяла. Мишата одна хлопотала за всех.

В эту ночь дождь пошел гуще. Пробовали закрыть отверстие купола фанерками, но тогда через полчаса в зале делалось невозможно от дыма. Сколько хватало, натянули тогда полиэтилен. Но по ногам бежали, не останавливаясь, ручьи, собирались лужами и текли под постели.

Этой ночью и Мишатина постель пропиталась водой. Занимаясь хозяйством, Мишата чувствовала, как что-то сильно сжимает ей горло. Проверив, она обнаружила, что горошины ожерелья разбухли и некоторые готовятся дать ростки.

Пришлось развязать ожерелье.

Она сидела с ним у огня расстроенная: ведь это был подарок Федотовой.

— Посадить, да и все тут: прикольно, горох вырастет кружочком, — посоветовала из тряпья охрипшая Нитка.

Но ее обругали:

— Зима скоро, какие сейчас посадки!

— Давайте павлину скормим, что ж поделаешь, — решила Мишата и уложила бусы в карман. Она все равно собиралась за лекарствами, по пути можно было зайти и к клеткам.

Поборов дрожь, она натянула мокрую телогрейку, сунула босые ноги в сапоги, обвязала голову платком.

— Я вернусь скоро, — пообещала она.

В коридоре она постояла, прислушиваясь. Дождь сыпался на купол, и огромное полукруглое эхо помогало угадать форму зала. Впереди слышался обычный земной плеск дождя по садовой листве... Сырость расплылась на стенах и сводах коридора, их тонкие росписи, изображающие богов и насекомых, полиняли. Мишата обратила внимание, что хорошо знакомый контур выхода выглядит теперь по-иному: сбоку, среди мусорных куч, виднеется что-то черное. Этого раньше не было. Мишата пригляделась.

Против света видно было плохо, только проступали очертания как бы тряпичной горы, причем появилось неприятное ощущение, что она изнутри живая.

Мишата шагнула.

И тогда гора поднялась. Качнувшись, черная масса пересекла коридор и скрылась в темноте, там, где лестницы вели на нижний этаж.

Мишата постояла еще, но ни звука не донеслось больше, кроме унылого дождевого шуршания. Тогда, пятясь, не поворачиваясь спиной к выходу, она вернулась в оркестровую яму.

Здесь спали все, кроме Сони, который, закутавшись в тряпье, сидел с мокрым, висячим окурком во рту.

— Змеи ушли, — пробормотал Соня, когда Мишата присела рядом, — заметила? Уже второй день. Ни змей, ни пауков — никого.

— Я видела чужого, — сказала Мишата, — только что, наверху.

Соня посмотрел на нее:

— Кто это был?

— Не успела разглядеть. Здоровенный. Вялый. Руки такие длинные. Он сперва вроде бы дремал у стены. Но меня заметил и перепрятался.

— Куда?

— На первый этаж пошел.

— Ночью по саду кто-то все время лазил, — промямлил Соня и плюнул окурок, — всю ночь.

— Как же я пройду теперь по коридору? — спросила Мишата. — Мне за лекарствами надо.

— Ну, пойдем, — нехотя сказал Соня и поднялся. Он очень отощал, отяжелевший пиджак был ему неудобен. В карман Соня засунул боевую рогатку-треух и насыпал свинцовые желуди.

Коридор пустовал. Они дошли до входа в метеоритный зал.

— Здесь он сидел? — спросил Соня, указав треухом на яму, раскопанную среди астрономических бумаг.

Мишата кивнула. Вдруг она вздрогнула: доспехи, охранявшие вход по бокам, были опрокинуты, расплющены, стекла шлемов разбиты вдребезги.

— Ах ты, кляп, — упавшим голосом пробормотал Соня.

Он настороженно покосился вбок, где чернели входы в соседние залы. Мишата невольно придвинулась к нему и прислушалась. Сквозь бормотание воды доносились потрескивания, шорохи, стуки — все те звуки, что обычно заполняют темноту заброшенных, медленно разрушающихся зданий.

— Может, обезьяна беглая? — тихонько предположила Мишата.

Соня мотнул головой:

— Обезьяны здесь не задерживаются никогда. Сразу бегут за кольцо, в глубь города. Огни, реклама, музыка — это им интересно. А тут им делать нечего.

— Кто же это?

— Бредун, наверное.

— Как же быть? Ведь он где-то здесь.

— Ну, здесь, — согласился Соня и плюнул. — Здесь три этажа, комнат разных штук пятьдесят, залы, подземелья. И почти во всех темнота. Я что же, буду лазить и искать его?

— Но так же нельзя оставлять?

Соня равнодушно пожал плечами. Они еще постояли молча. Потом Мишата пошла через зал к окну. Под окном было светло. Дождь шумел так, что приходилось повышать голос.

— Возьми, если хочешь, треух, — предложил Соня.

Мишата взяла, сунула в карман и туда же опустила три-четыре желудя.

— Я сейчас растолкаю кого-нибудь, чья очередь сычить, и заставлю поглядеть, — сказал Соня. — Ну а что еще я должен сделать, а?

Мишата, не отвечая, залезла на окно и высунулась под дождь. Веревочная лестница, свернутая на подоконнике, была мокрая. Мишата столкнула ее вниз и, морщась, вылезла наружу. Перед спуском она оглянулась, но застала одну только Сонину спину, скрывавшуюся в темноте. Оттуда на Мишату дохнуло сыростью и гнилью, такой заметной по сравнению со свежестью дождя. Спустившись, она втянула лестницу за тайную веревочку и закрепила конец вокруг куста. И пошла по грязной дорожке, на которой в двух местах попались ей босые следы, огрызки огурцов и колбасные шкурки.

Мишата быстро отыскала нужную хижину. Получив у молчаливой, жалостливо кивающей старухи кулек и бутылочку фруктового бензина, отломав от качающейся в люльке буханки ломоть, Мишата вышла и под дождем побрела дальше, к окраине зоопарка.

Дорогу ей преграждали ручьи и речушки. Плутая, обходя их, она с трудом добралась до клеток, но там никого не было. Соломенные подстилки мокли под дождем, кормовые мисочки были полны ледяной воды. Дальше, на аллее, боком стояла табличка: «Птицы убраны на осенне-зимний период».

— Что же, — вздохнула Мишата, перебирая в кармане мокрые бусы, — придется самим их съесть. Будет у нас вечером гороховый компот.

Она вымокла насквозь, пока добрела обратно до ограды Планетария.

Возле лазейки она пригляделась: в листве наверху, под ящиком из-под словарей, кто-то сидел нахохлясь.

Мишата пролезла через забор и поднялась на дерево. Дежурила Бомбелина. Все у нее тряслось, слипшиеся ресницы беспомощно моргали.

— Ой, Мишка, я подыхаю прямо, — закричала она, — я обалдела уже! Как быть-то, а? Ты не подыхаешь? Не обалдела?

— Совсем немножко, — сказала, хмурясь, Мишата. — Это Соня велел тебе пойти?

— Соня, гад. Он доказал, что теперь моя очередь!

— Зря, — заметила Мишата тихо, — я думала, он пойдет. Он самый крепкий. Думала, он, как обычно, откажется, потом посидит — да и пойдет.

— Еще чего! — закричала Бомбелина. — Дождешься от этого слизняка! Ведь он за справедливость прежде всего! А ему по справедливости послезавтра! Когда дождь кончится!

— Вряд ли он послезавтра кончится, — пробормотала Мишата. — Не кричи, ведь мы в засаде. Н*а* бензину.

От бензина Бомбелине сделалось лучше, щеки ее покраснели. Она заплакала.

— Не могу я так больше! Придумай что-нибудь, а? А то остальные уж все полудохлые!

— Ты сможешь донести лекарство? Ну и иди домой. Помни, по крышечке на каждого. Сама отмеришь всем, ладно?

— А ты чего же?

— Я не чувствую холода.

Трясясь синими губами, Бомбелина радостно полезла вниз. Осторожно, чтобы не запачкаться в холоде, она раздвинула холодную мокрую крапиву и скрылась в зарослях.

Мишата, сгорбившись, уселась на ветке, обняла колени и замерла.

«Плохо, — думала она. Предчувствие непоправимой беды охватило ее. — Плохо, вот и Соня уже сдается. А он ведь сильнее всех. Что же тогда говорить об остальных... А Планетарий? Как же в нем зимовать? Даже змеи ушли. И еды осталось до вечера. Завтра с утра уже надо будет что-то добыть. А как я одна, если Соня скиснет? Вообще-то я, может, и справлюсь, главное, чтобы не было сильно хуже, чем сейчас...»

Раздумья ее внезапно оборвались: ломая кусты и не обращая внимания на летящую сверху воду, бежала назад кривая от ужаса Бомбелина.

«Ну вот и все», — подумала Мишата, и сердце ее сморщилось.

В течение малой минуты, пока Бомбелина пробиралась к дереву, Мишата припомнила всю свою здешнюю жизнь, начиная с первого дня, когда познакомилась с Фарой, и почувствовала, что Планетарию настал конец.

Это чувство оказалось таким полным, законченным, что Мишата совершенно успокоилась, только тоска на миг надавила ей горло. Она откинулась к дереву, закрыла глаза и сидела так, расслабившись, пока снизу летел сорванный шепот обезумевшей Бомбелины.

— Бредуны! — хрипела она. — Лезут из канализации! Их сотни, сотни! И все к Планетарию. Я пройти не смогла, а наши-то внутри, не знают...

Мишата покривилась, открыла глаза и прыгнула с дерева.

— Бежим, — приказала она.

Застонав, Бомбелина побежала тоже.

— Кругом, кругом, — задыхаясь, плача, кричала Бомбелина, — они не успели еще окружить!

— Откуда они лезут?

— С того люка, где глобус.

— А из второго?

— Я не видела. Я не пойду дальше! — взвизгнула она.

Мишата остановилась. Они стояли лицом друг к дру-

гу, тяжело дыша, отплевывая воду. Дурацкие косички торчали из головы Бомбелины, в них застряли сучки. Она, поперхнувшись, приготовилась кричать еще, но только протяжно икнула…

Кусты слева затрещали и стали валиться наземь, а меж ними и поверх лезли черные тяжелые бредуны.

Бомбелина бросилась в сторону, Мишата обогнала ее и, дергая за руку, стала направлять бег, чтоб попасть все-таки к восточной стене Планетария…

Планетарий явился в тумане, но поперек дорожки прямо на глазах нарастало черноватое шевеление вражеской массы.

Бредуны стремительно приближались, уже поворачивались их рыла, замахивались лапы… И тогда Мишата завизжала тоже и нелепо занесла над головой бесполезный треух, словно дубинку.

Бредуны, те, что поближе, повалились в бурьян налево-направо. Мишата с Бомбелиной прорвались сквозь образовавшуюся затхлую брешь и помчались вперед…

Они добежали до кустов под окном. Мишата, срывая кожу на пальцах, дернула веревку, и сверху хлопнула и свалилась, обрызгав, лестница. Бомбелина, проклиная все на свете, полезла вверх, а Мишата развернулась спиной к стене, нашла закоченевшими пальцами в кармане желудь и, вложив в треух, оттянула резину.

Распухшие бородатые головы уже приближались с озабоченным видом.

Мишата выставила треух и, взглянув сквозь него по очереди на каждого врага, выбрала того, что плелся впереди всех. На шее у него раскачивалась связка вяленой рыбы, обгорелая рука покачивала увесистым суком. Мишата выстрелила. Желудь вспорол листву над головой бредуна, и тихие листочки посыпались вниз, задевая его хоботистый нос.

Брови жалобно поползли по лицу врага, но он все приближался, и остальные тоже. Мишата молниеносно поменяла желудь и снова прицелилась.

Бредуны продолжали опасливо подходить, пробуя

ногами землю, словно болото. Мишата выстрелила опять. Она навела треух ниже, чтобы попасть не в лицо бредуна, но в живот или грудь. На беду, в последнюю секунду бредун не выдержал и присел, и желудь щелкнул ему как раз над багровым ухом. Не издав ни звука, бредун свалился целиком, как свекла.

Валенки и полиэтиленовые портянки соседей сразу отдавили его голову, руку... Что-то сообразив, бредуны развернулись и, присев, продолжили наступление задом.

Дело стало совсем нехорошо: ватные спины бредунов были нечувствительны к желудям, грязные кульки волос защищали затылки. Оставалось еще два желудя и шагов, может быть, тридцать.

Чтобы сделать хоть что-то, Мишата выстрелила третий желудь по первой попавшейся спине. Спина только гукнула, но не остановилась.

На какой-то миг Мишата растерялась. Она понимала: если отвернется и отступит к лестнице, бредуны сразу же бросятся и успеют ухватить за ноги.

Оставалось одно: разогнаться, взбежать на спину бредуна и, оттолкнувшись от его головы, спрыгнуть на ту сторону в лес. Это значило навеки уже отрезать себя от Планетария, но все же так было лучше, чем попасться.

Мишата спрятала за щеку последний желудь, напряглась и стала считать до четырех. Внезапно проклятия Бомбелины смолкли, а через секунду сверху рухнул метеорит.

Он ударил в голову толстого бредуна, и тот, упав на карачки, с ревом пополз назад. Остальные остановились.

В воздухе мелькнул второй метеорит, третий, и вот целый метеоритный дождь обрушился на табун нападавших. Враги заметались. Мишата сунула треух, быстро взобралась на окно и втянула за собою лестницу. Рядом злорадно визжала и прыгала Бомбелина. Из зала донесся шум: это Соня волок по полу куртку, набитую камнями.

— Хватит, Соня, отступили, — задыхаясь, сказала ему Мишата.

Подбитый ею бредун уполз последним. Было видно, как кишат садовые кусты: там пучилось множество бредунов, но они пока не выглядывали.

Соня, ловко цепляясь одной рукой, забрался на окно и заволок камни. Бомбелина сразу схватила два, но Соня сказал брезгливо:

— А ну клади назад! Береги припасы.

Мишата все никак не могла отдышаться.

— Ты как здесь оказался? — спросила она в перерыве.

— Да никак. Шел Бомбу заменить.

— Наши знают?

— Нет, отдыхают.

Мишата выглянула на улицу. В стену рядом с ней ударила дынная корка. Два бредуна стояли уже вне кустов, таращa толстогубые лица, размокая в дожде.

А дождь усилился, навалился на траву, кусты, деревья, и купол зазвучал полнее, струи воды выгибались и рушились со ржавых его водостоков и бурили в земле кипящие дыры. Мишата спрыгнула в темноту.

«Что же, — думала она, — по крайней мере, запас воды у нас есть».

Оставив Бомбелину пока сторожить, Соня с Мишатой поспешили в зал.

В яме никто не спал. Хорошо горела ванна, многие сидели вокруг и с живостью что-то обсуждали. Даже тяжелобольные Гусыня с Самоделкиным были усажены вместе со всеми и, как куклы, подперты пустыми ящиками.

— Эй, поднимайтесь! — обратился Соня с моста. — Наотдыхались!

— Мы-то наотдыхались? — крикнули снизу. — Ты ушел, а тут такое творится! Два бредуна какие-то шатаются!

— Два бредуна, — произнес Соня, — это серьезно. А хотите посмотреть еще двести?

глава девятая

гороховое ожерелье съедено

Сумерки придавили землю, и так несчастную, избитую, обессилевшую под гнетом дождя. Сад почернел и съежился, склонились кусты, и трава, изнемогая, легла. Лишь купол Планетария стоял по-прежнему величественно и, умытый дождем, тихо сиял в полумраке.

Тяжелым рычагом от телескопа дети расшатали и выбили несколько досок в соседнем окне, и теперь уже два окна, черные в серой стене, предостерегающе смотрели сверху на полчища бредунов. В обоих стояли дети. Внизу шевелился сад, полный темной ползучей силы.

Куда подевалась поляна, окруженная букетами бузины, зимней ягоды и барбариса, лабиринты и омуты заросшего парка, горы хвороста и крапивная гуща? Шатры бредунов заслонили лесную землю, словно невиданные гнилые грибы.

Иные шатры состояли из крысиных и собачьих шкур; другие, попроще, из полиэтилена, картофельных очистков и сношенных брюк. Детеныши бредунов расползались, словно черви, их гнусный визг пронизывал туман, полуголые матери рылись в мусорных кучах и кричали еще пронзительней. Кислый дым подымался из драных жилищ, громадные баки шипели на пламени. Бредуны стояли вокруг и черпали кипящую бурду руками, а некоторые, всхрапывая, лакали прямо с поверхности. Нижние ветви деревьев согнулись под тяжестью тряпья: оно стиралось в дожде. Некоторые тряпки были пропитаны крысиным жиром и подожжены для свету: они пылали коричневым огнем и наполняли сумерки уродливыми тенями.

Ближе к Планетарию бредуны скапливались для штурма: тащили кроватные сетки и дверцы холодильников для прикрытия, сыпали горы мусора, кирпичами

наколачивали на головы друг друга кастрюли. Вонючие барабаны и костяные дудки мучили вечер.

А в метеоритном зале защитники Планетария изображали лень и беспечность, насколько удавалось.

Гусыня дремал, трясясь в ознобе. Душные сны терзали Самоделкина. Тихо вздыхала Пудра. Оплеухов сидел, плохо соображая, возле костра и вздрагивал. Пушкин наматывал полиэтилен на древки. Опахалов трясся от возбуждения и тюкал кирпичи на кусочки, пригодные для стрельбы из треуха. Нитка с Мишатой варили гороховый бульон. Соня с Бомбелиной надели растерзанные бредунами доспехи и в полный рост показывались бредунам, дразня и угрожая. Фара бродила, сунув руки под мышки и не зная, куда себя девать. Волосы она завязала узлом и заправила под воротник курточки, и лицо, открытое со всех сторон и от этого странно незнакомое, было у нее строгое, словно взятое из музея.

— Давайте поедим, — позвала вскорости Мишата.

На каждого вышло по баночке супа, по одному сахарному сыпку, и был доеден последний хлеб. Больных напоили горячим компотом.

Снаружи окончательно смерклось. Как уютно было вокруг костра! Дым уверенно летел к потолку, к какому-то одному ему ведомому старинному дымоходу, искры выстреливали до самых сводов, где всадники, еле видимые в столетней копоти и тьме, неслись погоней за медузами, невестами и астролябиями. Можно было всю ночь и еще много ночей лежать около этого костра и следить за бегом дыма, провожая путешествие искр... Но Соня злобно вскрикнул в окне. Повскакивали остальные. Рев бредунов опоясал подножие Планетария!

— Бомба, Мишка, наверх! — грозно и протяжно завыл Соня. — Фара, Самодел — на правое! Живее, плюхабукаха, так-перетак! Инвалиды, квелые — камней, камней! Не мочить без команды, подпускай поближе...

Мишата взлетела на витрины и выглянула во тьму.

Туча бредунов ползла вперед, медленно пожирая пустоту меж собой и Планетарием.

Передние пропахивали в земле настоящие котлованы, толкая перед собою гору земли, а сверху накрывшись листами шифера, на которых везли горы гадости для стрельбы. За ползунами двигались стрелки и вели обстрел планетарных окон. Где-то сбоку изнывал оркестр.

Пока бредуны были далеко, залпы зловещей дряни почти целиком разбивались о стены пониже окон. Лишь изредка влетали в окна подметка, селедка или горелая лампочка. Засохшей луковицей ударило в костер, и она уже задымилась, но Фара вовремя вышибла ее ногой... С начала наступления Фара носилась и вопила как безумная. Она была одновременно везде: внизу, где хватала снаряды, в окнах, откуда кидалась, у костра...

Соня, невозмутимый, целился из треуха и стрелял, стрелял... Но лицо его делалось все угрюмее.

Стояла уже ночь, и единственный на весь сад фонарь ослеплял защитников своей белесой радугой. Зато бредунам, напротив, прекрасно была видна стена с черными мишенями окон. Точность стрельбы бредунов росла, Сонины же пули не давали никаких плодов попадания.

— Да рассади ты фонарь, — посоветовала Фара.

Соня стал стрелять по фонарю. Трудно было угодить под колпак, прямо в белую щель, откуда оскалилась лампа. А метатели били все метче. Бутылочная шишка расцвела у Сони под глазом... куском асфальта Фаре зашибло локоть... пакет кислятины ударил в Бомбелину и забрызгал ее банты.

Но тут наконец-то лампа взорвалась и кроваво померкла. Как взвыли внизу бредуны!

В первый миг защитники растерялись от мрака, но скоро проступили для них очертания обыкновенного мира, и радостный крик озарил лица измученных детей.

Новый мир освещался луной, что летела в дырах дождя, и ветер продолжал его комкать и гнать, и дыры росли, давая довольной луне дорогу. Огромная тень Планетария наискось перегородила поляну, и все бредуны оказались на свету, отчетливо видимые на серебряной

траве, а оборонная выпуклость Планетария скрылась во тьме, и метатели потеряли цель.

Соня и Фара, Бомбелина и Нитка, Пудра и Опахалов ударили залпом битого кирпича по вражьей каше, по грязи, ребрам, лбам и доспехам бредунов. Но, увы, как ни ревели, ни ныли ослепленные бредуны под градом стрельбы, ничто не могло остановить их.

— Что ж, — молвил Соня, — настало время метеоритного боя.

Он оборвал с метеорита табличку и бросил вниз. Мелькнув, бумажка скатилась по воздуху и замерла беленькой точкой. Вслед за ней Соня обрушил метеорит.

Камень вышиб искру из кроватной спинки, звякнула ночь. Это словно дало бредунам команду. Притихшие было, они заволновались, приподнялись разом и всей огромной массой полезли на стену.

В первые секунды показалось, что вялые, слизистые бредуны присосутся к камням и начнут восхождение будто улитки. И правда, многим удалось расплющиться глинистыми животами и немножко всползти по стене. Однако они неизбежно съезжали обратно или, немного повисев на месте, с тусклым чавканьем отлипали и шмякались на головы нижних. Среди бредунов нарастало странное завывание, блеяние, бормотание. И вдруг в общем нытье стали различаться слова.

— Пусти-и-те нас, — тянулось снизу, — пусти-и-те, всем хватит места...

— Сидели бы в своей канализации! — звонко крикнула Фара. — Чего к нам полезли?

— Нас га-а-ды зае-е-ли... — ревели бредуны. — Га-а-ды задуши-и-ли...

— Так вот оно что, — пробормотал Соня и указал Фаре на обрывок змеи, валяющийся под ногами среди прочих ошметков. Фара затряслась от злости.

— Га-а-ды истязу-у-ют, — стонали бредуны, — пусти-и-те, не тро-о-нем...

— Так вот это что за гады! — завопила Фара. — Да вы их гаже в сто раз!



Она в ярости схватила и швырнула в бредунов метеорит. Бросили и Соня, и Нитка, и Бомбелина нагнулась. Махнул рукой, отбивая летящий огрызок, Оплеухов... Беспорядочный стук запрыгал в ночи.

Куски лунных кратеров, остывшие брызги звезд, бутыли с межпланетным газом, ключи и замки от ракет, выпиленные из драгоценных камней стекла старинных телескопов, гири для борьбы с невесомостью, старая билетная касса — все обрушилось на полчища врагов, но не смогло остановить нашествия.

Они лезли, лезли, и вскорости нечего уже стало кидать.

Тогда выпрыгнул угрюмый Пушкин, поджег и раздал всем полиэтиленовые факелы. Гудя, устремились вниз раскаленные ручьи полиэтилена, горящие синие звезды. Но бредуны лишь почесывали места, куда укусила их злая капля, отмахивались, как медведи от пчел... И продолжали ползти наверх.

Тут минута усталости настала для детей. Злобно белело Сонино лицо, расползлись губы у Бомбелины. Ниточка всхлипнула. Мерзкими словами тошнило обкиданного Оплеухова. Пушкин, не сказавший ни слова, и Мишата, которая единственная ни разу не взяла камень, молча смотрели в лица друг другу.

Весь я порохом пропах,
целый день пих-пах, пих-пах, —

в бреду распевал Гусыня.

Кто-то нервно рассмеялся... Апатия охватила всех. Отогнать бредунов было, видимо, невозможно. Но и самим бредунам, тупо возившимся у подножия, надеяться было, очевидно, не на что. Штурм провалился, теперь предстояла изнурительная, тоскливая осада.

Мишата сказала:

— Пойдемте попьем чайку, а то совсем потухнет костер. Все равно тут, в окошке, мы сейчас не нужны.

— А ведь я испугалась сначала, — призналась себе Мишата.

Главное, что она испытывала, — печаль и утомление. И Мишата сказала стучащей зубами Фаре:

— Ведь еще ничего не кончилось! Ты не размякла?

— Сама ты мякла! Со мной все отлично.

— Пойдем поднимемся пока на купол? Оглядимся.

Висела маленькая ослепительная луна, и все серебро над Мишатой и Фарой сияло. Они прислонились спинами к куполу и стояли, раскинув руки, закрыв глаза, чувствуя, как и спереди, и сзади проникает им под кожу прохладный лунный загар. Кишение бредунов внизу неслось равномерно. Мишата стояла, вслушиваясь, и вдруг поняла, как далеко углубилась ночь.

«Весь город давно спит, одни мы шумим, — подумала Мишата, — но мы тоже скоро уляжемся...»

Она открыла глаза и оглядела горизонт. Нет, город спал не полностью, в ближайшем к Планетарию доме горело несколько окон. И еще увидела Мишата главную аллею Планетария, обведенную лунным светом, узорные ворота в ее конце, причудливые тени на дороге и травах, два закрытых грузовика без огней, тихо подъезжающих к воротам и на колеса наматывающих узоры тени.

Любопытство и удивление вызвали эти грузовики, с такой вежливой осторожностью подкатывавшие.

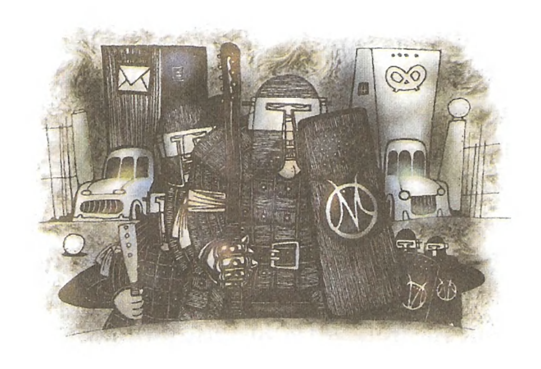
Сбоку у одного было написано «Почта», а у второго — «Хлеб», будто кто-то решил поддержать осажденных в крепости детей письмами и едой.

Морды у грузовиков были самые простодушные. И вели они себя не как другие: вместо того чтобы с храпом напирать и коптить, деликатно, беззвучно медлили... Мишата покосилась на Фару. Та, не двинув ничем, кроме руки, схватилась за Мишатино запястье. И еще прежде, чем Мишата осознала, как ужасно изменилось Фарино лицо, она содрогнулась от этих знакомых, исколотых каштанами пальцев, буквально за миг ставших холоднее льда.

А в следующий миг передний грузовик вспыхнул бело-синим огнем и с диким воем ударил ворота.

Створки чугунных бревен выгнулись и разлетелись, как крылья бабочки. Разрывая блеском и ревом ночь, грузовики отшвырнули аллею и вломились в сад.

Подобно волне отлива, прокатился от Планетария вглубь вой обреченных бредунов… Стреляя грязью, передний грузовик развернулся, приотъехал назад, а потом с разбегу только что ушибленной мордой ударил в Планетарий, пробил его, ушел в него носом, лбом, затылком до плеч. Купол подбросил Мишату с Фарой, кинул их к самому люку. Перед прыжком в темноту Мишата глянула вниз и успела увидеть, как сыплются наземь из кузовов черные бобовики, пехота Часов.



глава десятая

мишата и фара опять идут вброд

Едва скатившись по лестнице в коридор, они были сметены общим бешеным бегством.

Соня совершал огромные скачки с таким видом, будто исполняет важный и серьезный труд; падал, скользя на бумагах, Пушкин; плача, держались за руки Нитка и Бомбелина; спотыкалась Пудра, семенил Самоделкин, орал Опахалов, полз Оплеухов, волочился Сказалдов, и последним топал Гусыня, прижав к себе банку с палочниками.

Почему все бежали в сторону своих постелей, хотя умнее было бы спрятаться в бессчетных тупичках и комнатах здания? Почему изменили им навыки беззаконной жизни, не помог охотничий опыт, отказал рассудок, покинуло мужество? Потому, что слишком внезапно и безнадежно изменилось их положение и, ослепленные ужасом, они позабыли все, кроме желания закрыться с головой одеялом...

— Прут, прут уже по лестнице! — надрывался Оплеухов, в безумии тыча назад.

Там, в темноте, с кошмарной четкостью звучал стук часовщиков, спрыгивающих на закиданный дрянью пол метеоритного зала.

Как только выдержал веревочный мост под толпой детей, ошалело рвущейся ко спасению? Цепляясь, срываясь, вопя, они ссыпались в яму — а тем временем огромную пустоту купола уже пробили лучи фонарей.

Один Гусыня задержался в этот миг на мосту. Он собирался уже прыгать, но, почуяв на спине горячие глаза фонарей, обернулся.

Часовщики выбегали к обрыву. Гусыня крикнул и замахнулся на них... Часовщики замерли, но замешательство охватило их не перед Гусыней, а перед мостом, повисшим на тонких веревочках.

Один часовщик уже примерился шагнуть, но Гусыня, поняв его страх, швырнул в него палочниками и принялся со всей силы раскачивать мост.

— Крыла-а-атые каче-е-ели!!! — орал Гусыня, растопырясь и летая, как в цирке…

Дети, задрав головы, с ужасом смотрели на фигурку, мечущуюся под куполом в лучах фонарей.

— Разлетайтесь кто куда-а-а! — пел Гусыня. — Бегите, кочерыжники! Спасайтесь, балабаны!

Но секунда шла за секундой, медлили бобовики, Гусыня носился над пропастью, а дети не двигались с места…

Тогда дверь, завершающая лестницу через зал к оркестровой яме, раздулась, усмехнулась и лопнула, и отряд бобовиков, что ворвался в Планетарий через пробитое грузовиком окно, обрушился на детей.

И тут Фара опомнилась. Остальные, вопя от ужаса, бросились из ямы наверх, в кресла, чтобы укрыться в их низких зарослях, одна лишь Фара осталась на месте, присела и дернула Мишату за волосы.

— Умри, — прорычала она.

Мишата поняла: разбегавшиеся по залу дети рассеивали внимание ловцов. Лучи, сперва сошедшиеся на яме, метались теперь во все стороны. И настал момент, когда яма опять упала во тьму.

Фара пала на четвереньки и рванула доску библиотечного шкафа Пушкина.

Дико колотя ногами, Фара пролезла вовнутрь. Мишата на секунду оглянулась.

Она еще увидела, как Гусыня, остолбенев, уставился вниз и как первый часовщик, быстро пробежав мост, хлопнул Гусыню усыпляющей дубинкой по голове; увидела, как кто-то бьется, словно птица, пытаясь вырваться из луча… Ее настиг вопль Фары.

Мишата извильнулась и только успела задвинуть доску, как луч света прошел по тому месту, где Мишата только что стояла, и позолотил щели.

Зашипев, Фара ударила в заднюю стенку шкафа. Тот опрокинулся, но вместо грохота Мишата услышала тяже-

лый всплеск. И сразу последовало еще два плеска — это Фара и Мишата упали в затопленный проход под сценой. По грудь в воде, раздвигая руками плывущие книги, Мишата с Фарой побрели в темноту.

Здесь все гудело от грохота, топота наверху. Щели фонарного света плясали и ломались на волнах, сапоги бухали прямо по головам, труха осыпала волосы. Но по мере того как Мишата с Фарой уходили вдаль, тьма и тишина густели, и последняя книга отстала наконец совсем.

Фара скрипела зубами и тихо постанывала: вода была ледяная. В полной темноте появился и приблизился мягкий приплеск: волны пробовали кирпичную стену зала. Мишата вытянула руку и уперлась в слезящийся камень.

Они двинулись влево, все так же по грудь в воде, хватаясь за стену пальцами. Никто не нарушил молчания. Порой гулкий отзвук или эхо дальнего света долетали поверх воды, но вскоре опять ничего не было слышно, кроме шепота слепых волн. Но вот под водой что-то случилось: ноги нащупали твердь ступеней. Лестница подымалась куда-то вверх. Фара с Мишатой покинули воду.

— Отжать одежду, — прохрипела Фара, — каплет, выдаст, пакость...

Они принялись отжимать друг на друге одежду.

Точно слепые, которые пытаются на ощупь узнать друг друга, топтались они на лестнице. Краешком мозга, где еще бродили мысли, не онемевшие от отчаяния, Мишата подумала: «Словно заново знакомимся...»

Теперь она запоминала Фару пальцами: какие-то лишние острые кости, дрожащие веревочки мышц, тонкие ребра, пустые изнутри, горячая кожа подмышки... Когда вода иссякла, они на цыпочках пошли вверх.

Мишата была впереди и, кое-что различая, помогала Фаре.

Тут была громадная галерея первого яруса. И справа, и слева она медленно заворачивалась, там и сям через щели ставен разлинованная луной.

Нога человека, может быть, целое столетие не ступала здесь.

Как можно быстрее и легче Мишата с Фарой скользнули к окну. Трясущимися пальцами они попробовали оторвать доски, но те стояли намертво...

Где-то рядом, за поворотом, зияла пробоина часовщиков, и от этого ходить по галерее было страшно. Весь пол был засыпан старым мусором, а сверху прикрыт многолетней пылью. Мишате удавалось чувствовать ногой опасные вещи и не тревожить их, а Фара то и дело будила какую-нибудь консервную банку или ведерную дужку, которая так громко звала часовщиков, что приходилось замирать надолго на одной ноге, и лунный свет выбирал какой-нибудь странный кусок Фариного лица: сморщенный нос, приотворенную мокрую губу, безумный уголок глаза.

— Больше невозможно, — еле прошептала наконец Фара.

Скорее знаками, чем словами, она объяснила: придется идти туда, где часовщики, и проскочить мимо их машины.

Мишата это давно поняла. Опять появился страх, такой сильный, что мышцы ног и живота словно растаяли. Ослабшими ногами они миновали одно, второе, третье, четвертое окно, и вот впереди появилось пятое, лишенное решеток и досок, на обломки которых лунный свет взошел и возлег целым, довольным квадратом.

Медленно сходя с ума от страха, они выставили по глазу на улицу. Грузовик с поцарапанной, утомленной мордой дремал поодаль. Луна озаряла поляну, шагах в сорока чернел лес, в кабине плыл огонек сигареты.

— Ты, потом я, — выдавила Фара, бросив шептать: уже не было сил на шепот. — Если схватят, кусай все что можешь...

Мишата кивнула. Сигарета в кабине погасла. Вдохнув побольше, Мишата наступила на свет.

И сразу почувствовала, что бежать нельзя: побежишь — и, как во сне, увязнешь, задохнешься, забарахтаешься на месте...

Мишата пошла.

Страх так защекотал ей пятки, что ноги в сапогах

свернулись улитками. Но она шла, неловко, на поджатых пальцах, волоча сбоку свою тень, какую-то безобразно огромную.

«Двадцать два... двадцать три...» — обнаружилось у нее в голове. Оказывается, она считала шаги.

Это длилось невыносимо долго... Наконец кусты остановились перед Мишатой. Она вытянула руку и погладила блестящие листочки.

Вдруг суматошная буря налетела сзади и так толкнула Мишату в лопатки, что она кубарем покатилась, проломив кусты. Бранясь ужасными рваными словами, Фара потащила Мишату в темноту, но Мишата отняла руку, поправила растрепанные волосы и оглянулась.

В неподвижном свете луны Планетарий стоял огромный, ясный, видимый до мельчайших трещинок и травинок. Купол мягко светился, и были видны забытые кем-то крохотные штанишки, висящие над пропастью на одной ноге.

Они сидели на пустой остановке, и Фара хрипела, не в силах отдышаться после десяти минут бега вдоль Садового кольца, а отдышавшись, принялась рыдать.

Мимо бежали сырые огни кольца, дальше стояла черная ломаная стена домов Старого города, где не горело ни одного окна.

Бодрые часы показали три. Рядом пылал фонарь, внизу отражались не достающие до асфальта ноги, одна Фарина была босая, и это казалось особенно ужасно.

— Думай о себе, думай о себе, — твердила Фара, стуча зубами.

Положение их было скверное: еда, теплая одежда — все досталось врагам, пар шел от плаща, ночь не обещала приюта. Но сколько Фара ни твердила свой приказ, мысли ее опять и опять возвращались туда, где черные варежки давили то, что недавно было Фариной жизнью.

— Думай не о них, а о себе, — повторила Фара и наконец замолчала.

Мишата исподлобья взглянула на нее.

Фара сидела одна, чужая всему миру и Мишате тоже.

Мишата сказала:

— Пойдем в мою лифтерку.

Фара не посмотрела и не ответила. Она сидела понурясь и выглядела горбатой, сломанной посередине. Похоже, она могла бы так сидеть до утра. Мишата надела ей свой сапог, взяла за мокрую руку и тихо повела через дорогу.

Они проснулись в Мишатиной башенке и долго не могли понять, куда теперь двинуться.

Нужно было теперь все, все выдумывать заново, создавать новый способ жизни, а как? Жить особенно и не хотелось. Но потом захотелось есть, и волей-неволей они спустились в город.

Был пасмурный день, уже переваливший за половину. Путь их пролегал по Садовому кольцу, но они бездумно заворачивали, заворачивали и к вечеру оказались возле мокрого парка, откуда выглядывал купол.

С тысячью предосторожностей они проникли вовнутрь через выбитые ворота. В светлых сумерках узнавали детали вчерашней битвы: глину, где там и сям сидели изюмины метеоритов, обрывки бредуновской одежды, черные пятна от сгоревших шатров.

Впервые они вошли в Планетарий тем же путем, что и зрители древности, — по широкой лестнице, остаткам старых ковров. На ступенях Фара подобрала свой шарф, неизвестно как сюда угодивший.

В зале царил разгром. Ряды кресел потеряли порядок, они были взломаны, сдвинуты, опрокинуты. Яма и пространство вокруг нее безжизненно белели, густо засыпанные ядовитым порошком, хлоркой, от которой Мишата с Фарой немедленно расчихались.

В проходе они увидели банку из-под палочников и присели возле нее. И так они сидели молча, ждали, пока не поняли, что пора уходить, что становится страшно, холодает, темнеет и что палочники никогда не вернутся.

глава одиннадцатая

В ШКОЛУ

Еще три облачных, пустынных дня они прожили в одиночестве.

Железные мачты, кресты и крючья, одичавшие на крыше от простора и высоты, непрерывно гудели, и в их вершинах иногда ночевали тучи.

Сырые пропасти дворов открывались всего в четырех шагах от башенного основания. Внутри же было уютно.

Вечерами с горизонта, из бирюзовой щели между облаками и городом, являлся ветер. Он залетал в чердаки, и кровельное железо хлопало, вздуваясь изнутри, как пустой пакет. Но ветер не мог попасть в башню, потому что Фара залепила все щели воском.

Они с Мишатой нашли на чердаке гору старых свечей и набили карманы, рукава, даже дышла Мишатиных сапог свечными огарками. Теперь вечерами в башенке могло гореть двадцать, тридцать свечей, так что даже Фара потела и наконец снимала кофту.

От свечного треска приходилось повышать голос. И свечи прогоняли тоску, они будто намекали на какие-то невероятные события в будущем и тем заставляли на миг отвернуться от воспоминаний.

Первый день Фара только лежала или сидела потупившись. Молчала. Не ела, не пила, не занималась хозяйством... Но ночью она так замерзла, что пришлось, хочешь или нет, как-то обустраивать дом. Фара прошла по всем этажам, собрала придверные коврики и соорудила постели.

Постели разделялись гигантским колесом, старым хозяином башни. Мишатина постель находилась со стороны люка, Фарина — со стороны угла, и, разговаривая, Фара с Мишатой поглядывали друг на друга сквозь чугунные дольки спиц. Когда надо было что-нибудь передать, руки не могли сразу встретиться, попадая в разные ячей-

ки. Когда находилась наконец ячейка встречи, Мишата с Фарой уже смеялись, забывая на миг свое горе. Но страшно было совать руки в таинственное колесо.

— Оно точно вовеки не заработает?

— Точно! — отвечала Фара, глядя блестящим глазом в ячейку. — Это же от сквозного лифта, а они вроде все взорваны еще во время войны.

— А ты помнишь войну?

— Нет, я была тогда маленькая. Но, говорят, в ней много детей участвовало.

— И девочек?

— Я слышала, там был целый отряд ходульных девочек. Они отлично бегали на ходулях. У них были на разной высоте ступеньки, у ходулей, и девочки могли на бегу забраться или спуститься на ту высоту, какая требовалась. Они ходили огромной башней, пятиэтажной, человек в пятьдесят. И все стреляли на ходу из треухов или обессиливающим раствором из водяных пистолетов, кроме самой верхней, свирельщицы, которая на дудочке играла, чтобы всем в ногу идти.

— Их часовщики победили?

— Ну да, хотя не сами, конечно, а ломовики. Ну, партизаны, как ты называешь. Но зато перед этим они столько партизан посшибали!

— Что, никого из тех девочек не осталось?

— Да, говорят, часовщики похватали их всех. — Фара потускнела. — После боя однажды они зашли во двор, всей башней, и начали по команде п*и*сать, а раненый партизан со сварочным автоматом выполз и ткнул электроды в землю! Их всех током и оглушило, они и попадали. Партизаны, гады, здорово ток умеют применять. Потом и лифты взорвали, чтобы никто уже не смог часовщикам в тылы зайти.

— И этот, наш?

— Ну да. Говорят, один только и остался. Знаешь где? На Поварской улице, тут рядом, где еще школа, куда я ходила.

И Фара задумалась.

— Что же, и лифтер там живой?

— Ну да, — отвечала Фара. — Но он давно сошел с ума. Лифт-то сквозной, до самой придонной мглы. Лифт эту мглу внизу набирает, а наверху выпускает. У людей от нее забывчивость. Ну, и этот дедок забыл давно все.

Фара многое знала о городе, о Часах, о войне крыш и подземелий, о древних героях. И все с чьих-то слов, из секретных рассказов. Где она только этого набралась?

— Я, знаешь, как только не жила, — говорила Фара, — чего только не насмотрелась! Здесь надо держать ухо востро! Жуткие дела тут творятся!

Мишата была рада случаю порасспросить Фару. Раньше ведь им и не доводилось долго поговорить — отвлекала, требовала участия жизнь. А сейчас жизни никакой не было, зато были долгие вечера, когда налетает на стены ветер, хлопает, как подбитая птица, кровельное железо.

Днем Фара уходила добывать еду, одна или с Мишатой.

Было такое место недалеко, где у троллейбусов от крутого поворота часто слетали рога. Водитель-партизан выбегал поправить, кабину оставлял открытой, а Мишата с Фарой открывали там ящик, где всегда оказывался сверток с обедом, и похищали его. До часу дня (позже партизаны уже съедали обед) удавалось утащить свертка три-четыре.

У вас жрачку стырили?
Что ж вы плохо зырили? —

орала Фара Гусынины стихи и плясала, издали показывая партизану его обед.

Партизан ни разу не сумел их догнать. Но вскорости надоело и это.

Фара вообще заметно поникла. Разговоры с Мишатой еще могли ее оживить, но затеи и приключения только раздражали.

Вялая, с выражением брезгливой усталости или рав-

нодушия, бродила Фара по городу, то и дело присаживаясь отдохнуть. Она к тому же ужасно мерзла — потеряла свою куртку во время бегства. Мишата через пару дней походила по крышам и с помощью веревочки и гвоздя, как учил ее Соня, выудила с одного балкона подходящую куртку, висевшую для просушки. Фара куртку надела, но отругала Мишату:

— Не могла подальше отойти, чучело лесное! Под самым носом нагадила жильцам!

Мишата не обижалась. Она чувствовала: с Фарой что-то происходит, важное и непонятное. Все чаще Фара сидела угрюмая и словно решалась на что-то. Мишата пыталась утешать ее как могла.

— Смотри, какое у нас хорошее место! — говорила она. — Мы спрятались здесь, как птицы! Мы слишком высоко, чтобы нас кто-то нашел!

— Наступит гадова зима, и мы сами слезем, — буркнула Фара. — Знаешь, как мороз прожигает камень? На картонках не перезимуешь.

— Мы же нашли, где ночуют троллейбусы. Пойдем сегодня, снимем сиденья? Вдвоем ведь одно мы донесем? Сходим раза два — будут постели к зиме.

Фара сидела и вместо ответа чиркала спички. На стене появлялась огромная тень колеса. Потом, когда тух кислый огонь, делалось еще темнее.

— Свечей наберем, наготовим, заведем крысу. С крыши можно мультфильмы в окнах смотреть. Будет снег — я тебя научу пироги из него печь, — говорила Мишата.

Но Фара молчала.

— А если, — продолжала Мишата, — наверху между труб сжигать пару ящиков, а угли набивать в чайник и сюда приносить, будет так натоплено! Никакой мороз нам не будет страшен.

Не отвечая, Фара зачиркала, но теперь все спички подряд ломались. Одна фыркнула и выстрелила синюю искру в волосы Фаре. Та схватилась за голову и закричала:

— Мозги у тебя из снега, что ли? Или тебе Планетария мало? Ну надо же! Только едва спаслись, только отмоча-

лились чудом, а она, пень-голова, полюбуйтесь, на крыше собирается жечь!

— Да ведь, — расстроенно сказала Мишата, — не будет ни с улицы, ни с окон видно, из трубы идет дым или нет!

— Ах ты, сосулька слабоумная! — заорала Фара. — Да у тебя и вправду на голове куб! По-твоему, здесь из труб валит дым, как в твоей деревне или где там? Ты что, не знаешь, что это город?

— Ну, можно не жечь, — сказала Мишата, еще сильнее расстроясь, — ну, давай что-нибудь другое придумаем.

— Что придумаем, зачем?

— Чтобы жилось лучше, чтобы зимовалось легко...

Фара взглянула на нее с яростью, разинула было рот, чтобы еще что-то крикнуть... Но померкла, отвернулась, отбросила коробок. Настало молчание.

— Знаешь, — сказала Фара наконец в стену, — дело тут не в дыме. А в том, что вообще пора прекращать.

— Что прекращать?

— Да вот это все прекращать.

— Как это?

— Обыкновенно. Все, погуляли — и достаточно. Довольно уже такой жизни.

Мишата растерянно молчала, приподнявшись на локте.

— Я не понимаю, — сказала она с тревогой. — Что, менять место?

— Покидать место, — ответила угрюмо Фара, — прощаться с этим местом и вообще со всеми местами.

— И куда же деваться?

— Домой.

Мишата в полной растерянности села. Фара махнула на нее рукой:

— Успокойся ты, ляг.

Помолчав, подумав, она серьезно сказала:

— Слушай. Дело не в том, что холодно. Дело в том, что так, как мы живем, это неправильно, понимаешь? Люди, а особенно дети, не должны так жить.

— А как?

— Ты не видела, что ли, как живут люди? Не смотрела никогда в окна?

— Ну, я смотрела, — ответила неуверенно Мишата, — но ведь это земляки, жильцы! Они всегда так живут.

— Ну хорошо, земляки, допустим. А мы-то с тобой кто?

Мишата, сбитая с толку, пожала плечами.

— Мы — это мы.

— Мы-то мы, — строго сказала Фара, — но и мы не должны быть бездомными. У всех есть дом, так устроен город. И у меня есть дом. Там бабушка живет. Я ее люблю, но злюсь на нее, потому что она бывает противная. И сбегаю, иногда надолго. Но сейчас уже середина сентября, и вообще-то пора бы в школу к тому же ходить.

— Подожди, подожди, — вскричала несчастная Мишата, — у тебя бабушка? Это которая колдунья? Мне Пушкин как-то говорил...

— Сама ты колдунья, глупости, — сердито сказала Фара. — Никакая она не колдунья, а завуч в школе.

— А жить? — ошеломленно спросила Мишата. — Где я буду жить? В школе?

Мишата от волнения не могла уже даже сидеть и вскочила на ноги.

— Жить будешь у нас.

— Да ты что? Правда? Там квартира настоящая? А бабушка старая?

— Успокойся, — утомленно сказала Фара, — не бурли. Бабушка не старая.

Вот так и случилось, что на следующий вечер они распрощались с башней и привалили люк кирпичами.

Крыши стояли свежие, умытые дождем, и Мишата с Фарой не торопясь побрели по сырым залатанным склонам. Город шумел внизу так, будто дождь там еще не кончился. Голуби гроздьями жались в чердачных окнах, пока не решаясь вылезти, но вороны уже сидели на шапочках труб или реяли в яснеющей высоте.



Мишата с Фарой залезли в чердачное окно. Спугивая голубей, они пробрались во тьме чердака, полной старинных кукол и птичьих скелетов, спустились в подъезд и тихонько вышли на улицу из соседнего с башенкой дома. Никто их не заметил.

Небо, в изогнутой раме переулка, к тому времени остыло совсем. Оно стояло нежно-зеленое и прозрачное, как стекло, и по мере того, как Мишата с Фарой все дальше уходили от покинутой башни, зелень медленно холодела и звезды проступали из ее глубины.

Начались старые и очень высокие дома, небо постепенно удалялось, и вскоре от него остались крохотные квадратики. В таком городе Мишата была впервые.

Дворы, как огромные комнаты, наполнялись голосами играющих детей и распевом качелей, который на двух своих странных нотах без конца опадал и взлетал опять. Глубокие каменные норы, где была уже включена желтенькая ночь, вели из одного двора в другой.

Миновав множество дворов, Мишата оказалась перед домом Фары. Он был шести этажей, с черными трубами, одна из которых украшалась звездой.

Сетчатый лифт вознес их на четвертый этаж. Пахло тут незнакомо. Фара сказала в тишине лестницы:

— Не вздумай отвечать ни на какие вопросы! Вообще не раскрывай рта. Все, что надо, я за тебя скажу.

К удивлению Мишаты, Фара звонить не стала. Она залезла себе за воротник и вытащила грязный шнурок с двумя заржавленными ключами. Потом поерзала немного в замке, щелкнула, и перед Мишатой открылась прихожая, полная пахучей чужой темноты. Из притворенной двери и напротив в прихожую попадало немного света и музыкального журчания. Фара сняла куртку и повесила ее, не глядя, на крюк, а потом указала Мишате: раздевайся. Но лишь Мишата коснулась пуговиц, из-за двери раздался величественный холодный голос:

— Надеюсь, это ты, Фара?

— Я, — спокойно отвечала Фара, при этом делая Мишате торопящий жест.

Мишата разомкнула пуговицы и уже приготовилась снять пальто, как двери отворились и хозяйка дома свысока глянула на пришельцев.

— Вот она какая! Настоящая статуя! У нас в школе некоторые думают — она манекен. Ощутила жуть? — полчаса спустя кричала Фара, плюясь и отфыркиваясь от воды. — Она у тебя будет выведывать! Да ты, слышишь, не поддавайся! Лучше наври ей чего-нибудь!

Фара сидела на дне ванны, а сверху душ помахивал по ней своим водяным веником.

Струи лились по Фариному лицу, и от этого слова ее пузырились. Какая маленькая стала у нее голова, обклеившись волосами! Зато они оказались очень длинны и очень черны, а кожа была белая и зеленоватая, как у курицы, на ней шевелились пиявки волос, и между тоненьких ребер были заметны удары сердца.

Мишата сидела рядом с ванной на табуреточке. Сидела молча. От Зауча, от их разговора с Фарой, полного ледяной язвительности одной и яростного многословия другой, осталось немного виноватое и тревожное чувство. Но Фара утверждала, что все нормально.

— Она сама виновата! А теперь она потерпит немного и снова примется меня глодать. Я потерплю, да и заново смоюсь. Так мы уже года два живем. В общем, ты не волнуйся, ясно?

Потом Фара вылезла и спросила:

— Ну а ты чего? Надо отмываться, ты как из помойки!

— Я буду, только сама себе воду сделаю.

И Мишата залезла в ванну, пока Фара надевала толстый халат. Фара попробовала воду и взвизгнула.

— Совсем оващела?! У тебя вообще горячей не включено!

— Мне и не надо.

Фара, не в силах смотреть, выскочила из ванной. Мишата домылась одна. Она завернулась в ткани, какие нашла, и покинула ванную. Голос Зауча раздался поблизости:

— Маша, пожалуйста, проходи сюда и садись за стол.

Здесь все сияло. Серебряные зайчики плыли в тарелке, вспыхивали на лезвиях вилок, а ножи лежали не просто так, а на бархатных мягких бумажках.

Еды было мало, зато причудливой. Мишата ела осторожно, чтобы как можно меньше запачкать зеркальные инструменты ужина. Фара же размазывала и размахивала едой, и говорила сквозь еду, и во время рассказа вскрикивала, так что крошки летели изо рта и половина слов звучала пережеванно.

Зауч тонкими движениями перерез*а*ла свои кусочки и лишь хмурилась или приподнимала бровь на Фарины россказни. Чистая, причесанная Фара выглядела незнакомо и неожиданно по-девчачьи наклоняла от себя тарелку, доедая суп (правда, все равно под конец, воровато покосившись, допила через край).

Доели и сразу же пошли спать — вставать завтра надо было в полседьмого.

сказка третья. о войне изваяний

Жила-была Фамарь, девочка с черными спутанными волосами. Она была потерявшаяся эфиопская принцесса, но эту тайну, конечно, никто не знал.

Ходила Фамарь в третий класс и очень плохо себя вела.

Она, например, опаздывала на первый урок, и чем ближе к зиме, тем сильнее.

Она говорила:

— Я хожу по своим собственным часам, по солнечным. Утро — это рассвет, а не знак на циферблате, понятно? А вы по черным часам ходите? Ха-ха! Вот и кукуйте в темноте.

Другие дети завидовали ей: им страшно было в темноте ходить, особенно когда кто-то начал детей воровать.

Тревожное наступало время: мир погружался в зиму,

темнота затапливала утро все сильней и сильней, и детей пропадало все больше и больше. Но еще страшнее была Зауч. И дети приходили в школу вовремя.

Фамарь же была храбра и делала что хотела. К примеру, все, что подбирала по пути в школу: ягодки, пуговки, монетки, — она заплетала в волосы. Учителя решили ее постричь, но она так кусалась, что удалось отрезать только один колтун. Фамарь спрятала его в кулаке, а на математике подожгла. Вонь распростерлась страшная!

Педсовет выбрал ей страшное наказание: отвести к Дидектору. Когда Фамарь повели, все классы выбежали в коридор. Ведь все знали, что пропадают дети, и думали на Дидектора.

— Эх, — ужасались дети, — пропадет теперь и Фамарь.

Ее затолкали в подвал, захлопнули крышку и вдобавок задвинули вешалкой.

Когда настала темнота, сделалось Фамари не на шутку страшно.

— Эх, пропала я, — решила Фамарь.

Она вынула спички и зажгла одну. Кругом густо висела одежда. Одежда как одежда, но сейчас она казалась пугающей.

— Тьфу, — заключила Фамарь, — со спичкой еще страшнее. — И задула.

Она посидела немножко слепая, но почувствовала, что больше не может: вдруг одежда в темноте рукава к ней протягивает?

— Вот пакость! — вздрогнула Фамарь и опять зажгла спичку.

В углу что-то сверкнуло — под лавочкой лежал елочный шарик.

Фамарь в шарик всмотрелась и видит: из-за одежд отражается громадный мужик.

У Фамари все ослабло внутри и мелькнула мысль: «Ну, прощай, Фамарь!»

И она ощупала себя на прощание и нашла в кармане огромную иголку.

«Труд же был сегодня, а я забыла, — подумала Фамарь. — Ну подойди, людоед, отведаешь хорошей иголки!»

А тот все стоял и присматривался. Присмотрелась и Фамарь.

Видит: человек-великан, высотой как царь, одеждой как Пушкин-поэт и цилиндр старинный на голове.

— Хм, — решила Фамарь.

Глядит она дальше: палец высовывается. Высунулся и манит ее к себе.

«Ага, сейчас», — подумала Фамарь.

А тот вдруг и говорит:

— Что это у тебя в кармане? Не иголка ли?

Фамарь смутилась и отвечает:

— Нет, это записка.

Он засмеялся:

— Я знаю, что там у тебя иголка, да меня не проткнуть: у меня и сюртук, и брюки железные. А ты лучше записывайся ко мне в кружок домоводства! Я тебя научу словам, от которых одежда сама срастается, и шить ничего не надо.

— А я, может, люблю как раз шить, — заявила Фамарь, но соврала, конечно: в жизни ничего не сшила.

А он начал ее уговаривать:

— Если любишь шить, так я покажу разные швы: стрекоза в лабиринте, облепиховый шрифт, заклинание глупости... Таких ни одна девочка на свете не знает. Мы, если хочешь, будем шить новогодние костюмы.

— Это еще зачем?

— Чтобы под Новый год устроить костюмированный бал.

— Хорошо, только без меня, — сказала Фамарь, — я ваши зимние праздники видала-бодала... Новый год — хреновый год!

В общем, поддерживает разговор. И еще думает: «Да что я на него в шарик-то любуюсь? Подумаешь! Так посмотрю!»

Но Дидектор сказал:

— Не смотри на меня, я страшный. Это в шарике я ничего, потому что шарик волшебный. А наяву я страш-

новат, как черепаха. Шарик этот меня наоборот показывает, каким я был до превращения — красивым, как египетский царь.

— Кто же вас превратил? — спросила, не веря, Фамарь.

— Да я зазеркалился в елочных игрушках. Я их много за свою жизнь перебил. А кто разобьет елочную игрушку и тут же не зажмурится, тот может по волшебству стать таким же страшненьким, как в отражении. Вы не проходили, что ли, по физике?

— Да у нас нет еще физики, — ответила Фамарь. И повернулась к Дидектору.

Глядит — и правда: наяву он совсем другой, словно хамелеон, жутковатый. Но вроде бы не очень опасен на вид.

В руке указку длинную держит. И не цилиндр на нем, а такая высокая корона.

«Чего это он, — думает Фамарь, — царя, что ли, изображает?»

А Дидектор взмахнул указкой и повелел:

— Я правитель школы и намерен предложить чай! Я имею четыре свечи, которых мне не жаль истратить на приветствие своей гостьи!

Он снял корону и начал доставать из нее чай и горящие свечи.

«Фокусничает, — решила Фамарь, — да меня не обманешь».

И стала она Дидектора ругать:

— Что же это вы! Царь школы, а детей воруете! Я такой чай не буду пить!

— Как это я ворую?

— А куда тогда сорок детей девалось? — крикнула на него Фамарь.

— Кто же про меня это рассказывает? — опечалился Дидектор.

— Все говорят!

— Но ведь я не делаю ничего такого...

— Не делаете? Докажите!

— Как же я докажу?

— Очень просто! Отдайте приказ, чтобы дети ходили по

солнечным часам! Чтобы им запрещалось в темноте выходить из дома! Тогда я поверю.

— Не могу я издать такого приказа, — тихо ответил Дидектор. — Я хоть и правитель, а не имею власти: Зауч захватила себе всю власть.

— Ага, — закричала Фамарь, — не можете доказать! Тогда и нечего о себе воображать.

— Доказать не могу, — произнес Дидектор, — но могу рассказать тебе одну историю.

И он рассказал вот такое:

— У меня нету в подвале детей и никогда не было. Но зато есть помощники — просто пустая детская одежда. Одежки ходят ко мне по ночам на воспитание. А недавно они опоздали, а когда пришли, то были истреплены. «На нас манекены напали! Кулебякиной шапку оторвали! Пистолетова совсем растоптали! Хорошо, было нас много и мы их ледышками отогнали». Вот что сказали мне мои подмастерья. Я и раньше знал, что манекены ночами рыщут, только был удивлен: зачем им детская одежда? Теперь-то я понимаю: может, они ее приняли за детей? Может, это манекены детей похищают?

— Может, может, — передразнила Фамарь, но задумалась. — Что-то мне подозрительно, — сказала она, обдумав, — отчего Дидектор, зная, что манекены воруют детей, сидит в подвале и ничего не делает!

— Увы, — воскликнул Дидектор, — если бы я раньше знал о похищениях! Но я настолько замкнут в своем подвале, что все новости узнаю последним. Я немедленно, немедленно предприму все возможное для скорейшего приступления к обдумыванию положения!

— Чего думать-то тут? — напустилась на него Фамарь. — Надо сегодня же выяснить, манекены это или нет!

— О, это не так просто! — воскликнул Дидектор. — Манекены ведь так могучи! Они питаемы магнетизмом Часов и отсюда исполнены тракторной силы. И как проследить манекена? Он неотличим от человека, только что не моргает, потому что не умеет закрывать глаза.

— Вздор! — взвилась Фамарь. — Надо просто-напрос-

то притвориться манекеном в витрине, дождаться ночи и посмотреть, что будет!

— Но как же это осуществить? Манекены прекрасны в телах и в лицах, я же несколько нелеп! Они изобличат во мне притворяющегося директора!

— Да Дидектор вы или обыкновенный кулек! — взвизгнула Фамарь. — Не у вас ли под рукой полная школа детей? Что, трудно отыскать и приказать какой-нибудь красивой девочке?

— О, можно ли! Можно ли ставить ее под угрозу?! Манекены коварны, пронырливы. Если девочка хоть чем-то себя обнаружит, она будет жестоко погублена!

— Нужно специальную, — втолковала Фамарь, — красивую в лицах и умную. И хладнокровную, чтоб стояла день-ночь не двигаясь.

— Где ж я найду такую? — произнес Дидектор.

— Ладно, — подбоченилась Фамарь и топнула ногой, — а если я скажу вам, что у меня есть такая подруга?

— Есть?! И она хороша собою в лицах?

— Ха-ха!

— И не шевелясь сумеет?

— Сумеет!

— Но манекены все лысые!

— Ради надобности обреется, не волнуйтесь!

— Но сумеет ли она оцепенеть в прекраснейшем жесте, как это умеют манекены?

— Да она в детстве хотела идти в манекенщицы! Да она девочка, воспитанная снеговиками!

— Но сможет ли не моргнуть, какой бы ужас перед нею ни открылся?

— Подумаешь! Да она встанет в витрине, где хвастают летней одеждой. Там все истуканы в черных очках, и она такие наденет. Только, — добавила Фамарь и пальчиком прицелилась в нос Дидектора, — мне что-то странно, что вы сомневающийся такой. Какой-то вялый для Дидектора! Это когда ни секундочки ждать нельзя! Подумаешь! Сами справимся! Сидите в своем подвале! Очень вы нам нужны!

И она бросилась колотить в двери подвала. Но Дидектор

заградил дверь всем туловищем. Бледный, он приказал:

— Не сметь действовать в одиночестве! Запрещаю. Только под моим руководством!

— Сдался нам такой бормотун-руковод! Обойдемся!

— Что ж, — мрачно отозвался Дидектор, — мне тяжело это решение, но если вы захотите действовать сами, я буду вынужден поставить в известность педсовет.

— Ах ты чудовище! — ахнула Фамарь. — Ты не смеешь нас выдавать!

— Увы, — промолвил поникший Дидектор, — я скорее выдам двух безрассудных детей, чем позволю им обречь себя на гибель.

— Ладно, — скрипя зубами, процедила Фамарь, — так уж и быть, возьмем и вас тоже.

— Это лучше, — одобрил Дидектор. — Жду вас сегодня ночью, а вход через будочку бомбоубежища, что во дворе.

После обеда открыли дверь, думали, что найдут одни косточки; глядь — сидит целая и мрачная Фамарь. Что учителям оставалось? Они ее отпустили.

Фамарь не врала, что у нее есть такая подруга. Эта девочка, Мицель, выслушала всю историю и сказала:

— Надо так надо.

Ночью они выбрались тайком из квартиры и проникли в подземелье Дидектора. И он выбрил Мицель острой шпагой.

— Что известно о манекенах? — спросила за чаем Мицель.

— Все они были люди, — сказал Дидектор, — но потом пошли в специальные агентства, где из них сделали изваяния.

— Зачем же они согласились?

— Их обманули.

— А почему они живы?

— Этого я не знаю, — сказал Дидектор. — А почему живы снеговики?

— Снеговик оживает, если кто-то пробудит его ласковым словом, — сказала Мицель, — но сам, без помощи, не

оживет никогда. Обычно, если дети скатали снеговика, его братья приходят в полночь, пробуждают и уводят с собой.

— А я часто видел, — сказал Дидектор, — что поутру снеговик разломан.

— Нет, — сказала Мицель, — снеговиков никто не ломает. Просто есть обычай: уводя новоожившего, снеговики делают на его месте снегового, чтобы никто не заподозрил оживления. Делают в точности такого же, и даже дети, которые вылепили первого снеговика, не заметят разницы. Вот этого снегового могут и разломать мальчишки.

— А снегового тоже можно оживить?

— Нет, нельзя. Увы, снеговикам не дано сотворять жизнь. Они могут только оживить сотворенное земляками. Впрочем, дети без снеговиков тоже ничего оживить не смогут: надо знать специальные слова. Добрые слова для сделанного добрыми руками.

— А манекены тогда, — крикнула Фамарь, — должны оживляться руганью! Если изругать манекена гадкими словами, то он просыпается от злости!

— Может быть, — сказала Мицель, — ведь в снеговиках и манекенах много общего. Снеговики тоже не умеют закрывать глаза, поэтому спят, заслоняясь руками. Что гадать? Завтра мы все узнаем.

И поутру они отправились в магазин.

На подступах к магазину «Детский мир» Мицель оцепенела стоймя. Ее, как куклу, занесли вовнутрь, и Дидектор объявил заведующему:

— Примите в дар от нашей школы такую вот Маню-манекенщицу, ныне куклу, а в прошлом отличницу!

Заведующий очень обрадовался и велел нарядить Мицель в самое красивое платье.

Мицель установили на серебряный куб в витрине и надели ей модные очки. Рядом, на шарах и пирамидах, стояли другие манекены, некоторые без голов. Мицель стояла и повторяла слова цепенящих стихотворений, чтоб не шевелиться. Манекены тоже не двигались.

Прошел день, посетители покинули магазин. В витрине

стало темно, только чуть-чуть фонаря попадало с площади. Снаружи шли люди, но их становилось все меньше. Потом они вовсе перестали ходить, и машины вскорости перестали, и ночь совсем опустела. А манекены стояли по-прежнему. «Неужели ошибка?» — начинала думать Мицель. Но тут часы на площади показали час ночи, и манекены тихо рассмеялись.

Они покинули свои шары и пирамиды, на которых стояли, и наполнили витрину шуршанием. Мицель ждала. Но вот пластмассовые руки ощупали ее и прекрасные лица заглянули в ее лицо. Чужие губы приблизились и шепнули:

Кукла гадкая, восстань!
Ждет тебя работа — дрянь!

А потом прижались к ее губам, и Мицель почувствовала, как ей в рот проталкивают кусочек холодного магнита. Мицель приняла магнит и сошла со своего куба. Витрина была заперта, но один манекен протянул руку, и замок сам собой соскочил. Манекены вышли в пустынный магазин.

Тут стояло множество игрушек. Одни задрожали от ужаса, другие обрадовались манекенам. Но манекены кликнули одних только барби-манекенчиков. Барби радостно запищали, заползли на плечи и головы больших манекенов и там присосались. Манекены выкатили на улицу десять детских колясок и уселись в них. Безголовых запрягли в коляски и начали хлестать, и те завыли и бросились в ночь.

Вьюга охватила город! Вьюга рвала на себе бороду и волосы и развеивала с хохотом седые клочья! Целые столпы жгучего дыма взвинчивались до крыш! Переулки кипели, как леденящий суп! Ужаснулся весь город, и дома зажмурились и натянули как можно глубже снежные шапки. Манекены визжали от восторга и летели наперерез вьюге, и чем быстрее они неслись, тем синее горели у них глаза. Будь другой на месте Мицели, худо пришлось бы ему! Но она хорошо умела терпеть мороз.

Проскакав несколько улиц, коляски влетели в пустынный двор. Дома вокруг были в обмороке. Посреди еле виднелась заметенная будочка «Газ». Одни манекены стали с хохотом бегать и играть в мертвяшки, а другие отошли к овощному киоску и вскорости прикатили оттуда огромную клетку для овощей. Потом открыли будочку. Из нее понеслись стоны и жалобы детей. Мицель ужаснулась: значит, все правда! Манекены стали выгонять пленников. Те еле брели со страху.

Тем временем некоторые манекены разбежались вдоль дома: подсвечивая себе глазами, они осматривали стены.

Кое-где им удалось найти тайные знаки часовщиков — красные, черные и желтые метки, что намекали на близкие люки, скрытые ныне под снегом.

Сперва манекены нашли знак «КК», что означало «колодец-колокол». Они стали рыть задними лягвами снег под стеной, и отрыли колодец, и открыли, и позвонили в колокол. Зловещий сигнал улетел в подземелье.

Потом манекены нашли на стене буквы «МГ», что значило «магнитный глаз». Они отрыли и этот колодец и, по очереди пригибая каждую голову, показали в него детей.

Наконец по знаку «ГК» отыскали «грабежный колодец». Достали оттуда десять мешков с веревками и посажали в мешки детей. Бросили мешки в клетку, привязали к клетке тройку безголовых, одни манекены залезли на клетку, другие прыгнули обратно в коляски и понеслись опять.

Скоро клетка остановилась в другом дворе, где раскинулась детская площадка с домиком, качелями и каруселью. Рядом виднелась маленькая часовня — бомбоубежище. Из глубины его раздался ответный колокол.

Тогда манекены вынули из домика цепи, один конец надели на карусель, другой опустили в подвал и стали вертеть. Цепь наматывалась, а из подземелья подымался скрип и черное свечение. Все намотав, карусель остановилась, и вот из подземного лифта десять старичков с факелами вышли и встали полукругом.

Началась ужасная торговля: ребенка сажали на один

конец качелей, а на другой старички клали пустой мешок и начинали накладывать магниты. Когда качели выравнивались, манекены снимали магниты, а черные старички — ребенка. Наконец манекены забрали десять мешков, вскочили в коляски и дикими вихрями понеслись в метель.

Возле витрин магазинов они осаживали коляски, входили и оживляли тамошних манекенов, влагая им во рты по магниту. И мчались опять.

Но близилось утро. Манекены спрятались в заброшенном доме, мимо которого была протоптана тропинка в школу. Барбяшки кишели снаружи. Если шел подходящий ребенок, они предупреждали о нем крысиным писком. Тогда вытягивались из окошка белые руки манекена и затаскивали ребенка. Когда накопилось десять детей, манекены заточили их в «Газ», а потом вернулись в витрину. Замок подпрыгнул и заперся, и тут же пробило утро.

Дидектор и Фамарь уже стояли у входа в магазин. Лишь приоткрылась дверь, они вбежали и сказали заведующему: верните нам нашу куклу, хотя бы на время. И Дидектор дал заведующему горсть драгоценных камней. Они взяли Мицель и унесли с собой. В подвале та выплюнула магнит, воскликнула: «Да это ужас какой-то!» — и рассказала все, что увидела.

Как разъярилась Фамарь! Грабли сами прыгнули ей в руки.

— Вперед! — закричала Фамарь и взмахнула граблями.

Но Дидектор удержал ее:

— Даже если мы превозможем могущество манекенов и одолеем их, то детей все равно не выручим. Нет, о Фамарь! Подкрадываться и подсматривать — вот наш удел сегодня, и тогда мы победим в битве, что грянет завтра!

И Фамарь ударила граблями о стену и, угрюмая, села, поняв правоту Дидектора.

Так Мицель стала жить двойной жизнью. Днем училась в школе и делала уроки, как все дети, а что ни вечер,

ее несли в «Детский мир», и она всю ночь неистовствовала в орде манекенов.

Зловещие манекены! Все больше и больше детей продавали они часовщикам и накапливали магниты. Каждая городская ночь была охвачена дрожью; иные манекены стали вылезать даже днем и разгуливать, притворяясь людьми. Но люди и не подозревали, что рядом с ними в метро, троллейбусе или на перильца бульвара присел жестокий манекен.

Магнитов уже накопилось столько, что манекены не экономили их и любили оживлять невинные изваяния для злобной своей потехи. Надо было только сунуть магнит и изругать изваяние, чтобы оно пробудилось злое и пошло все крушить и портить.

Мицель особенно жалела одного каменного льва. Манекены боялись до конца оживлять льва и только слегка поливали магнитной слюной, и лев видел страшные сны. Манекены же хохотали и барабанили по решетке ногами, чтобы сильнее помучить льва.

Еще одно любимое развлечение было у манекенов — причинять горе Гагарину. Этот огромный бронзовый мастодонт изображал первого человека, на камне внизу виднелась старинная надпись: «Гагарин — первый человек...» Давным-давно Гагарин стоял на земле, привольно откинувшись на яйцо, из которого явился миру. Погубила его любовь. Гагарин гулял по ночам и однажды забрел в сад, где увидел мраморную нимфу и полюбил ее. Каждую ночь приходил Гагарин умолять ее отозваться, но нимфа лежала бесчувственно под вуалями кленовой тени, в ветхих мантиях октября. Стал Гагарин носить ей букеты — рвал уличные фонари, принимая их за цветы, пока полгорода не погрузилось во тьму. Тогда приехали партизаны. Они вкопали посреди площади огромный столп и, зацепив Гагарина крюками небесных машин, воздели его туда. Теперь Гагарин не мог гулять по ночам и губить освещение, его удел был лишь вздыхать о любви и смотреть на планеты. Манекенам показалось забавным посмеяться над могучим Гагариным. Они пришли в сад, сунули нимфе магнит, разбудили руганью

и толчками и повели ее дразнить Гагарина. Нимфа плясала и с хохотом обзывала Гагарина, а манекены хихикали и подсказывали слова пообиднее. Гагарин стонал, молил нимфу о любви и проклинал манекенов, но сойти со столба не мог.

Однако тягостнее всего было то, что всякая ночь начиналась с продажи часовщикам десяти детей. Их горестные стоны совсем измучили Мицель. А у Дидектора так и не было плана, как вызволить несчастных. Пока что Мицель следила за манекенами изнутри их стаи, а дидекторские одежки наблюдали снаружи. Одни таились на крышах и высматривали пути манекенов в ночные бинокли, другие бегом докладывали Дидектору. И Дидектор знал все привычки движения манекенов, но все равно не мог выдумать верный план нападения. И неизвестно, сколько бы медлил еще Дидектор, если бы не внезапное событие.

Случилось вот что. Каждое утро на первом уроке Мицель писала Фамари большую записку обо всем, что происходило ночью, и это заметила Горшкова. Горшкова не любила Фамарь и боялась ее, а вот сейчас испытала любопытство. Перед уроком она согнала с парты мальчика, через которого передавалась записка, и уселась на его место. Перехватив записку, Горшкова прочла ее и узнала всю тайну. Тут же на перемене она побежала и рассказала об этом Заучу.

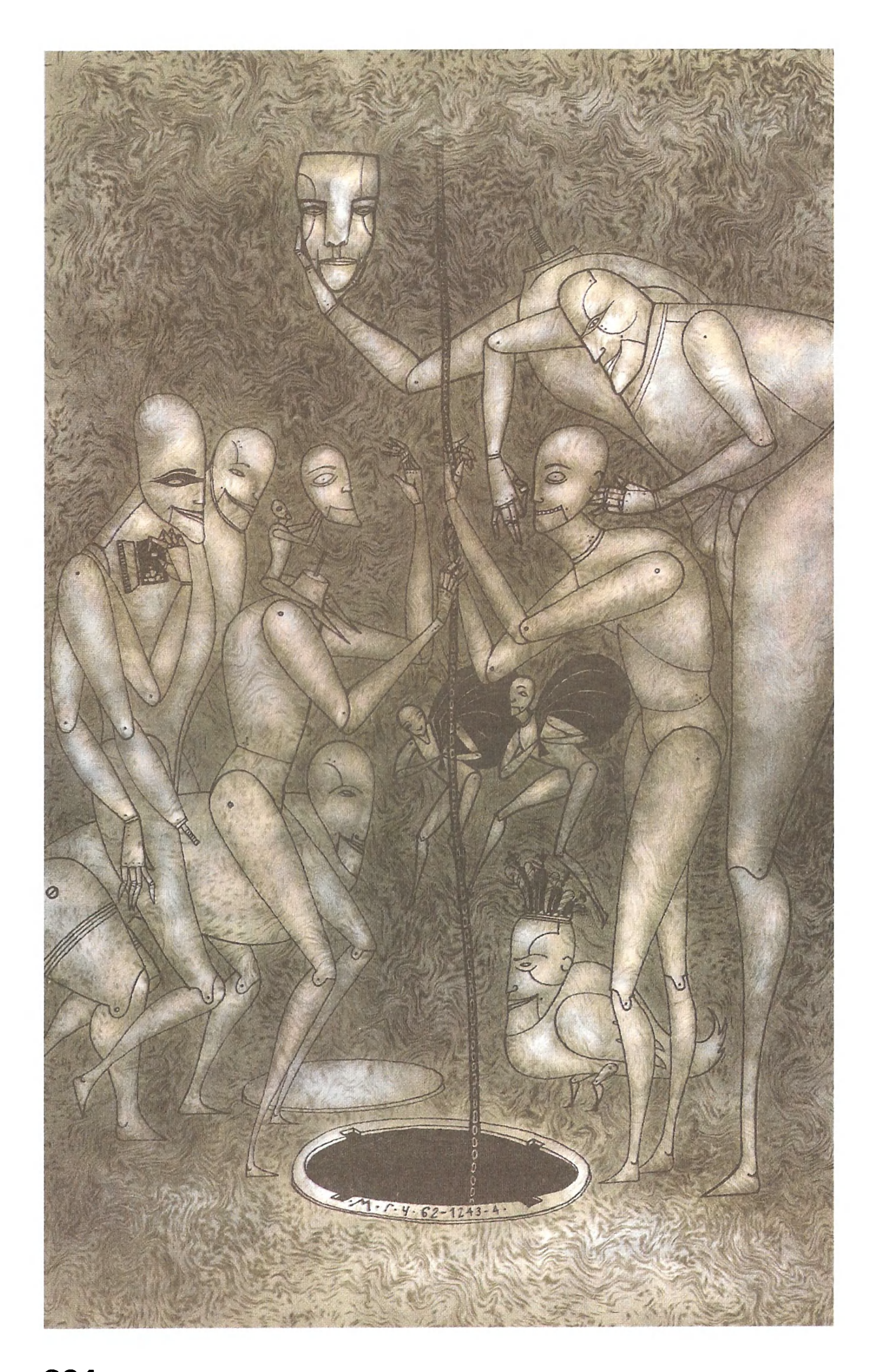
У Зауча с давних времен было особенное отношение к Горшковой.

Связал их обыденный случай.

Однажды у Зауча порвались колготки. Известно, что, если колготки порвались, это конец, их невозможно зашить, под иглой они будут безудержно рваться далее. Зауч это знала, но не совладала с гневом. Она отменила перемену до тех пор, пока кто-нибудь из детей не придумает, что тут поделать.

А что тут поделать? Дети и сидели в запертых классах.

Наконец поднялась Горшкова и объявила: я знаю, как починить колготки. Учителя-охранники не поверили, но взяли Горшкову и отвели к Заучу.


М·Г·Ч·62-1243-4·

— Анна Вадимовна, — сказала Горшкова, — колготки можно зашить, если делать это не нитками, а волосами. — И она склонила перед Заучем голову, предлагая свои волосы. А Горшкова была самая красивая девочка в школе и волосы имела белоснежно-голубые с золотом, как снег африканских гор на рассвете.

Заучу понравился совет. Она выдернула волос и приложила к колготкам, но волос не совпал по цвету: колготки-то были бурые.

— Что ж, — нашлась и сейчас Горшкова, — это не беда. Объявите общешкольное построение и подберите девочку с нужным цветом волос.

Зауч благосклонно отнеслась и к этому совету и нажала кнопку сигнала к общей линейке. Все классы выстроились в актовом зале, а Зауч ходила меж рядов и внимательно рассматривала девочек. Горшкова ходила рядом и шепотом советовала. Наконец подобрали подходящую девочку, и Зауч зашила свои колготки.

Ей так это все понравилось, что на следующий день она принесла остальные колготки, семнадцать пар, и вместе с Горшковой отобрала еще семнадцать девочек нужного цвета. Для удобства их объединили в отдельный класс. Они и учились, и делали уроки, и ели отдельно, а Горшкова была назначена над ними главной. Дважды в день она осматривала их волосы и опрятных награждала, а неряшливых наказывала. Зауч же была хоть и строга, но милостива к Горшковой и доверяла ей.

И вот, когда Зауч все узнала, помрачнела она и заперлась у себя. Долго она не выходила, и, чувствуя ее гнев, восемнадцать маленьких девочек дрожали от страха.

Наконец появилась Зауч с письмецом в руках. Она достала из сейфа барби-манекенчика, и барби надела крысиную шкурку, зажала письмецо своими белыми зубками и шмыгнула за дверь. Девочки поняли, что Зауч хочет предупредить манекены! Но что они могли сделать? Горшкова отвела их в пустой кабинет и заперла, велев до ве-чера двадцать раз расчесать волосы. И девочки тихо пла-кали и расчесывали волосы друг другу. А Мицель, ни

о чем не подозревая, как обычно, отправилась в свою витрину.

Но только настал час ночи и манекены ожили, Мицель поняла: что-то не так. Манекены не зарезвились сразу же, как бывало, а начали внимательно ощупывать друг друга. Дошла очередь до Мицели. Она закаменела, и манекены ее ощупали и не почуяли подозрений. Но, на беду, один манекен напоследок коснулся ее головы и громко заверещал! Оказывается, у Мицели немножко отросли волосы и на голове был маленький ежик. А они с Дидектором и забыли про это! Вмиг в Мицель вцепилась сотня манекеновых рук. Ее вынесли на улицу, отыскали колодец-колокол и пробили по нему тревогу. Потом отыскали магнитный глаз и показали ему Мицель. Потом отыскали грабежный колодец и заковали Мицель в золотые цепи. Потом выкатили коляски и понеслись к месту встречи с часовщиками. Ух, как сверкали голубые глаза манекенов!

А Дидектор с Фамарью ничего не знали, потому что ночные наблюдатели не разглядели с высоты связанную Мицель. Так бы и пропала Мицель в Часах, когда б не раздалось под дверями школьного подвала робкое постукивание.

Фамарь открыла дверь, а там стояли восемнадцать маленьких девочек и дрожали от страха.

— Вам что, мелюзга? — ласково прикрикнула на них Фамарь. — Что вы трясетесь?

— Нам Дидектора страшно, — сказала старшая.

— И Горшковой страшно, — произнесла средняя.

— А сильнее всех Зауча страшно, — прошептала самая маленькая.

— Эх вы, малявки, — сказала Фамарь, — нашли кого бояться, Дидектора. Да он чудак, каких свет не видывал, и только. Заходите, рассказывайте, что там у вас стряслось.

Но когда они рассказали, волосы у Фамари от ужаса встали дыбом.

— Измена! — закричала Фамарь. — Где Горшкова?

— Она в чуланчике, — сказала старшая девочка.

— Мы ее прыгалками связали... — пролепетала средняя.

— Мы ей мешок от сменки на голову надели... — прошептала самая маленькая.

— Ай да малявки! — вскричала Фамарь. — Сторожите ее пуще глаза, она нам понадобится!

И они вдвоем с Дидектором бросились выручать Мицель. Фамарь с граблями, Дидектор со шпагой в руках. Далеко перед ними бежал их топот.

Достигнув сторожевого дома, Дидектор крикнул:

— Эй, безглазые соглядатаи! Далеко ли манекены?

— В трех улицах! — закричали одежки с крыши.

— Спускайтесь, пустотелые! Пробил час возмездия!

И стало их десять. Пробежали они три улицы, и крикнул Дидектор:

— Эй, лоскутные изваяния! Далеко ль манекены?

— В трех домах, — ответили с крыши.

— Спешите! Настает минута громыханья!

И стало их двадцать. Пробежали они три дома, и Дидектор крикнул:

— Ну, двурукие-двуногие! Далеко ль манекены?

— Да в трех шагах!

— Прочь шепот и трижды ура! Грянул миг величайшей битвы!

И стало их сорок: шпага, грабли и тридцать восемь лыжных палок. Пробежали они три шага и попали во двор, полный шевелящейся жути.

А там уже черные старички выстроились полукругом возле качелей, и на одной ветви ужасных этих качелей сидела связанная Мицель, а на другой стоял целый короб магнитов, потому что манекены запросили за Мицель магнитов как за десять детей. И уж последний магнит клала трясущаяся лапка часовщика... но, не успев разжать пальцы, гадкий старичок вдруг упал, сшибленный ледышкой, брошенной Фамарью.

Воя от ярости, бежала впереди Фамарь, за нею Дидектор и еще тридцать восемь одежек. Сверкнула шпага Дидектора, и вопль первого манекена оцарапал ночь и исчез в звездной высоте двора. Тридцать девять стуков взлетели следом и тридцать девять воплей взвились как один. Лыж-

ные палки ударили в манекенов, и упали сломанные манекены.

Часовщики подхватили Мицель и бросились к часовне. Но Дидектор замахнулся шпагой и бросился к карусели! Шпага перерубила цепь, и лифт с грохотом провалился в подземелье. Заскрежетали зубами часовщики. Дидектор потянулся к Мицели, но стена манекенов поднялась меж ним и часовщиками. Размахнулся Дидектор, как дровосек, и брызги пластмассы сверкнули из-под шпаги, и крякнули о пластмассу подоспевшие грабли. А одежки похватали из короба магниты и стали кидаться. Магниты пробивали в манекенах огромные дыры. Оглушительно трещала пластмасса. Одежки запели победную песню...

И тут началась беда. Ведь манекенам было все равно, дырявые они или нет. Но зато от магнитов у манекенов страшно выросла сила. Те, что упали, поднялись. Они разобрали карусель на железные палки и раскрошили часовню на кирпичи. Сплотившись, словно забор, манекены двинулись на войско Дидектора.

Одежки бросились в бой, но силы были неравные. Козявочки-барби прыгали на одежки, перегрызали завязки шапок и ремешки штанов, и одежки рассыпались. Части их пытались биться, но обломки манекенов были сильнее. Ткань легче пластмассы и не могла ее одолеть.

Манекенов прибывало и прибывало: из всех городских витрин спешили они на помощь своим. И еще случилась беда: некоторые подбежали к колодцу-колоколу и пробили тревогу. Они вызвали скелетов из зоологического музея! Не прошло и семи минут, как послышался шум, будто катилась и близилась по улице огромная погремушка. Скелеты лосей, тюленей, слонов и жирафов бежали огромной стаей, а над ними летели скелеты птиц, летучих мышей, бабочек и стрекоз. Скелеты ворвались в арку и бросились сзади на войско Дидектора! Шпага, грабли и обломки палок обрушились на скелеты. И кости осы пали битву, как снег, но зубы и бивни пронзали одежду и рвали ее на клочки.

Тогда из толпы часовщиков раздался голос Мицели: «Фамарь! Беги за Гагариным!» Фамарь кинула Дидектору

грабли, а сама бросилась за подмогой. Манекены увидели это и пустились в погоню.

Город спал или притворялся спящим. Фамарь изо всех сил бежала по его переулкам и пустым площадям. Погоня постепенно приближалась. Темнота ждала Фамарь впереди, темнота нагоняла сзади, а помощи ждать было неоткуда.

Вдруг перед ней оказался сад, купол старинного здания, решетка и обрушенные ворота. В глубине что-то белело. Это был каменный лев, который стонал и ворочался во сне. Догадка осенила Фамарь! В кулачке ее был потный кусок магнита. Она обняла льва и закричала:

Милый лев, глаза открой!
Гады гонятся горой!

И положила в львиную пасть магнит. Лев открыл глаза и вздрогнул:

— Вот они, охотники кругом! Натянули острые сети для меня!

— Да это же просто столбы с решетками! — задыхаясь, объяснила Фамарь.

— А кто же кричал и выл?

— Это манекены тебя дразнили!

— Какие манекены? — грозно спросил лев.

— Да вот эти!

Как раз из кустов с воем и визгом вырвалась толпа скелетов с манекенами верхом. Заревел и бросился лев, махнул лапой, и самый большой скелет с пятью манекенами треснул, как соломенный.

— Скорее, бежим к Гагарину! — закричала в львиное ухо Фамарь.

Лев перенесся через ограду и поскакал по улицам.

Фамарь вцепилась в львиную гриву. Воздух надавил на нее, как резина. Улицы и переулки прыгали через голову. Погоня исчезла где-то вдали. И вот лев замер у подножия Гагарина.

— Эй, истукан! — звонко закричала Фамарь, гарцуя на льве. — Рыцарь ты или гипсовая афиня? Сабли наши затуплены, и грабли изломаны, и воины наши порваны и истреплены! Терпим мы натиск с десяти сторон, да не отступили и десяти шагов! Где же ты, чугунный воевода, что не спешишь нам на подмогу? Что ж ты считаешь никчемные светила, вместо того чтоб считать вражьи головы?!

— Увы, — вздохнул на высоте Гагарин, — как же я сойду со своего пьедестала?

Тогда Фамарь подняла на дыбы своего льва и принялась стыдить Гагарина.

— И ватные шапки, — кричала она на всю площадь, — и плюшевые шубейки сумели сойти со своих крюков, а чугунный Гагарин не может покинуть свой столб! Что ж, мы вернемся на поле боя, и я полягу со всеми, а ты стой вечно — ничтожный флюгер, потеха манекенов, площадная бирюлька, лысый поплавок!

Так она срамила Гагарина, а добежавшие манекены с жутким хохотом повторяли слова Фамари. Не стерпел тут Гагарин и затопал с отчаянья. От чугунного его топота затряслась колонна и немного погрузилась в землю. Тогда Гагарин затопал изо всех сил и втоптал всю колонну в землю, всю, до самой вершины, и сошел с нее. Ужаснулись манекены и бросились наутек. Но Гагарин схватил чудовищное яйцо, откуда родился, и метнул им вослед. Шар яйца покатился по улице с тяжелым гулом, раздавил манекенов, докатился до реки, упал в нее, проломив ограду, и река вышла из берегов. А Гагарин подхватил Фамарь вместе со львом и трижды шагнул через крыши. И оказался на месте боя.

А тут остался уже один Дидектор и одна одежка. Одинокие, они бились в толпе из тысячи врагов. И тогда Гагарин нагнулся, поставил Фамарь со львом на крышу, потом нагнулся, взял Дидектора с одежкой и тоже поставил на крышу, и в третий раз нагнулся, выщипнул Мицель из кучки часовщиков и тоже поставил на крышу. Остался под Гагариным только двор, полный часовщиков, скелетов и манекенов. Увидел Гагарин рядом стройку и дом,

запрятанный в зеленую сеть. Сорвал Гагарин эту сеть и набросил на двор и сгреб всех врагов в огромный узел. Только часовщики успели попрятаться в подземелья.

— Чего с ними делать? — спросил Гагарин.

Фамарь закричала:

— Их нужно судить судом, кровососов, да потом всем головы поотрубать качелями!

Но Мицель сказала:

— Нет, это нехорошо. Нужно просто повынимать магниты, и они опять станут куклами.

Так они и сделали.

А потом простились с Гагариным и посоветовали ему подождать, пока у нимфы рассосется магнит и она уснет, а затем снова разбудить, но уже ласковыми словами. И Гагарин ушел счастливый. Собрав остатки платяной армии, дети и Дидектор вернулись в школу. Уже наступило утро.

Они открыли кабинет Зауча, где Зауч всю ночь не спала и тряслась от злости.

Фамарь сказала:

— Эх вы, взрослая дама, а такая вредная! Ну-ка, прикажите часовщикам, чтобы немедля выпустили детей!

Зауч притворилась:

— Каких еще детей?

Но Фамарь подскочила к ней и крикнула:

— Хорошо! Тогда Горшкова останется у нас в плену. А вы навек останетесь со своими рваными колготками!

Зауч злобно застонала, схватила трубку черного телефона и приказала сквозь зубы:

— Всех выпустить!

И кинула трубку, и с ненавистью спросила:

— Ну что, достаточно? Могу я получить обратно свою Горшкову?

— Нет, — ответил Дидектор, — сперва извольте вдвоем с Горшковой починить все одежки, которые по вашей вине разорваны.

— И пускай шьют своими волосами, — закричала Фамарь, — пускай обе будут лысые!

Но Дидектор запретил. Он дал Заучу и Горшковой ка-

тушку ниток и запер в подвале, чтобы шили там, пока не станет все целое.

А потом они пошли на детскую площадку, где недавно кипела битва. Взошло солнце и осветило сломанную карусель, истоптанный снег, магнитные осколки, обломки пластмассовых тел. Дидектор, Мицель и Фамарь стояли, усталые и израненные, и улыбались солнышку. И вот из развалин будки стали выходить дети. Все они были бледные и слабые, но смеялись от радости.

Манекены с тех пор уже не бегали стаями, потеряв силу. Лишь одинокие манекены рыскали порой по ночам. И все-таки Дидектор призвал детей помнить о жестоких часовщиках, которые найдут другие способы воровать детскую жизнь. И Дидектор вместе с одежками и другими детьми наделали множество треугольных знаков «Осторожно, дети!». На них был изображен часовщик, который гонится за ребенком. И эти знаки одежки развесили на дорогах возле всех школ, чтобы дети, которые не попали к часовщикам, всегда были осторожны.



часть третья

в поисках паровоза

глава первая

пламя пожирает директора

«Восемнадцатый день, как мы в пути. До обеда пересекали пустынные земли. Были подобраны партизанами, как называет их И-ва, часть пути проехали на грузовике. П-ны здесь так наивны! Один на вопрос, как отыскать елочную свалку, отвечал минут пятнадцать, так что можно было проткнуть его шпагой 15 раз. День угасает, вокруг нас свалки. И-ва два раза не ела. Вечером объяснить ей, что ее еда — ее война. Сказать: каждый проглоченный тобой кусок пищи встает поперек горла часовщику. Подбодр. ее *(зачеркнуто)*. Просто разговаривать с ней: да, нет, как дела *(зачеркнуто)*. Не думать о ней *(зачеркнуто, написано еще раз, зачеркнуто повторно)*».

Мишата закрыла директорский дневник и положила обратно под себя.

Старая пнина загоралась скверно, дымила, тлела. Мишата решила вырвать из дневника несколько чистых, неисписанных листов. Она свернула листы в трубку и подсунула под еловый хворост. Костер потихоньку принялся, и она придвинула к огню ноги.

Направо и налево лежали поля, косо освещенные вечерними окнами неба и горящие золотом на снеговых изгибах. И столь же ярко вспыхивали в лежачем солнце обледеневшие края Мишатиных юбок. Впереди, сразу в двух шагах, начинался квадрат Б-12 — лес прошлогодних елок.

Только немногие елки росли вверх вершинами, как положено, и располагались рядами, воткнутые натруженной рукою не потерявшего совесть партизана. Большая же часть была свалена грудами. Громадные остовы висели, не касаясь земли, удерживаемые упругим коконом ветвей. Тонкие, словно паутина, ветки перепутались

навсегда. В дымном их сумраке едва поблескивали елочные дождинки.

Мишата изогнулась как могла и сломала еще ветвей. Из середины костра еле расползался дымок. И дуть было теперь бесполезно. «Последний лист еще, и хватит», — сказала себе Мишата, вынула тетрадь и прочла еще: «Двести четыреста игрушек осмотрено за одиннадцать дней! Неудивительно, что у нее изможденный вид. Но мне до этого нет дела».

Мишата вырвала лист, скрутила его в жгут и, встав коленями на тетрадь, вкрутила его в глубь кучи хвороста. Потом стала сильно дуть вовнутрь. Огонь заныл и устремился на глубину. Заметались шумы и трески, молодой дым щипнул глаза.

«Наконец-то», — подумала Мишата и вдруг застыла.

Кто-то появился за правым ухом.

Нога Директора поднялась и опустилась на костер, костер просел до половины и засипел, задохся.

— Я знал, — произнес тяжелый голос, — что зрелище беспечности партизан тебя расслабит и ты забудешь про опасность.

— Как обход? — спросила Мишата, отряхивая колени.

— Лес тянется шагов на пять тысяч вдаль. При этом на осмотр у нас не больше пяти дней. Готовься, надо будет хорошо поработать головой. Ты полчаса отдохнула. Теперь идем в глубину, устраиваться на ночлег.

Не дотоптав костер, он поднял лежащий в стороне велосипед и с саквояжем в руке, с зонтом под мышкой пошел по заметенной дороге, еле заметной среди елей. Тогда исчезло наконец солнце. Поля с чернеющими секторами свалок, такими громадными, что издали казались перелесками, угасли. Сияли только трубы на горизонте. Дальше к северу рябил оставленный город, над ним еле двигались тяжелые тучи. Фабрики окружали горизонт как забор. Тьма уже прилила к огромным цифрам «1», «2» и «3», что опоясывали трубы посередине. Далеко внизу под нумерованными трубами шумела дорога, забитая

рядами неуклюжих машин. Их было два вида: оранжевые грубияны, досыта набитые мусором, и багровые автобусы, где в ящиках лежали пустые оболочки людей, высосанных Часами. Город изрыгал на окраины отходы своего дня. Сколько хватало глаз, тянулись колонны этих машин, перепачканные дымом, криком, бранью партизан и шоферов. Мишата углублялась в лес, и шум постепенно глох, но так и не исчез до конца, сохранившись как свойство здешнего неба.

Директор двигался неэкономно, обрушивая на препятствия все туловище, проламывая, раздвигая, топча. Когда велосипед застревал, Директор, вместо того чтобы отступить и высвободить колеса из ветвей, наоборот, налегал с удвоенной силой, так что елки гнулись, трещали, выворачивались из снега и осыпали Мишату. Дорога между тем окончательно исчезла, и путники лезли совсем уже через чащу.

Но вот впереди появился просвет.

Елочная глушь расселась вокруг Директора, и, выглянув, Мишата встретилась с ледяным взглядом воды.

Она журчала в полыньях на дне снегового овражка, ласково огибала автомобильные шины, пронизывала кроватные сетки... Лес, обрываясь над водой, сразу же начинался на другом берегу. Некоторые елки, не удержавшиеся на краю, лежали прямо головой в тихо бормочущей воде, другие протянули свои зыбкие тела поперек овражка. Пряди елочного серебра легко развевались на закатном ветру. Апельсин и лимон сгорали на небе справа. В полынье мелодично позванивала льдинка, и Мишата закрыла глаза. Призрачные виденья стали медленно затоплять ей голову. Волна озноба, жуткой и сладостной дрожи хлынула по спине, ударила в затылок, подкосила ноги... Понеслись легчайшие наброски комнат, хрусталей, кондитерских жарких запахов, серебряного позванивания, густых мелодий и голосов. И чем они делались яснее, громче, тем легче делалась Мишатина голова, невесомее, невесомее, как воздушный шар, и тело теряло в весе... Но тут колени ее стукнулись друг об друга, паль-

цы левой руки согнулись, погрузились в снег, и она очнулась. На светящемся снегу оврага шатался Директор, огромный, черный, растопыривший крокодильи руки. Он пытался подобраться к упавшему цилиндру, который лежал возле самой воды. Качаясь на одной ноге, Директор зацепил цилиндр рукоятью зонта. Мишата слабенько улыбнулась. Цилиндр вернулся на голову.

— Здесь можно перейти, — объявил снизу Директор, — заночуем на той стороне, в овраге сквозняк.

«Да, — сама себе сказала Мишата, — тут нельзя останавливаться. Никогда не понимала зимней воды, спящей с открытыми глазами. Возле нее, наверно, холодно ночевать».

Но, перебираясь через овраг, Директор все-таки провалился в воду — и велосипед намок, и рюкзак.

Пришлось развести костер. Мишата разгребла снег, которого тут было по колено, и докопалась до земли.

На этой земле, а вернее, на сморузлом и ржавом слое хвои разожгли костер, подгребли несколько елок, чтобы прилечь, поставили велосипед для защиты от ветра.

Все делали молча. Директор вынул половину оставшейся со вчерашнего ужина утки и разогрел, нанизав на проволоку. Потом они ели, отрезая куски Мишатиным ледяным ножом. Этот нож самозатачивался, непрерывно подтаивая в горячем веществе, и, имея всегда остроту лезвия ровно в один атом, рассекал кости, словно воздух. Мишата, поработав ножом, передавала его Директору, и тот брал, стараясь не коснуться ее пальцев. А когда наставала пора отдавать, он не протягивал Мишате нож, а клал рядом на снег.

А потом они долго сидели, уткнувшись взглядом в огонь. Брюки Директора висели на проволоке, вывернутые наизнанку, обстреливаемые еловыми искрами. Мишата увидела, что директорские карманы пятипалые, сделанные из вшитых целиком перчаток. Пальцы топорщились, и брюки шевелились в дыму, словно нелепая дичь. Директор порой вставал, осторожно ставя костлявые лошадиные ноги, и поворачивал велосипед другой

стороной, чтобы тот оттаивал равномерно. И снова сидели тихо.

— Не сиди, — сказал наконец Директор своим коленям, — ложись спать.

— И вы ложитесь.

Директор повернул к ней освещенную половину лица:

— Если мы ляжем оба, кто останется сторожить?

— Но ведь вам надо поспать.

— В середине ночи я тебя разбужу, ты подменишь.

— Ну уж нет, — сказала Мишата, — вчера вы говорили то же самое, а в результате я спала всю ночь, а вы бодрствовали.

— Мне было необходимо дать тебе отдохнуть, — сухо объяснил Директор. — Ты ищешь паровозик, тебе нужно иметь ясное сознание.

— А вам не нужно ясное сознание? Это вы за все в ответе, не я. Вам нужно о себе заботиться не меньше, чем обо мне.

— Что, дитя, — тяжело усмехнулся Директор, — опасаешься, у меня помутится разум?

— Конечно, нет, — серьезно ответила Мишата, — просто я не хочу, чтобы вы меня обманули и не спали вторую ночь. Вам будет плохо, а я не хочу быть с тем, кому плохо. И потом, — добавила она, — я считаю, сегодня можно и не стеречь. Партизаны не знают леса и боятся его. В своей одежде они живые мишени. По лесу ко мне никто не подберется незамеченным. И вообще, партизаны, я давно убедилась, беспечны во всем...

— Опять просторечия, опять эта дикарская легкомысленность, — сморщился Директор. — «Партизаны», «беспечны»... Хоть мы не в городе — да! — не забывай, Иванова, мы в окраинных землях, где зло ослаблено, но добрые силы отсутствуют вовсе. И потому даже слабое, сравнительно с городом, зло царствует тут, царствует тут...

Он сказал это и замер, подняв кверху замерзший перст, со значительностью глядя на Мишату. Та задумчиво сжимала и разжимала над огнем пальцы босой ноги.

— Знаете, — сказала она печально, — сегодня при

солнце некоторые из них даже не казались особо ужасными. Обычные жильцы. А сварщики утром под мостом? Пока мы брели, я все думала о них. Всю жизнь они сваривают, соединяют, скрепляют. Они каждый вечер ложатся спать с сознанием того, что за спиной еще один день, после которого мир стал еще немного крепче и целей. Вот хорошо!

Директор повернулся к ней целиком, с костлявыми ногами, во фраке, лохматый, смешной с правой стороны, где костер, и страшный слева, где тьма. Он произнес сумрачно, с силой:

— Что же ты за неведомый случай, Иванова? Тяжело с тобой, Иванова. Которая никогда не жалуется, никогда не обижается, не устает, не грустит, всему на свете рада, даже партизану, и на все на свете готова: хоть целую ночь не спать, хоть погибнуть в битве с Часами... И лицом при этом не дрогнет, и с улыбкой своей не расстанется... Что это? Тайна природы, чтобы удивить нас, или укор природы, чтобы нас терзать?

Мишата подобралась к нему ближе. Выражение его лица заставило ее встревожиться. Она приложила кончики пальцев ко лбу Директора. Тот слегка вздрогнул и отстранился. Лоб горел.

Мишата сказала:

— Есть часовой магнетизм, а есть обратная тяга. Это как попутный ветер. Ветер постоянный. Он дует в сторону родины и принесет меня туда. И вы его тоже чувствуете, он и вас несет тоже. Он сильнее магнетизма, и все это знают. И я знаю и не забываю никогда, вот почему мне не бывает по-настоящему плохо.

Директор улыбнулся одними губами. Мишата перевела дух и добавила:

— Если вам, чтобы чувствовать себе лучше, надо увидеть во мне что-нибудь нехорошее, подумайте о том, что я никогда не испытываю жалости, ни к кому и ни к чему. И еще — я не умею прощать. Забывать зло. И мне ужасно не нравятся больные. Пожалуйста, поэтому лягте, завернитесь в одеяло. И я лягу.

Директор, безжизненный и хмурый, лег.

И Мишата прилегла на елки. Костер был жидкий и обещал еще минут сорок тепла, не более. «Ну и ладно, — подумала Мишата, — мне костер особо не нужен, а Директора я все равно не заставлю спать. Он и сходит по дрова».

И она легла правильнее и задремала.

...Во сне она снова ехала через свалки, ехала почти до заката — еще тягостнее, еще неудобнее. Грузовик швыряло с боку на бок, чахоточный дым забивался вовнутрь. Мишата сначала кашляла, потом привыкла, потом почувствовала, что голову словно сжимает чугунный шлем, и опять начала кашлять. Было непонятно, почему такое удушье, откуда весь этот непреодолимый смрад. «Горят колеса», — объяснила себе Мишата и попыталась отвернуться от дыма, закрыться одеждой. Но удушье не отступало. Вдруг Мишата совсем проснулась и села. По ту сторону потухшего костра, одновременно с ней, выпрямился Директор. В воздухе было полно дыма. Костер давно потух, но глубина леса медленно затоплялась багровым туманом. Мишата оглянулась, и Директор тоже. Зарево обступало их. Тонкое черное кружево ближних елок дрожало на розовом фоне.

— Сейчас, — сказала тревожно Мишата, — вы скажете, что партизаны нас все-таки выследили и подожгли лес. И что виноват в этом мой вечерний костер. Но я считаю, костер тут ни при чем. Кто-то следил за нами от города. Кто же знал, что они такое выдумают! Зато мы поспали в тепле...

Но Директор не говорил ничего. Мечась вокруг, он хватал предметы ночлега и засовывал их в рюкзак. Вдвоем таща велосипед, они бросились туда, где чернел еще не занятый пламенем лес.

Но они не успели: черный проем впереди растаял, а по сторонам краснота придвинулась, и уже проскакивали в ней золотые блестки. Директор с Мишатой остановились. Навстречу им поднимался треск, как от громадного колеса, едущего по сушеным костям. Не хотелось

идти туда, навстречу. Обернувшись, Мишата увидела, что стволы только что покинутого леса уже окрашиваются в цвета брусники.

— Ах, сандалья, — невольно вырвалось у Мишаты, и она, спохватясь, взглянула: не слышал ли Директор? Но он стоял, тяжело дыша, все его морщины дрожали.

Бережно, словно к драгоценной вазе, он протянул к Мишате обе руки и, подхватив, усадил себе на шею. Пошатнувшись от тяжести Мишаты, рюкзака, велосипеда и саквояжа, Директор выкрикнул проклятие и, обнажив зонт, зашагал навстречу пламени.

— Михаил Афанасьевич, — пронзительно крикнула Мишата, — к реке! К реке! Это правее!!!

И она развернула директорскую голову за поля цилиндра, словно рулевой. Бешено молотя заросли, Директор стал ломиться в нужном направлении.

Лес был освещен теперь так ярко, что у всех елок появились дрожащие в ужасе красные тени. На месте дальних елок один за другим стали возникать букеты золотого пламени. Треск переместился и заглушил прочие звуки.

— Левее! Еще левее! А то отрежет, отрежет нас! — кричала Мишата, задыхаясь, кашляя, колотя по цилиндру Директора.

Он бросился в самую гущу елок, но тут из них выросла занавесь дыма, а потом тьма его порвалась, и веселые лохмотья огня ударили навстречу путникам. Директор невольно отступил от невыносимого жара, повернулся и побежал назад, но пламя шло и оттуда стеной. Директор завертелся и заплясал на месте, пойманный, ослепленный огнем.

— В снег! — пронзительно закричала Мишата. — Бросайте меня, зарывайтесь в снег!

И прыгнула.

За секунду перед прыжком она заметила слева темную область, не подверженную огню.

То была громадная башня елки, вздымавшейся надо всем лесом. Небольшая снежная опушка, окружающая елку, к счастью, пустовала. Но огонь уже полностью объ-

ел лес вокруг, и оттуда поперек опушки стали валиться деревья, одно за другим, и по ним, как по мостам, огонь побежал на огромную елку.

— Кремлевская! — громогласно объявил Директор, поднимая безумную руку. — Мы в самом центре леса!

Голос его был смыт волной грандиозного гула. Подожженная с десяти сторон, кремлевская елка превратилась в огромную пылающую свечу. Словно солнце взошло над ночной равниной.

И, не выдержав своего превращения, елка пошатнулась и стала медленно падать. Мишата вцепилась в Директора, чтобы повалить его в снег, но тот оттолкнул ее, и она упала.

Он наступил на нее ногой, не давая подняться, а сам замер во весь рост с велосипедом, поднятым на вытянутых руках. В последнюю секунду Мишата разглядела его лицо, хмурое, капризное, с по-детски выпяченной губой. Пылающее небо обрушилось.

Но Директор не упал.

Елка свалилась сбоку, только хлестнув по нему огненными ветвями.

Тогда Мишата из-под ноги Директора стала кулачком бить его по дымным коленям. Но тут что-то обжигающее рухнуло между ними, и Мишата, извернувшись всем телом, ушла на снежное дно.

Снег, облепивший ее, моментально растаял и пропитал одежду живительной влагой. Мишата открыла глаза, больные, кислые, слепые, и снег промыл их и исцелил.

Мишата тихонько поползла туда, где, по ее подсчетам, лежал Директор. Судя по нарастанию в окружающей мути закатных тонов, пожар усиливался. Когда наверху опрокидывалась ель, Мишата видела чуть различимое движение теней в снеговой толще, а потом чувствовала толчок. Раскаленные головешки медленно опускались, прожигая себе дорогу. Потом она попала на мелкое место — макушку моментально припекло до боли. К счастью, дальше оказалась глубокая впадина.

Рванувшись в нее, Мишата остудила горелую макушку, но потеряла направление. Между тем спине делалось тепло, потом теплее, потом горячо и еще горячее. Снег все оседал и уплотнялся.

«Дышать уже нельзя, — сказала себе Мишата. — Что же, потерплю, сколько получится». И она попыталась прекратить в себе всякую жизнь, даже мышление, чтобы только на подольше растянуть оставшийся воздух. Потом мир вокруг Мишаты стал угасать. «Или это пожар кончается, — сказала она, — или я... Пора».

И она села. Воздух хлынул в нее со всех сторон, перемешанный с пламенем, темнотой, дымом и пеплом. Пока он со свистом рвался в нее через все отверстия, она сидела ошеломленно, но когда наконец давление воздуха внутри нее и снаружи пришло к гармонии, она стерла с лица снежную кашу и осмотрелась.

Пожар откатился дальше, в сторону, раскинув, сколько хватало глаз, рубиновый ковер. Лес исчез, и ночной ветер ходил теперь свободно, раскаленными волнами горяча уголья. Елки догорали на весу. Тлели останки бумажных серпантинов и рогатые флажки, шевелился снег, он был засыпан пеплом, пепел также покрывал лужи, и нельзя было отличить твердь от лужи, пока ветер не возбуждал рябь. Все время попадая в лужи, Мишата нетвердо пошла отыскивать Директора.

Почти сразу на глаза попался пузырь, по поверхности которого причудливо извивалось тление и испускало ядовитый туман. Это догорал рюкзак.

Мишата упала на колени и принялась отгребать горячий снег и пепел, пока не появилась сначала рука в обугленном рукаве, потом плечо, шея и наконец мокрый зажмуренный глаз.

Директор лежал живой, но без сознания. Ветер дул на его обтаявшую голову и холодил ее.

«Скоро очнется», — подумала Мишата, а пока стала собирать что могла: и зонт нашла, и велосипед, и саквояж. Все было цело, только у велосипеда сгорели оболочки колес и немного — сиденье.

Она отволокла все это поближе к Директору и заглянула в ямку. Один глаз был уже приоткрыт и моргнул.

Мишата присела.

— Михаил Афанасьевич! Мы спасены!

Глаз смотрел сквозь нее, припоминая. И вдруг заволокся сумраком. Директор закрыл свой глаз обратно.

— Чего это вы закрыли! — затормошила его Мишата. — Открывайте! Все кончилось!

Но глаз закрывался все горестнее, все крепче.

— Вы жалеете паровозик, что ли? Не надо! Его тут, может, и не было! А мы спасены!

— Мы погибли, — прохрипел из-под снега Директор.

— Ну что вы! Поднимите голову, посмотрите — пожар перестал.

— А я буду гореть вечно!

— Да что же это! — вскричала Мишата. — Или вы хотите, чтобы нас поймали? Они зажгли лес, чтобы нас погубить, и теперь обязательно пойдут искать наш пепел. Надо уходить, и поскорее, здесь становится опасно.

Тогда наконец-то Директор сел. Хватаясь за воздух, нащупал ноги и выпрямился. Огляделся. Молча указал на велосипед, саквояж и зонт. Подобрал и навьючил все это, пошатнулся и побрел прочь, давя потухающие угольки, увязая в горелой смеси. Цилиндр его поник. Мишата ступала следом, осторожно прислушиваясь.



героям приходится забыть об отдыхе и разбить стекло

Мир лежал в беспамятстве ночи. За спиной в полгоризонта стояло багровое зарево.

Пылало восемнадцать секторов свалок, обочины дорог, перелески, мусорные хребты, масляные ручьи. Долина медленно затоплялась коричневой водой. Ветер гнал через холмы лохматые дикие табуны пламени. Гул поднимался в небо, смешанное из черного и розового дыма.

А спереди, из тьмы, с горизонта, вытягивался угрожающий вой. Вдали, у перелеска, выползли лучи света и синие вспышки. Вот они скрылись, появились опять... Огни выскочили впереди, за ними еще и еще... Путники бросились в сторону, в снежную канаву.

Другого укрытия не было. Внутренний склон канавы хранил изогнутую тень, недоступную свету с дороги. Мишата, не повредив нежную поверхность сугроба, прыгнула и вонзилась в самую середину тени. Но Директор зацепился ногой за дорогу и упал поперек, пробив сугробий хребет. Велосипед остался на дороге. Директор закричал, но вой партизанских машин утопил его крик. Мишата распласталась по стенке канавы, стараясь сплющиться, сколько возможно, и приоткрыла правый глаз.

Ночь над головой лопнула. В воздухе летел велосипед, поворачиваясь с боку на бок. Громадные кубы машин стали перелетать через Мишату. Вой их был невозможен. Сквозь фонтаны безобразного снега мелькала кровавая броня бортов с намалеванными белой краской знаками и заклятьями, на крышах поворачивались смертоносные трубы, извивались черные змеи шлангов, а между ними ослепительно вертелись мельницы синего света. Секунды вытянулись и медленно рвались, как резина,

и Мишата ждала, что вот ударят тормоза и со скользящих машин посыплются топоты и крики партизан... Но машины промчались мимо, и ночь начала медленно сворачиваться назад, меркнуть, тухнуть, опадать... Велосипед рухнул в снег.

Спустя еще минуту они шагали, трусили, бежали на цыпочках по дороге. От усталости Мишата шаталась, и Директор шатался тоже. Он пробовал катить велосипед, но тот, изогнутый и помятый, все время съезжал в канаву, словно испугался навсегда и мечтал лишь об укрытии.

— Скоро они приедут на пожар, — сказала Мишата, — и обнаружат, что нас нет.

— Да, — ответил Директор.

— Тогда они бросятся в погоню.

— Да, — сказал Директор.

— Нам надо срочно искать укрытие на день. Но я боюсь, здесь нету укрытия.

— Нет.

— Значит, остается бежать быстрее.

— Бежим.

И они побежали быстрее, быстро, как только могли.

Но безнадежен бег по декабрьским пустырям. Их просторы подымаются и тянутся к небу, словно равнодушные ладони, предлагая двух иззябших и обугленных путников любому глазу, что пронзает окрестность.

Теперь Мишата с Директором знали, кто устроил на них охоту. Красные партизаны! Поработители пламени! Свирепый партизанский род, от одного упоминания которого трепещут жители развалин и недр! Сейчас, облаченные в несгораемые шкуры и белые черепа, партизаны душили огонь и рыскали среди елок, а может быть, уже перегородили дороги, окружили поля.

До Старого города, в котором можно найти безопасное укрытие, оставалось не меньше двух дней невыносимых тягот, и эти два дня предстояло провести в пустынях и бесплодных землях мертвого города, спального города, населенного партизанами и рабами Часов, что живут не просыпаясь.

Они шагали, пока над фабриками и могильниками восточной стороны не открылась зеленая щель для утреннего ветра. Все чаще стали перекрякиваться над полем вороны. Директор, упав в шестидесятый раз, так и остался на четвереньках.

Пряди его длинных с проседью локонов облепили потные провалы лица, но сам он трясся от холода. Мишата посмотрела назад, на борозду следов Директора, которая постепенно уменьшалась вдаль, но никак не могла скрыться из глаз, опять и опять возникая на склонах пригорков, бесконечная, как бормотание сумасшедшего.

— Я придумал, — сообщил Директор в сугроб. — Сейчас мы пойдем на станцию и сядем в поезд. Да-да, сядем в поезд. Опасно, самоубийственно? Не перебивай. Этого от нас никто не ожидает, никто. Они думают, мы слишком хитрые, чтобы решиться на безрассудство. Мы воспользуемся их заблуждением. Вставай. — Хотя Мишата стояла. — Вот так и вот так. Вперед, вперед.

Он покачнулся туда-сюда и, перебрав тяжкими ногами, пошел.

К рассвету они добрались до пустынной, полностью обесцветившейся за ночь станции. И сели в подошедший поезд. Сначала устроились на велосипеде, но было неудобно, да и земляки обращали внимание. «Будем как жильцы», — приказал наконец Директор и уселся прямо на лавку. Мишата рядом.

Директор дрожал от напряжения, как барабанная шкура, а Мишата вдруг успокоилась. Настолько, что глаза немного скисли и в правом защекотала слеза. Но Мишата сжала веки, раздавила слезу и размазала по щеке.

Поморгав, она стала смотреть, как убегают и исчезают в окне навсегда тоскливые виды.

Несмотря на ранний час, в вагоне набралось множество земляков, и некоторые уже стояли, не добыв себе места, — всех спозаранку гнала куда-то беспощадная воля Часов.

На горизонте медленно появились дома и поплыли мимо — плоские, в мелкую клеточку светящихся окон, похожие на огромные настольные игры с беспорядочно брошенными цветными фишками. Ближе к насыпи железной дороги тянулся другой город, из бесчисленных жестяных избушек, где содержались автомобили, рабы людей. Земляков набивалось все больше. Директор нашарил под лавкой и протянул Мишате мелко исписанный лист — газету.

— Читай, — велел он полушепотом, — все это делают, а мы нет, на нас и так посматривают. Лица заодно прикроем.

Мишата взяла газету, но читать не стала, а прижала виском ледяное стекло и попробовала, прикрывшись газетой, дремать.

Рассвет холодил ей голову, и, забываясь, она видела другой рассвет, сырой и оттепельный, рассвет того дня, когда они с Директором только начали путешествие. Директор тогда еще был другой, не этот угрюмый чудак, а тот, что представал в сказках и легендах — поэт-император, великий и могущественный. Он сиял радостью, наблюдая за Мишатой, берег ее и восхищался ею... Он не мог пройти мимо водосточной трубы, не выколотив из нее зонтом ледяной обвал... Он постоянно менял маршрут путешествия. Мишата вносила изменения в карте, расстелив ее на директорской спине, карандаш продавливал сырую бумагу, ветер заворачивал углы. Воробьи засыпали чугунные ограды, как пригоршни гречки, а по тротуару ходили голуби, видимо, за тысячи лет городского житья принявшие цвета раннедекабрьского асфальта — белое, серое, белосерое... Ледяная глазурь покрывала тротуары; бродячий продавец зеркал поскользнулся на круче Даева переулка и разбил товар. Осколки зеркал ехали вниз по льду, в них бледно вспыхивало небо, кружилась Мишатина голова...

По всей длине дорога блестела, стояла на собственном отражении, только мутном, словно палитра, где подбирались по очереди цвета окружающих зданий...

На Красной площади, главной площади города, при входе увидели вечных солдат у огня, а потом увидели, как бьют сосульки: один партизан спускал с крыши веревку, на середине ее имелся одудок чугуна, а нижний партизан с лестницы взмахивал концом веревки и бил одудком в огромные многорогие стинцеи, висящие над карнизом второго этажа. Ледяные осколки летели вниз, а удары в дом совпадали с ударами огромных башенных часов. Мишата сначала даже вздрогнула от колокольного отзыва дома, а Директор сказал: куранты оттепели. Но Мишата не могла терпеть злодейства. Она кинулась и ледяным ножом отрубила у лестницы перекладины, партизан закричал «а-а-а-а», но не упал, а полетел, полетел горизонтально над крышами. Директор с Мишатой бросились бежать.. И как весело было, как смеялся и сердился, поскальзываясь, Директор, как легко ему верилось, что они вдвоем с Мишатой немедленно отыщут паровозик, наверняка он на елочных свалках, а может, под землей, но он найдется, и сколько будет впереди чудесных приключений, а тоски, ужаса, изнеможения не будет... не будет... «Я посплю, посплю сейчас и опять от них вылечусь», — строго кивала себе Мишата. Но ей дали поспать минут восемь, не больше.

Ощущение беды, словно сквозняк, прохватило ее навылет.

Беда приближалась неумолимо. Беда хлопала дверями вагона, беда пускала шепот и оживление в толпу жильцов, поворачивала лица и вытягивала шеи, гнала сквозь вагон к спасительному выходу.

Директор привстал. Мишата дернулась было, чтобы оглядеться, но Директор придержал ее и сунул зеркальце заднего вида. Она подняла зеркальце помертвевшими пальцами и, немного повращав, вдруг столкнулась с безжалостным глазком болдуина. Тот шел в проходе, тусклый, всезнающий, и толпа с почтительным шорохом расступалась. Миг — и стальные орлы болдуинской формы проплыли мимо Мишаты, и бежать было поздно. Она поглубже всмотрелась в зеркальце. Там шли еще двое — болдуин и вооруженный пограничник.

— Как же они догадались? — удушливо произнес Директор. Его пальцы, дрожа, еле вращали рукоять зонта.

— Вряд ли догадались, — быстро прошептала Мишата пересохшим голосом, — видите, до чего скучные. Обычная проверка, я такую видела... Они не знают, что на нас наткнутся...

Директор кивнул. Он встал, она тоже встала не раздумывая. Он указал ей на саквояж, а сам потянул велосипед. Она послушалась. Облизнула сухие губы. Хорошо, что их всего трое. Вдруг ей на миг припомнилось, что впереди мелькал еще оранжевый жилет. Четверо? Толпа загораживала, не давала рассмотреть. Мишата втиснулась за велосипедом в самый проход и, вытянув шею, исподтишка бросила взгляд: нет, это не с болдуинами, это какой-то сам по себе дремлющий партизан. Сразу стало как-то легче, но ослабли ноги, и, как пот, выступила на всех внутренностях тошнота. Так стало скверно Мишате и мутно, так задохнулся пустой желудок, что она, может, и пошатнулась бы, не будь кругом тесной толпы.

— Готовься! — приказал, полуоборотясь, Директор.

Почти перед ним, на расстоянии двух-трех земляков, двигались фигуры врагов.

Директор протискивался направо, начиная обход болдуина. Тот занимался изучением бумаг какого-то земляка. На миг показалось: пройдем!

Но пограничник, подпиравший болдуина, протянул руку и ткнул пальцем во фрак Директора:

— У вас что, мужчина?

Спросил, закрыл рот и за остаток секунды, протяженной, словно осиновый клей, Мишата протиснулась мимо велосипеда и встала у Директора под левым боком, пальцами чувствуя лед ножа.

Директор выдвинул Мишату перед собой.

— Гляди, — размахнулся над ней громовой голос, — на то единственное, что у меня есть, и ужаснись, проклятый пожиратель времени, узревая свой предел и свою погибель!

Тишина повисла в вагоне.

Пограничник, не изменившись в лице, смотрел на Директора из-под фуражки, кивал головой, будто даже с пониманием, и жевал, жевал. Только взялся руками за пояс, где висела сонная дубинка. Перекатив во рту свое лакомство, он нагло приказал:

— Проездные документы предъявляем.

— Ха-ха, — полногрудно рассмеялся Директор, — тебе ли, хроноглот, не знать, что мои документы писаны ржавчиной по древней броне и бронзе, а ее — инеем и зарей во всех окнах рассветной стороны мира?

Пограничник задумчиво перекатил жвачку обратно за левую щеку.

— Кто тут тебе хромоглот? — спросил он, нащупывая дубинку.

Но свистнула сталь, и шпага, освобожденная из обугленного зонтика, протянулась меж Директором и пограничником.

Рядом стоящий болдуин уронил щипцы, и белая бумажка, нежно порхая, скользнула куда-то за скамейки. Словно стон пронесся по вагону.

Пограничник, жуя теперь быстро-быстро, тихо пятился, а Директор наступал, не забывая подталкивать за руль велосипед. Кончик шпаги поплясал и успокоился, нашел воротник пограничника под самой шеей, уперся и, совершив пол-оборота, навернул на себя немного материи. Между тем пальцы пограничника дергали и трепали кожаный намордник пистолета.

Но раздался голос:

— Растопырь руки! — И руки, приподнявшись, застыли.

— Обеззараживай, Иванова, — приказал Директор.

Она сделала четыре маленьких шага к врагу, выдернула из кобуры-намордника тяжелое оружие и чуть не выронила.

— Направь, — сказал Директор, чуть повернув к Мишате голову, — направь отверстием на жильцов и, если кто бросится, нажимай на крючок, только держи повыше, чтобы их испугать, но по-настоящему не опалять,

ведь они все несчастны, — учил Директор в тишине. Эта тишина напоминала тишину класса, а Мишата чувствовала себя будто у доски, одна, на глазах у всех. И она выполнила задание.

Чуть вытянув шею, она выглянула, далеко ли другой болдуин, и увидела его в толпе: белого, с кривыми губами. На миг оторвав правую руку, она погрозила ему пальцем.

Директор тем временем произнес:

— Теперь ты, второй прислужник, покинь уже бесполезного тебе стража и сорви рукоятку тормоза, да-да, эту, в красненькой рамке. Иванова, предстоит рывок, прими позу.

Мишата повернулась левым боком вперед и распустила в ногах и спине все мышцы. Сразу вслед за этим хлестнул оглушительный свист!

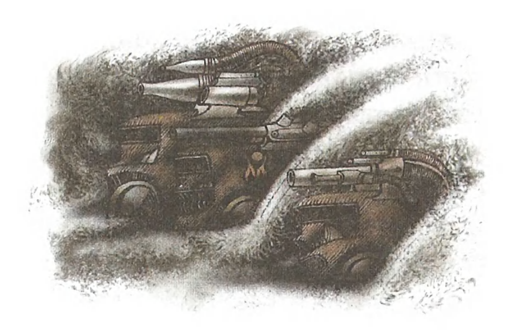
Пол со страшным упорством потянул Мишату за ноги, но она выгнула тело, как лук, и не упала и даже не пошатнулась, толпа же земляков перекосилась и провалилась куда-то в сторону. Пограничник рухнул на пол. Поезд стремительно терял ход.

Директор оторвал шпагу от лежащего пограничника, шагнул, борясь с ураганом падения, взял у Мишаты пистолет и рукоятью со всей силой ударил в стекло раз, раз и еще. По стеклу разбежались трещины.

Небо за окном таяло. Директор схватил велосипед и стал бить искореженной рамой в окно — оно провалилось. Мишата взобралась на лавку, выглянула. Высоко... Пустырь, на горизонте дома... Она обернулась внутрь вагона. Пограничник лежал на спине, еще жуя, хотя медленно. Вдруг он перестал жевать. Губы его вспухли, и что-то розовое показалось между ними и стало расти. Мишата замерла. Пузырь скользко-розового цвета увеличивался с каждой секундой. У Мишаты на миг помутилось в голове. («Ведь это не может быть сердце? Ведь Директор не мог его проколоть?») Но тут пузырь щелкнул и съежился. Мишата вздрогнула и прыгнула.

Она расшибла колено о велосипед. Директор рухнул

сверху и пробил ногой несколько спиц заднего колеса. Хромая, взбивая снег, он навьючил велосипед и, орудуя шпагой словно тростью, зашагал туда, где на горизонте качался город. Мишата оглянулась. Поезд, чудовищно длинный, стоял в снегах, разбитое окно чернело в пасмурных волнах утра. Мишата напоследок погрозила пистолетом и, отвернувшись, захромала прочь. Поезд удалялся, уменьшался, никто из него так и не вышел.



глава третья

опасно ходить ночью по черным лестницам

«Сгореть, но найти! Сгореть, но найти! Вот они, слова, которые раздались во мне при первых отблесках пожара. Но со вторым отблеском обрушилась на меня иная страсть и испепелила мой несчастный разум. Обнаружить паровоз! Уничтожить Часы! Вот решение, вот лечение, а то, что предает во мне мое дело, — вырвать с корнем из сердца, а если не поддастся — и сердце вырвать!» — прочла Мишата и вырвала следующий лист. Хлам, собранный на полу гаража (они провели здесь изнурительный день, дожидаясь сумерек), никак не разгорался.

Но пора уже было идти. Директор завязал ей глаза и раскрутил на месте.

Метод был старый, верный, отработанный еще осенью во время занятий директорского кружка по поводыризму. Полный мрак, окружавший сейчас слепую Мишату, должен был через какое-то время рассеяться, и зрение должно было вернуться, но воображенное, оживляемое только сердцем и памятью. Мир, порожденный воспоминаниями Мишаты, бывал так совершенен, что она рано или поздно забывала о повязке и духом возвращалась в зрячее состояние. На это и надеялся Директор: прозревшая в чудесном смысле Мишата должна была наконец обнаружить паровозик — тот, который так безошибочно нашла в раннем детстве, тот, который должен был помочь Директору осуществить его мрачную, пламенную мечту.

Но сейчас внутреннее зрение не хотело восстанавливаться. Минут пятнадцать Мишата стояла, качаясь на вьюге. Директор терпеливо ждал. Так можно было стоять еще долго, всегда... Мишата пошевелила рукой, слабо потыкала в землю...

— Есть небольшая тяга — откуда-то снизу, из-под земли. Но такая слабенькая! Я даже не уверена, почувствовала я эту тягу или это всего лишь воспоминание.

— Хотя бы направление ты поймала?

— Куда-то туда, — поводила рукой Мишата. — Может быть, пойдем? Пойдем, а по пути я буду еще стараться.

Она тихо двинулась вперед. Директор шел позади Мишаты и придерживал ее за шарф, помогая избегать препятствий.

Она старалась нацелиться, но результата все не было... И вьюга мешала: весь мир словно наклонился под резким углом, пространством овладела косая посторонняя сила. Директор, кроме того что одеревенел, еще вдобавок и заблудился. На счастье, встретилась им река.

— Раз река, — сквозь метель покрикивал Мишате Директор, — может, поблизости знакомая мне водокачка, где найдется укрытие! Попробуем пойти вдоль!

«Это не совпадает с моим направлением. Мне опять что-то вроде бы посветило, и вон оттуда! Мне пока что терпимо, пока можно и без укрытия, пока лучше поискать, а то у нас еще одна ночь пропадет!» — хотела ответить Мишата, но удержалась. Нельзя было вести себя слишком мужественно, нельзя было быть слишком сильной — это сразу приводило Директора в растерянность, в отчаяние. Нужно было дать ему о себе позаботиться.

И она ничего не сказала, просто кивнула и пошла, стараясь держаться в безвьюжной тени Директора, стараясь, чтобы он заметил, что она ищет его тени.

А он двигался все неустойчивее. Наконец они не выдержали и укрылись в брюхе черного хода старого дома. Мишата сняла повязку и разглядела Директора при свете спички.

Директор скрипел зубами. Согнув колени, пытался стряхнуть снег с отворотов цилиндра, но промахивался раз за разом, и казалось, что он подзывает на помощь кого-то... Потом перевернулся на четвереньки и начал лазить по лестничным закоулкам, чиркая спичками.



Скоро он обнаружил манекеновые буквы, намалеванные по кирпичу и осыпанные алмазными искрами.

— Шахта колодезной связи, двойное «К», колокольный колодец! — прохрипел он. — Надо найти люк и вызвать языка — проводника, это наша единственная возможность куда-то добраться.

Мишата опустилась на ступени, приклонила голову на бронзовый завиток перил.

Посреди темноты висел светлый прямоугольник ночи — дверь, открытая во двор, — внизу уже немного размытый вошедшим снегом. Гул метели опадал и снова взмывал наверх, и на фоне этого гула осторожно присутствовали трещинки неожиданных и необъяснимых звуков, живущих в пространстве огромного дома. И еще шорохи Директора, чугунные стуки (он нашел люк) и потом посвист и поскрипывание незнакомой речи, с паузами, когда Директор припоминал слова.

Мишата вдруг поняла, что, как ни поворачивала с Директором во время пути, ветер все равно дул в лицо. «Странно, — сказала она себе и тут же догадалась: — Значит, за нами следили... значит, они могут появиться когда угодно». Скверно, тоскливо... Снег на воротнике начал подтаивать и пополз по спине. Она сказала в темноту:

— Не хватит ли сидеть? Не пойти ли самим?

— Нам грозит беда, — пошевелился рядом невидимый Директор, — смертельная беда, а мы измождены и можем совершить ошибку. Необходима помощь.

— Но сколько ждать? — вырвалось у Мишаты. — Если нас ищут, нельзя оставаться в стенах!

— Сейчас за нами придет язык, и мы встанем. У тебя снег есть в сапогах?

— Нет, снега нету, но руки немного замерзли, ведь в карманах два дня уже мокро и лед. — Она вытянула пальцы — показать, но наткнулась на холодный чугун и отдернула руку. Или это лоб Директора? «Да нет, у него ведь жар!» Слышно было, как дребезжат у Директора зубы. «Главное, самой теперь не заболеть», — решила она, спрятала руку и стала греться. И пытаться дремать, чтобы на-

копились силы. Задремал и Директор. Они сидели по сторонам лестницы, привалясь к перилам, и засыпали.

...Сверху слышались шаги. Шаги! Кто-то спускался! Она не знала, смотрит ли Директор, или спит, и для начала просто показала рукой наверх, и он, на счастье, бледно кивнул: тоже, значит, проснулся.

Невидимые ноги осторожно нащупывали ступени, роняли камушки, спотыкались, бранились шепотом.

— Язык? — еле слышно спросил Директор.

— Неясно, — отозвалась она. — Если язык, почему сверху? Ему бы лезть из земли.

— Многие подземные тропы оканчиваются под крышами.

В темноте слабо засветились глаза.

Мишата содрогнулась: впервые таинственное подземное существо оказалось от нее так близко. Побыло один миг и поблекло в метели.

— Почему он не поприветствовал нас, не сказал ни слова?

— Все уже обговорено, а они не тратят слов. Следуем за ним.

Уже торопясь к выходу, Директор приказал:

— Последний переход — и отдохнем. Терпи. И не забудь про повязку.

Следы, оставленные Директором и бледным языком, затягивались прямо на глазах. Две тени пробирались к неясным желтым фонарям. Мишата натянула повязку.

Она почувствовала, как двинулся Директор, и ноги понесли ее вперед. Кое-как она догнала велосипед и взялась свободной рукой за багажник, чтобы сослепу не пропасть. Они вышли со двора через арку на улицу, повернули и начали восхождение в гору метели.

Ее затягивала дрема, но надо было отсчитывать фонари, разгорающиеся и тающие под веками каким-то лесным березовым светом, понимать легкие нажимы — указания велосипеда — и ощущать языка, нервно зыблющегося шагах в двадцати, почти размытого вьюгой.

И скоро опять стало твориться что-то не то.

Их проводник вел себя все более странно. Уже два раза он останавливался, и им тоже приходилось стоять. Потом резко менял направление, так что едва не терялся, или начинал вдруг двигаться вспять, и приходилось опять проходить одну и ту же арку или красться в обратном направлении вдоль белой стены, отвратительно ярко освещенной фонарем «яшкой». Тогда проводник шарахался в тень. И они тоже прятались, падали, как и куда придется. Директор стал нервничать.

Мишате пришлось снять повязку — назревало что-то тревожное. Кругом громоздился мрак, пустыня, нежилой полуночный мир, оглушенный непогодой. Язык впереди метался, и Мишата вспомнила: ветер! Ветер, который преграждает путь в любом направлении! Она крикнула Директору, когда они в очередной раз присели за колоннами, что вырастали прямо из молодых сугробов:

— Куда мы ни повернем, ветер дует в лицо! Нам препятствуют, за нами наблюдают! На нас могут напасть в любую секунду!

— Папаха, пагода, колдобина-губа, — гулко проклинал из тени Директор. Воротник его фрака, космы, цилиндр пропитались пургой и срослись в ледяное целое, пальцы застыли и превратились в продолжение велосипедного руля.

Язык поднялся из сугроба, они вскочили следом, и тут он оглянулся, крикнул и побежал.

«Неужто?» — мелькнуло в мыслях Мишаты.

Крутанувшись на пятке, она мгновенно пересчитала дворы, переулки, расщелины, откуда могла прыгнуть опасность, ничего не увидела и бросилась за Директором, который на ходу обнажал шпагу. По его примеру она нащупала за пазухой пистолет, сжала рукоятку и побежала так, поскольку вытащить оружие не было возможности.

Ночь стонала, свистела, выпрыгивала из самых неожиданных мест. Над багрово горящими рекламами крыш взмывали раскаленные вулканы снега... Язык кинулся

в переулки, во дворы, замелькали разнообразные оттенки темноты, замороженные в форме углов, закоулков, арок, тупичка с хлопающими крышками помойки. Здесь, споткнувшись о снежный смерч, язык упал. Директор с Мишатой подбежали ближе. Задыхаясь, Мишата вырвала пистолет, и они закружились с Директором спиной друг к другу с оружием наготове, но, кроме железного хлопанья, лязга и завывания ночи, не было ничего. Язык лежал, закрыв голову руками и стеная.

— Может быть, — крикнул Директор, — это пурга его истязает: в туннелях метро ветер всегда тепел и дует в одну сторону...

Ноги Мишаты подкосились, и она опустилась на колени — хоть полминуты так постоять, хоть немного выровнять дыхание...

Директор крикнул ей:

— Нет! Не смей! Надо спасаться, бежать, ведь мы даже не знаем, что происходит!

Тогда она поднялась.

— А язык? Не бросать же его?

Тот застонал еще горше и пополз куда-то.

— Куда это он? — растерянно спросил Директор.

В углу тупичка что-то чернело — лазейка в подвал.

Они дотащили языка до подвала и спихнули вниз, а сами, не сговариваясь, повернули туда, куда двигался ветер...

Черный предутренний час бросил их, онемевших, каменных, примерзших навеки к велосипеду, к подножию старой водонапорной башни. Пока Директор бил в дверь всем чем мог — головой, кулаками, башмаками, — Мишата стояла на коленях, а мысли ее, скрюченные пургой, выпрямлялись, светлели и росли все выше и выше. Но тут Директор стал ее дергать, трясти, и она опять провалилась в свое ледяное тело. Кое-как встав на ноги, она увидела раскрытую дверь и за ней свечу в иссохшей руке. Дверь пропустила их, ночь захлопнулась. В головокружительной высоте пространства вращались тени лестницы-поз-

воночника. «Подъема я не выдержу», — подумала Мишата, но одновременно с этим поднималась и поднималась. Потом, она не помнила как, кругом оказалась комната, и Директор, весь в оперении вьюги, бессильно царапал себя, пытаясь освободиться от тяжких снежных доспехов... Порванная пелена забытья срасталась, и Мишате приходилось с трудом рвать ее снова. Она села на что-то мягкое — это оказался ворох плюшевых медведей, — сняла одежду, как кожу, последним усилием втянула ноги, завернулась в одеяла, почувствовала тепло и медленно исчезла.

сказка четвертая. беда бормотехника

Была в городе старая водокачка, а на ней жил старый-престарый Бормотехник.

О его существовании не знал никто. Полсотни лет назад стихло и развеялось последнее слово, которое Бормотехник произнес человеку — Председателю. Утро было солнечное. Председатель, заслонясь от солнца рукой, пытался через стол разглядеть Бормотехника. Тот стоял в тени кабинета, в углу. Оба молчали.

Бормотехник тогда работал распределителем тока в службе «Мосгорсветло». За три дня до того Бормотехник, замечтавшись, запутался: повернул неверно электрокран, и зеленый ток для пешеходных светофоров потек в фонари. Всю ночь город освещался зеленым светом, октябрьская листва стала опять июньской, встречные дамы превратились в русалок... Но был истрачен полумесячный запас зеленого тока, а новый нельзя было достать скоро. Пешеходным фонарям нечем стало преграждать дорогу машинам, люди ходили только вдоль дорог, а машины так чудовищно размножились, что валили сплошным потоком и лезли даже на тротуары.

— И что же мне сделать с тобой, Капитонов? — устало спросил Председатель и откинулся в кресле. — Или выкидывать совсем, или, в виде исключения, на время спус-

тить тебя вниз, погонщиком, чтоб ты сам все это расхлебывал?

И он, отняв руку от бровей, указал в окно. Там воздух дрожал от автомобильного рева, и два регулировщика, изнемогая, колотили своими жезлами по рылам и крупам обезумевших машин. Техник стоял, глядя вообще.

— Выбирай, — сухо завершил Председатель, — либо берешь беледын, либо мы расстаемся. Ну?

— Нет, — угрюмо выдавил Бормотехник.

Больше он ничего не говорил, а его никто и не спрашивал. Через пять минут он оказался за дверью в старом оранжевом жилете, штопаной фуражке, и всего-то при нем было вещей, что полупустая кожаная торба с затупленными инструментами, которые застучали, когда он побрел, словно кости.

Правда ли, что Бормотехник затем воевал на чугунных броневиках Горбынека? Бортовые журналы немногословны. Если Бормотехник действительно участвовал в той войне, то после поражения еще больше зачерствели его повадки: красться, съеживаться, бормотать.

За множество лет жизни в заброшенной башне Бормотехник ни разу не обнаружил себя.

Но странно: его имя было известно детям. Кругом размещались большие дома со множеством мелких окон, зловещий Электрозавод, метро «Электрозаводская», река. Детей было много во дворах. У них было принято, забрасывая подальше что-нибудь острое — железяку, доску с гвоздем, — нашептать:

Техник, Техник, кожура,
Иди нафик со двора,
А с тобой все гвозди-клещи
И другие злые вещи, —

чтобы острая вещь никого не ранила.

Одиночество глуховатой жизни Бормотехника лишь раз было нарушено.

Случилось так. Правитель завода захотел изготовить

железные шары-подшипники. Потом эти шары предполагалось засыпать в трамвайные колеса с целью смягчения хода.

Стали рыть во дворе шаролитню-шахту. Мысль была брызгать в шахту расплавленную сталь, чтобы капли застывали, округляясь в полете, как некогда округлились и застыли планеты небес — такие же капли, брызги взметнувшейся вселенной.

Потом, правда, из этой затеи ничего не вышло: шары получались разного размера, как различны и размеры планет; трамваи приплясывали на бегу.

Во время строительства вышла беда: из реки Яузы, текшей рядом, за ночь набиралась в шахту вода. Вода была чистая, забытые инструменты лежали в ней ясные до последней мелочи, и рабочие, приходя с утра, с удивлением показывали друг другу и называли их, словно имена знакомых, увиденных по телевизору.

Для откачки воды правитель завода придумал использовать насос со старой башни. В обеденный перерыв, когда другие рабочие ныряли в ледяной воде шахты и загорали потом на отвалах земли, один специально назначенный бортмеханик приблизился к водокачке.

«Йо-банана!» — услыхал у дверей помертвевший Бормотехник.

Пока бортмеханик недоумевал, широкой рукой потряхивая запертую изнутри на гвоздик дверь, Бормотехник на дрожащих цыпочках бежал вверх по лестнице.

В довольно широкую щель бортмеханик просунул тяжкий гаечный ключ, поддел и вывернул гвоздь. Башня встретила бортмеханика прохладой. Какой-то шорох послышался сверху. Бортмеханик задрал голову в высоту, пробитую столбами пыльного солнца, но все было тихо.

«Яхта!» — выругался опять бортмеханик. Свой ключ он прислонил к двери изнутри: «пусть потужит», сам же налегке пошел вверх. Лестница, оборачивая его вокруг себя, вела медленно. Вдруг скорый бег послышался бортмеханику. Он насторожился и решил спуститься за ключом. Поднял ключ и, бранясь, решительно затопал по лестнице.

Поднялся в насосный чердачок, увидел глыбу насоса и сразу стукнул ее ключом, испытывая. Удар попал по колесу, резиновый ремень рассыпался в пепел, но само колесо не двинулось, так как его ржавчина давно срослась с ржавчинами соседних колес. Вид механизма, давно погибшего во сне, разбудил в бортмеханике гнев: «Зря, гонобобель, лез!» Он добавил-бабахнул еще раза два по бессмысленному мотору — столб солнечного дыма, проходившего в люк, забеспокоился. Движение привлекло бортмеханика, и он, поворотясь, с внезапной яростью швырнул ключом по лучу. Ключ исчез в люке, хлопнул, что-то тихо осыпалось. Бортмеханик стоял, ошарашенно глядя вверх. Постепенно гнев уступил досаде на себя. «И что это я», — подумалось ему. Пришлось лезть за ключом по лесенке. Здесь, в огромном солнечном зале с гигантским котлом посреди, бортмеханик пошел вокруг по узенькому проходу, пачкая левый рукав в рыжем кирпиче, правый — в рыжей ржавчине. Нагнувшись, он отыскал ключ и тюкнул для проверки стенку котла, но не услышал эха. Бортмеханик стукнул сильнее. «Не гулок», — удивился он. Мысль, что котел полвека отключенной водокачки полон воды, удивила его. Отложив ключ, бортмеханик по лесенке выбрался на железную поверхность котла. Немного потребовалось времени, чтобы обнаружить люк, ведущий внутрь котла, но — что это? — у люка отсутствовала ручка: начисто спилена! Открыть было невозможно, а ключ, чтобы подцепить люк, остался внизу. Бортмеханика ударил пот. Он осознал, что напрасно и неизвестно зачем залез на самую вершину водокачки. Силы его покинули. И, вяло шевелясь, почти ползком, он спустился, подхватил ключ и навеки покинул башню.

Но если бы ключ не был позабыт и разочарование не сразило бортмеханика на самом пороге тайны, что за небывалое зрелище открылось бы ему! Котел был и правда полон!

Все вообразимые виды игрушек лежали тут в таинственной и пышной смеси. Обманчивые игрушки-мечты: пластмассовые принцессы и единороги, глиняные поэты, жестяные витязи, скоморохи, чародеи — все, чей об-

раз продляет жизнь за ту границу, которую самой жизни не преодолеть; и вместе с ними ужасные игрушки-опухоли, которые, никуда не маня, зарождаются в самой сердцевине жизни и питаются ею: герои мультфильмов, нарисованных слепцами, солдаты, изготовленные трусами, куклы-красавицы с кровавыми присосочками под платьями... Игрушки-поводыри: медведи, куры, лодочки, аэропланы, грузовики, в любой момент по воле ключа и пружины готовые пуститься бегом, вплавь, влет, в неизвестно какие края, по пути указывая места индейских засад, алмазных жил, зарождающихся вулканов; и просто игрушки-какашки, передразнивающие жизнь без вреда и без пользы: пластмассовые пистолеты, телефоны, фотоаппараты, автомобили — точные и скучные подобия настоящих вещей... Горы плюшевых зверей с замками на вершинах и рельсами, проложенными прямо по мохнатым спинам и животам...

А на вершине горы в квадрате солнечного света бортмеханику предстали бы танки, задравшие дула, индейцы, вскинувшие томагавки, пиратские пушки, наведенные вверх, — и в центре этой наспех составленной армии сам Бормотехник, сжимающий натянутый лук со стрелой...

Это богатство Бормотехнику добыли чудесные слоники. Всю силу своей иссохшей, изъеденной электроучением мысли Бормотехник некогда бросил на их создание. Их уши были способны уловить горестные призывы потерявшейся вещи. Гибкий хобот вытягивался на любую длину и проникал в любую замочную скважину. Шкура приобретала какой угодно цвет и сливалась с окружающим. Бормотехник выпускал своих добытчиков в полночь. Утвердившись в окошке башни, бормоча, сморкаясь и утешаясь крепким гаечным табаком, он просиживал в ожидании до рассвета. Несли ему не только игрушки: попадались тут и взрослые вещи, к которым при жизни хозяин относился как ребенок — отчего вещь, потерявшись, могла быть учуяна слониками... В нетерпении хватал Бормотехник добычу. Его пальцы тряслись от жадности. Ког-

да приходил последний слоник, он пересчитывал всех, запирал, а потом залезал в котел и играл и играл, иногда по многу часов подряд, даже не вылезая на поверхность игрушек, а пробираясь по тайным ходам внутри их куч.

Но вот однажды слоники не вернулись вовремя.

До рассвета Бормотехник терзался в котле. Двор все светлел, и по мере этого росло отчаяние Бормотехника. Наконец слоники появились. Но в каком виде! Все они были попарно связаны хоботами! Бормотехник обмер. Неужто тайна его разгадана? И в городе есть теперь насмешливый враг, способный добраться до самого Бормотехника? Весь день Бормотехник раскачивался и ныл, но к вечеру кое-что придумал.

Он выбрал самых тихих и опытных слоников и приделал к ним фотоаппараты, а потом послал в темноту, настроив так, чтобы не нападать, а выслеживать. На рассвете слоники явились и даже привели с собой пропавшего товарища, которого неизвестные злодеи вчера закинули за гараж. Бормотехник схватил аппараты и с нетерпением заглянул вовнутрь. Что же он увидел? Жестокий и каверзный враг оказался одеждой, пустой одеждой! Страшной одеждой, ходящей, мыслящей и безобразничающей! Так Бормотехник узнал тайну Дидектора.

Изумление не покидало Бормотехника, но, скрежеща, пробудилась и задвигалась его фантазия и принялась подсказывать ему планы, сперва смутноватые, потом все более отчетливые.

Возможность невероятного обогащения игрушками — вот что увидел Бормотехник в открывшейся ему тайне.

Ведь слоники были так наивны! Они не могли сравниться с одеждой в ловкости и уме. А та к тому же жила прямо в домах, в детских квартирах, полных игрушек. И главное, одежда тоже искала что-то. Каждую ночь она проникала в витрины и здания и быстро переменяла с наряженных елок одни игрушки на другие, а потом в потаенном месте разбивала добытые игрушки. Уж эту

загадку Бормотехник, как ни кряхтел, не умел разгадать. И вот что он придумал в конце концов.

Среди своих куч он отыскал очень приличный китайский пуховик, шапку, непарные варежки и ботинки и велел своим слоникам подбросить Дидектору в раздевалку все это.

Вот одежки собрались на урок Дидектора и обнаружили в углу Пуховик и другие детали. Сначала одежки удивились — откуда это? Потом решили, что кто-то из детей-новичков позабыл. Когда Дидектор вышел к одежкам, они закричали:

— Новенький! Новенький! Он ничего не умеет!

— Ну, примем его, — решил Дидектор и оживил Пуховика.

И Пуховик стал ходить на дидекторские уроки. Сперва ему приходилось врать, но потом уже и этого было не надо, потому что все приняли его и привыкли. Тогда Бормотехник принялся учить Пуховика, что делать дальше.

Вот как-то раз после урока Пуховик выбрал Пальто поскромнее и предложил:

— Тебе в какую сторону? И мне туда же. Давай вместе пойдем, поболтаем.

По пути Пуховик, вроде невзначай, вынул из кармана военные погоны и начал ими поигрывать. Погоны были танковые, с золотыми личинками.

— Сильные погоны! — завистливо сказало Пальто.

— Да, небось тебе и не снились такие! — И Пуховик начал специально подбрасывать погоны вверх, чтобы те поярче сверкали.

Пальто говорит:

— Где взял?

— А тебе-то что? Или нравятся? Хочешь, твои будут?

— А что?

— Нет, ну хочешь или не хочешь?

— Хочу.

— Ну давай: я тебе погоны, а ты мне какой-нибудь хо-

роший танк на управлении, только чтоб батарейки были свежие.

— А где ж мне взять? У меня игрушек нет. Ведь я одежда.

— Зато у твоего хозяина есть.

— Ну есть, — ответило Пальто, — и что с того?

— Ну и возьми.

— Как это я возьму? Он искать будет.

— Тебе-то что? Пусть ищет. Не найдет и успокоится.

— Он же расстроится!

— Да ему новый купят.

— Купят или не купят, — сказало Пальто, — а я, в общем, не хочу.

— Не хочешь — и не надо, — ответил Пуховик и как бы равнодушно убрал погоны в карман, — ну и ходи как бредун. Я думал, ты нормальная одежка, а ты лямка, бретелька. Я думал тебе еще звезду на шапку военную подарить, думал, ты будешь ходить как генерал, всеми командовать. Но раз ты полнейший халат, я кого-нибудь другого найду.

— Ладно, погоди, — закричало Пальто, — погоди, фиг с тобой! Может, принесу...

И принесло на следующую ночь. Утром мальчик, хозяин Пальто, не нашел своего танка. Зато нашел в кармане звезду и погоны, и мама ему их пришила. Начал мальчик в Пальто ходить и кричать на всех — командовать.

А Пуховик уже приметил себе другую одежку, Спортивную Куртку. Сказал ей после уроков:

— Видала на площадке лед?

— Видала.

— Пойдем на него толкаться.

Вот они вышли на лед и стали толкаться. Пуховик как толкнул Куртку! Та упала прямо до боли и закричала:

— Ты чего толкаешься?!

— Так и ты меня толкани, — предложил Пуховик.

Куртка толкнула его, но Пуховик устоял. Лишь с подметок искры посыпались.

— Знаешь, почему ты меня никогда не столкнешь?

— Почему?

— У меня шипы на подметках титановые. Ну! Пробуй еще!

Куртка толкнула, снова брызнули искры — и все. Пуховик рассмеялся да как пихнет Куртку! Та упала и опять ушиблась.

— Ладно, вставай, — сказал Пуховик, — так и быть, принесу тебе такие же шипы. Но не за так, конечно, а за машинки. Разные, железные, штук пять, да чтобы не битых.

Куртка и принесла. Хозяин ее хоть и остался без машинок, но зато теперь мог здорово всех толкать. А Пуховик уже наметил для себя одну Шубку.

Вот он подошел к ней после уроков и говорит:

— Можно, я тебя провожу?

Шубка пожала плечами, но не прогнала. Они пошли.

Пуховик сказал:

— Какой у тебя мех красивый! Так и играет при свете фонаря. Это чей, интересно?

— Наверное, соболий.

— Ух ты! А на рукавах такой перламутровый?

— Горностаевый!

— А на обдоле?

— А на обдоле это лисий, наверное, мех, — сказала Шубка.

— Ай, до чего красиво! А пуговицы какие?

Это он сказал специально, потому что пуговицы были просто серые, пластмассовые. Шубка застеснялась пуговиц.

— Может, из серого мрамора? — предположила робко она.

— Конечно! — вскричал Пуховик. — Серый мрамор — благороднейший материал. Но к лисьему меху больше бы пошло изумрудовое. А кстати, вот у меня есть кое-что... Посмотри, если хочешь! — И достал из кармана четыре пуговицы зеленого стекла.

— Миленький, подари мне, я с тобой всегда ходить буду!

— Ну, это, конечно, хорошо, но просто так я не могу. А нужна мне кукольная посуда. Принеси мне такой посуды побольше, только фарфоровой, а не пластмассовой, и будут у тебя пуговицы да еще и брошка-гусеница.

Шубка обрадовалась, собрала всю посуду, какую нашла, и принесла Пуховику. А сама стала ходить в изумрудных пуговицах и перед всеми красоваться.

И так Пуховик у каждой одежки чего-нибудь выменял.

Стали появляться у одежек серебряные молнии, военные значки, индейские ремешки, магнитные застежки, светящиеся шнурки и так далее. Многим это понравилось, и они уже сами начали воровать игрушки у хозяев и нести Пуховику.

Стал Дидектор замечать, что у одежек испортился характер. Одна хочет все время в солдат играть и при этом всеми командовать. Другая выйдет на улицу и так начинает всех толкать, что прямо до боли падают, а она лишь смеется. Третья важничает и красуется, а об учебе не думает. И вообще все стали учиться хуже, зато больше шептаться, и сравнивать себя, и ссориться, и хвастаться...

Призадумался Дидектор. Приглядывался, приглядывался к одежкам, но так ничего и не мог понять.

Помогло одно событие.

Пуховик, в общем, успел почти всех одежек сманить, кроме одной телогрейки да кожаной курточки. Эту курточку он, во-первых, побаивался слегка, а во-вторых, она и появлялась редко: прогуливала в основном все уроки, болтаясь в ночи. Но наконец Пуховик улучил момент и подлез к ней все-таки.

— Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить, да все не решался, — говорит он Курточке.

— Ну и дальше бы не решался, — отвечает та. — Противный ты! Какой-то пухлый. Пухлый-тухлый!

— Я не виноват, что я такой толстый! Таким уж я на свет родился, Пухловиком. Я, может, тоже хотел бы быть тонкой кожаной курточкой. Да ведь не всем везет.

— А еще ты очень уж тихий!

— Что ж! Я бы хотел быть храбрым, да не выходит...

— Ну и иди отсюда.

— Есть у меня одна вещь... но чтобы пользоваться ею, смелости не хватает...

— Ерунда какая-нибудь.

— Нет, наоборот, чудесная вещь. Жир невесомости.

А и правда, у Бормотехника был такой странный жир, которым если помазать предмет, то предмет как бы теряет в весе. Если целиком этим жиром намазаться, можно и с крыши прыгать: ничего не будет, опустишься просто, как лист бумаги. Это на рельсах метро слоники отыскали.

— Так, ну ладно, — говорит Курточка, — а что ты за это хочешь?

— Мне другие одежки рассказывали, что у твоей хозяйки есть подруга... Дидектор ее очень любит. И подарил ей какие-то игрушки, куколки, что ли, прямо-таки волшебные. Принесла бы ты мне одну такую куколку, а? Только одну. Я бы дружил с ней. А то со мной не водится никто, я так одинок...

— Ага, значит, я должна своровать тебе куклу? Так. А что же ты ко мне пристал, а не прямо к ее Телогрейке?

— Да ты знаешь, она какая-то... Немного двинутая, что ли... С ней вообще ни о чем не договориться.

— А со мной, значит, договориться?

— Нет, но... Ты все-таки нормальная одежка! Слышишь, соглашайся! Всего одну! Он ей еще подарит. А ты зато сможешь летать. Ты же не тряпка половая, как некоторые. Они пускай себе ползают, а ты лети! Они все наволочки в душе, а ты, я знаю, в душе парус! Вот и лети!

— Ага... — сказала Курточка. — Ну, дай посмотреть свою мазь!

Пуховик поколебался, но дал. Курточка открыла банку и мазнула Пуховика жиром, а когда Пуховик потерял в весе, привязала его на веревочку и повела, как воздушный шарик, к Дидектору.

Тот уже спать ложился. Вдруг услышал стук, открыл — а там Курточка с Пуховиком, который весь обвис со страху.

— Получайте, — отдуваясь, говорит Курточка, — этого дирижабля. Вот откуда у нас вся зараза! Через него пришла. Надо его на тряпки для школьных досок пустить!

— Разберемся, — сказал Дидектор и запер Пуховика в шкафу.

На следующую ночь одежки собрались, как обычно, а Дидектор к ним вышел удрученный.

Нехорошо всем стало.

— Эх вы, бессовестные обличья! — горько сказал Дидектор. — Вы ли победители манекенов? Вы ли хранители тайны елочных украшений? Ничего того в вас не осталось, улетучилась ваша тайна! Отправляйтесь же на свои вешалки, становитесь обратно требухой гардеробов! Эх вы, тряпичные человечки!

Заплакали одежки, но не посмели ничего возразить.

— Но не все из вас соблазнились, — продолжил Дидектор, — и сейчас я хочу, чтобы вы выслушали такого. Выйди сюда, Телогрейка!

И Телогрейка робко выступила на свет. Рукава ее и подол были подрублены и подшиты толстыми нитками. Пуговицы были желтые, со звездочками, военные, но сама она всегда была самой тихой и застенчивой из одежек.

— Прежде чем мы будем решать, что с вами делать, — сказал Дидектор, — я хочу, чтобы вы выслушали одну историю. Чудесную историю о том, как велика бывает роль одежды в судьбе от роду нагих созданий. Ну же, Телогрейка!

Но Телогрейка, смутясь, молчала.

— Не смущайся, о застенчивая! — попросил Дидектор. — Предстоящий рассказ не только исполнение моей просьбы, но и твой долг. Твои собратья в беде, которой ты избежала. Помоги им, они нуждаются в твоей повести!

И Телогрейка рассказала.

— Это было прошлой зимой. Я висела на кресте возле леса. Меня повесили еще с лета, чтобы пугать птиц. Но

они меня не боялись. А потом выпал снег, и птиц не стало. Я висела совсем одна.

Как-то ночью несколько снеговиков пришли, вытащили мой крест и понесли куда-то. Они обращались со мной очень почтительно. Кланялись мне все время. Говорили, что несут меня в свой город, где у них будет праздник, чтобы там меня восхвалять. Я испугалась даже... Я раньше не имела постоянной начинки... так — считалась казенной. В совхозе состояла при силосной секции... А тут...

Они меня несли прямо бегом и вдруг увидели возле леса мешок, в котором была девочка. Они и раньше видели детей, но те были в шубах, а эта раздетая. Снеговики меня на девочку надели. Они, к счастью, догадались, что иначе она замерзнет. Потом я узнала, что тут еще и другое было... Замерзнет, не замерзнет — это даже было не так важно, как то, что ее вот так, раздетую, нашли. Это совпадало с одной легендой, в которую все снеговики верили.

У них считалось так: когда-то давно были сотворены два рода существ. Одни из земли, другие из снега. Они и чередовались: летом жили земляные, потом они к зиме замерзали, и жили снежные... Потом к лету снежные таяли, ну и так далее. Но затем земляные существа придумали покровы, значит, одежду... И стали жить вечно. А снеговые продолжали таять, никто не мог пережить весну. Но они верили, что однажды придет двуединое создание, которое ни зимой не мерзнет, ни летом не тает, и даст снеговикам спасение, и снеговики тоже станут бессмертны и доживут до полярной ночи, конца времен, когда лета уже не будет. А символом их надежды были покровы, всякие там куртки, тулупы... Их они очень чтили. Говорили: снеговой плотен, непокровен, покров бесплотен, сам собою покровен... И вот, когда они эту девочку одели, получилось, что сбылось пророчество. Они ее приняли за свое двуединое создание, а она просто не успела замерзнуть... А Михаил Афанасьевич считает, что она и не мерзла, потому что ее паровозик грел. Та волшебная игрушка, которую мы все ищем... В общем, так я получила начинку.

Вот. Жили, жили мы какое-то время... Снеговики очень ту девочку полюбили. Уже весна приближалась... Уже и сроку снеговикам оставалось недели две, может, три... Они почти уж не спали, целые ночи устраивали бдения, пения... Готовились к таянию уже.

Один раз снеговик пришел к нам в землянку посидеть. Сидел, разговаривал. А в печке горел огонь. Снеговику жарко делалось, плохо, потел он. Девочка увидела это и говорит ему: на вот, накинь... Про меня. Ну, он надел меня. Я его холод внутри укутала, ему лучше стало. Он даже не понял сначала, что произошло. Потом другие зашли, увидели... Когда поняли, их словно ошпарило. Ведь всего-то, всего-то им надо было одеться! Они тысячи лет не могли догадаться, а тут... Бегут, кричат, в рельсы забили... Вот была радость, вот счастье-то! Оделись все к весне. Землянки приспособили, льду, снега напасли... Пережили лето кое-как. Вот как пришли, наконец, морозы, снег, начали новые, молодые снеговики появляться в обители. Раньше им бы все заново пришлось создавать, а теперь их старые учат — знания, опыт сохранились. И числом их уже не то что раньше. Уже, наверное, вчетверо больше! А меня с моей начинкой... Ну, можно представить, как к нам хорошо относились после этого. Но отпустили потом. В город отправили. Три дня провожали, рыдали, весь город рыдал... Но отпустили: мы свою роль сыграли. У них теперь новая жизнь. А у нас еще много дел впереди.

— Ну вот, — сказал Дидектор, — вы послушали невероятный рассказ. И я повторно выслушал и повторно изумился. Сколь многое, оказывается, может вместить облекаемая вами пустота! Ведь целый народ, волшебный народ был поддержан в своей вере и спасен от гибели благодаря вашей сестре! Сколько же в вас сулящих поползновений и драгоценных свойств! Но вы их все поотвергли. Смотрите же, кто вас увлек за собой! Этот несчастный Пуховик, слуга алчного затворника. Ему, Пуховику, одно дурное знакомо; но здесь невелика его вина, ведь он и не знавал ничего чудесного. Но вы-то? Вы, кто вкусил чудесного? Что же вы отбросили его? Неужто стоит оно пуха и праха?

— Нет, Михаил Афанасьевич! Ошиблись, Михаил Афанасьевич! Прости, Михаил Афанасьевич, возродим волшебное, а тюфячное все отринем.

И одежки стали по очереди снимать, и сдирать, и срезать с себя значки, пуговицы, застежки и нашивки. Их вскоре выросла целая гора, а одежки снова стали такими же, как до появления Пуховика.

— Ну а теперь, — сурово сказал Дидектор, — поднимем весь этот тлен на плечи и отправимся в путь. Пусть ведет нас Пуховик к своему хозяину. Мы потребуем, чтобы он забрал назад свои лукавые дары, а нам возвратил игрушки, что были украдены у детей, ваших начинок.

Как велик был ужас Бормотехника, когда он разглядел с высоты целую толпу, движущуюся к башне! Вот впереди ведут бледного Пуховика, и какой-то огромный человек с ним рядом, а следом целая армия пустых одежд, которая грозно ропщет!

Как заметался Бормотехник! Сперва вниз, припереть двери — но уже отворялись двери... Тогда вверх, спрятаться в котле — но поздно, поздно! Уже топот мягких ног по ступеням, огни во все стороны, блеск кинжалов и звон отмычек... И Бормотехник забился в углу и закрылся какими-то лыжами. Тут же толпа вступила в котельное отделение и окружила Бормотехника.

— Что ж, — густо сказал Дидектор, — здравствуй, пустынный человек! Мы пришли, чтобы вернуть твоего слугу и твои вещи и забрать то, что ты обманом выманил!

Но Бормотехник лишь прятал лицо за лыжами и стонал. Кто-то тем временем взобрался на котел и с изумлением закричал оттуда:

— Да посмотрите, что тут внутри! Тут же все игрушки мира!

Дидектор залез и долго смотрел вовнутрь. Но, привлеченный стонами Бормотехника, с трудом оторвался наконец и сказал:

— Не страдай так уж сильно, отшельник! Мы не ограбим тебя, а только прихватим то, что принадлежит нам.

Но в миллионах игрушек, слежавшихся на всю толщу

котла, уж невозможно отделить было те, что принес Пуховик.

А некоторые одежки сказали:

— А разве остальное его? Тоже ведь чье-то. По каждой из этих игрух горевали дети. По правде, так надо все до последней детям раздать!

Бормотехник, услышав это, застонал еще печальнее.

— Слушай, да у тебя же тут денег миллион! — крикнула вдруг Курточка, присмотревшись в котел. — Ты что, не можешь купить себе игрушек? Обязательно у детей воровать?

— Как это купить? — охрипнув от слез, спросил Бормотехник.

— Не знаешь, что ли, как покупают?

— Ну так... Немного, — прошептал Бормотехник, но было видно, что он не знает.

— Вот так валенок! — изумилась Курточка, указывая перчаткой на съеженного Бормотехника.

Телогрейка присела рядом с Бормотехником.

— Послушайте, — ласково сказала она, — не грустите! Курточка говорит правду. У людей действительно есть обычай на деньги менять разные вещи. Можно было бы так устроить: попросить наших начинок завтра сходить с вами в «Детский мир» и помочь там купить все, что понравится.

Так они и сделали.

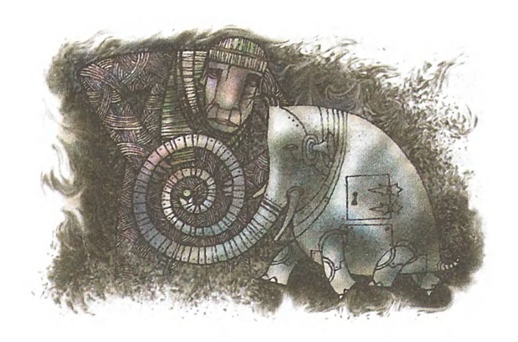
Игрушек купили так много, что пришлось и грузовик потом купить.

А ночью все отправились разносить по городу сокровища из Бормотехникова котла. Все участвовали: все одежки, все слоники, Мицель, и Фамарь, и Гагарин, и каменный лев, и даже манекены, специально ради этого разбуженные добрым словом. Заходили тихонько во все квартиры подряд. Было не до раздумий, и подсовывали тоже все подряд. Серебряные портсигары, пиратские сабли, глобусы, самострелы, фарфоровые ковбои, свистульки, золотые зубы — как попало доставались взрослым, младенцам, детям, старичкам. И каждый, проснувшись

с утра, обнаруживал какой-нибудь подарок — может, не совсем подходящий, но все же чудесный. Только те, кто в жизни ничего не терял, не получили ничего.

А Дидектор открыл Бормотехнику свою последнюю тайну.

И с того дня Бормотехниковы слоники вместе с Дидекторовыми одежками принялись разыскивать паровозик, волшебную елочную игрушку.



глава четвертая

в подземелье с крыши

Шкуры гор — мягкое минеральное полотно, которым заботливая природа перекладывает слои драгоценных камней и кристаллов окунита ради сбережения их чистых зеркальных граней. В древности старатели комкали шкуры, нетерпеливо добираясь до драгоценностей. Потом были обнаружены чудесные свойства шкур. Вымоченные в слезах, растертые о живое тело, шкуры приобретали небывалую крепость. Сшитая из них одежда срасталась, как бы сильно ни была повреждена, ботинки не стаптывались, а наоборот, со временем мозолеобразно утолщались в самых натруженных местах. И вот по прошествии двух дней после пожара дыры на директорском фраке и штанах затянулись, а подкладка Мишатиной телогрейки так сильно отросла, что пришлось местами ее подстригать. Но подстричь — это быстро. Она провела над подкладкой меньше получаса и опять была готова идти дальше.

Они поднялись на крышу водокачки.

Утро явилось ясное и студеное. Заиндевелые, нежные, как перламутр, крыши тихо розовели под цветной морозной зарей.

Пелена тьмы прямо на глазах опадала, дома стояли в ней по пояс, только дворы были полны еще до краев. Так золотились малиновые башни дымов на горизонте, такой дул стеклянный, очищенный солнцем ветер, что тут бы и правда праздновать наступление дня, но Мишата, не поддаваясь обманной радости, видела:

как отлив темноты, отступая в пропасти,
вращает специальной турбины лопасти
и энергия той неприятной турбины
разделяется на две половины:

половина — дым в небеса выбрасывать,
половина — жизнь из жильца высасывать.

Мишата знала, что уже давно часовщики научились использовать приливно-отливную энергию тьмы для своих смертоносных целей.

И еще она видела справа новый город, построенный в эпоху Часов. Город скалистый, город — порождение бредившего разума, который утратил свободу воображать и сохранил только способность бесконечного повторения одной жалкой, безвыходной, скудной мысли... Верхние ряды стекол медленно наливались вишневым и золотым огнем, в ущельях скапливалась густейшая синева, но драгоценные усилия утра были брошены зря — глазурные, леденцовые тона расходовались на коробки и упаковки без всякого кондитерского содержания.

— Это никогда не будет съедобно, — прошептала Мишата солнцу.

Тогда тьма окончательно стекла к подножиям города и ниже, через люки, в подземелья. Турбины взревели, дымы удвоили тучность, и солнце скрылось за ними.

Ветер дул с прежней силой, но, покинутый солнцем, сделался злым. Карта рвалась из покрасневших пальцев Директора, когда он, коленями стоя на железе, проводил черную крутую дугу из мертворожденного нового города в старый. Ежась, она посмотрела туда, куда вела директорская дуга. Как хорошо, что нехорошее позади, что они вернулись.

Она сказала:

— И знаете, Михаил Афанасьевич, опять такое чувство, что то, что мы ищем, — под землей.

— Где именно, в каком хотя бы секторе? — спросил Директор, не отрываясь от карты.

— Надо ходить. Не знаю.

— Тогда пока что поставим вопросительный знак. — И Директор свернул свою карту.

Они спустились вниз. Тусклый хозяин водокачки посмотрел на них и пожевал губами. Он все время жевал гу-

бами, а сам не ел ничего и им не предлагал еду. И вообще ничего не предлагал. Только сказал вчера, когда, заледеневших и замороженных, впустил в башню:

— Вы можете поспать и попить.

— Василий Петрович, — позвал Директор на второй день, — возможно, нам опять понадобится ваша материальная поддержка. Снаряжение, какое мы имели, сильно пострадало или вообще утеряно в сражениях и погонях. Велосипед мы ваш сохранили, но, увы, больше не уцелело ничего. Нам понадобится оборудование, потому что, возможно, придется спуститься под землю. Хотя бы один кокосовый фонарь, передвижная печка, слуховой перископ, компас и кое-какие мелочи.

Василий Петрович поморщился, поскрипел.

— А обещание свое вы помните?

Директор торжественно встал, качнулся, громадный, над хозяином, заключил в свои руки обе его ручонки и с важностью потряс:

— Непременно! Непременно, Василий Петрович, ожидайте гонцов в двадцатых числах декабря! Отряду не обойтись без вас!

Хозяин кисло улыбнулся, приподнялся и полез куда-то во мрак вещей. Директор, сразу сникнув, уселся на скрипучую табуретку.

В блаженном плюшевом покое Мишата смотрела прямо в лицо Директора, в глаза, пасущиеся на дне сумрачных впадин черепа, избегающие ее взгляда.

— Весть об опасных лазутчиках облетела город, — бормотал Директор, — нас везде ожидают, выслеживают, стерегут. Тебе нужно завязать лицо. Не глаза, а все лицо целиком, чтобы нас по тебе не узнали. Это даже пойдет на пользу: не только зрение, но и нюх и слух будут приглушены, и лучше выйдет сосредоточение.

«Что ж, — вздохнула Мишата, — я ничем не могу облегчить его положение». — И обвязала вокруг лица зеленую ткань. Было двенадцать часов тихого морозного дня. Они уже стояли у подножия водокачки. Последнее, что Мишата увидела, — иссохшую руку, закрывающую дверь.

В полдень они вышли, в пять начался вечер; с двенадцати до пяти они двигались короткими перебежками.

Сто перебежек за день. День, измеренный перебежками. Тяжело дались они в голом свете по голым местам! Несмотря на повязку, жильцы очень и очень обращали на Мишату внимание. К вечеру ноги еле несли Мишату, изнемогшую под тяжестью взглядов.

Вечер пришел как помилование, как прилив, раскрывающий глубины для забытых в лужице изнуренных рыб. Но они уже добрались.

...Тут стояло два дома из немногих, покинутых земляками, но еще целых, еще не дождавшихся, пока партизаны проедут сквозь них на своих бонч-бруевичах, выроют котлован, вычистят окунит (непроницаемый воле Часов и защищавший жильцов) и потом выстроят на этом месте фальшивые дома прежней наружности.

Дома были древние. Окна заглушены ржавыми листами железа: земляки боялись покинутых зданий и запирали хранящуюся в них тьму.

Мишата шагнула во двор, под многозначительный взгляд черных окон, откуда проступала настоящая улыбка ночи, ночи, повернутой затылком к бессовестно одураченной часовщиками жизни. Директор прикрыл за собой ворота.

Наконец-то Мишата вздохнула спокойно. Они были одни. В снегу виднелись слабые тропки, но все — собачьи или крысиные. Ровная белесость сумерек не нарушалась ничем. Сугробы местами доходили до подоконников первых этажей и потом беспрепятственно расселялись в комнатах. Ветер свободно пролетал сквозь лестницы и залы, донося до Мишаты запах навеки уснувших вещей.

Директор выбрал окно, чей железный лист был отогнут с одного угла, вынул фонарь, отвинтил медный колпачок, и резной звук хорошо прозвучал в безмолвии двора. Насыпал из пробирки несколько кристалликов кокоса и повернул ключик. Внутренность фонаря осыпалась искрами, вспыхнул огонь — сперва оранжевый, но быстро

набравший силу до ярко-лимонного цвета. Сначала пролезла Мишата, поскользнулась в темноте на льду. Потом залез с фонарем Директор. Лестничная площадка, заросшая льдом, была развернута одним крылом наверх, на второй этаж, другим — в подвальную пропасть. Директор присел на спуске, поставил фонарь. Тени ступеней, жившие в толще льда так же свободно, как и на воздухе, замерли. Сверху журчала и журчала вода.

— Что ж, — чужим голосом произнесло лицо Директора, — этот дом — один из проходов вниз. Но земляки не отключили воду, наверху лопнула труба, дом зарастает льдом, а через два-три дня заполнится весь.

Мишата кивнула. Говорить было не о чем. Она пристроилась позади Директора. Подняв фонарь, он оттолкнулся ногами. Заклубившись паром, как маленький поезд, они поехали по ледяной лестнице вниз.



наедине с похитителем кукол

Густая, гуще тумана сырость слоями лежала в комнатах, до середины затопляя изгнившую мебель, и зеркала, и бродившие в зеркалах отражения, на которые Директор запретил Мишате смотреть. Они пошли ниже и попали в подвал. Он был тесный, низкий для Директора, и весь угол обрушен вниз. Директор с Мишатой с большим трудом выбрались наконец из руин на подземную улицу.

По уличной вымостке, по сырым камням, квадратным, как буханки хлеба, бежали ручьи. Иногда попадались поперек расщелины, полные глубокой воды. Кое-где толща земли, словно утомясь, опускалась на мостовую, стискивая пространство до узеньких лазеек, а потом вдруг разлеталась громадными пустотами, прошитыми корнями до самых подвалов. Дохнуло затхлым ветерком, и все близился плеск реки. Оказавшись на берегу, путники пошли через топкие болотца к чему-то громадному, смутно растущему из мрака. Оглядевшись, Мишата рассмотрела два великих устоя обвалившегося моста. Между камнями, каждый ростом с Мишату, виднелись на высоте оконца, и одно из них тихо светилось. Директор вытер ноги о половичок у двери и нажал кнопку звонка. Нажал еще и еще, и было неясно — сломан звонок или нет. Ни звука не проникало из недр каменной громадины. Директор приотворил дверь, боком они пролезли вовнутрь.

«...жизнь я питался видениями утреннего берега, ожидающего меня по ту сторону черной стены, Часов. Мои мысли собрались в точку на этой стене, укравшей у меня берег, его дымы, его осоки. О стена! Ты оказалась

надежнее моего берега! Двести лет отдал я на твое сокрушение и, как только собрался наконец размахнуться... И что же требуется теперь от меня? От меня, зазубренного и заточенного для удара, от меня, у которого отмерло все, что не предназначено в рывок, в ненависть, в уничтожение? Может ли требоваться, чтобы я остановил разбег, когда этот берег встал между мной и стеной!» — прочла Мишата, и уже нельзя было вырвать лист для растопки, потому что оставался один последний и на него попали две буквы последнего слова. Она еще посмотрела на этот лист, и сердце у нее сжалось. Мишата сняла миску с молчаливой печки и стала есть холодный суп. Голая комната, стол, громадные камни копченых сводов, вялая лампочка, черное окошко, где плещет невидимая река... Директора нет, он опять исследует все вокруг? Разведывает? Или сидит в укромном месте, обхватив голову? Мишата положила было ложку, но, заставив себя, подняла опять. Подняла, но не донесла до рта: за спиной кто-то стоял.

Мишата посидела тихо.

Потом снова стала поднимать ложку, одновременно стараясь мысленно рассмотреть вошедшего. Наверное, хозяин дома — раз не принес с собой ни одного незнакомого запаха. Он присел на стул.

Мишата спросила:

— Что вы подкрадываетесь?

Никто не ответил, и она обернулась. Глаза, жгучие и жадные, как воронки всосали ее взгляд без остатка и тут же исчезли, погашенные ладонью.

Человек сказал глухо, с усилием:

— Не хотелось шуметь, мои куклы спят.

На пальце его сверкало кольцо с блестящим камнем, кружевная манжета завернулась, вся рваная, темная от сырости и грязи. Шелковый бант на шее, перекошенный бархатный жилет, наспех, не на ту пуговицу застегнутый, брюки, съежившиеся на толстых ногах, немножко не достающих до полу, лаковые туфли, распухшие, полные влаги...

Мишата произнесла:

— Так легко разбудить куклу?

— Нелегко, — отозвался он. — Нелегко на это отважиться. Раньше они никогда не спали, а теперь спят все чаще и чаще. И я не могу решить — сон восстанавливает их силы? Или, наоборот, высасывает? Если бы вы знали, как им тягостна эта жизнь! Роскошь, богатство, сверкание — вот их удел, а я похитил их из родного дома, превратил в пленниц, утянул за собой на дно, где вечный мрак, летучие крысы, где у них даже вместо пуговиц спички... О волшебная гостья! Как восхитительны ваши пуговицы! Вы позволите рассмотреть их?

— Пожалуйста, если хотите.

Человек — он был черноволос, мал ростом и толстоват — приблизился и преклонил колени. На один только миг, мельком, он зацепил Мишатин взгляд и тут же впился в янтарные пуговицы ее платья.

— Они так прекрасны, — промолвил он почти шепотом, меняясь прямо на глазах, как будто из него выпустили воздух. — Можно взять хотя бы одну?

— Простите, — вежливо сказала Мишата, — но это подарок Михаила Афанасьевича. — Мишата подумала, что когда-то этот человек был, возможно, артистом. Но потом смех вышел из него, и теперь он весь какой-то сдувшийся, опавший, в складках и нестриженых волосах.

— Тогда, конечно, ни в коем случае, нет! — воскликнул Господин со рвением... Отступив на шаг, он снизу смотрел Мишате в глаза. — Тогда это неприкосновенно! Я бы никогда не отважился подарить вам что-нибудь...

Он встал на колени, весь вытягиваясь, приближая к Мишате расширенные зрачки.

— Я почти час наблюдал за вами и не мог подойти. Ваш облик ни сердцем, ни сознанием вместить невозможно. Смотреть на вас нестерпимо. К встрече с вами нужно готовиться, годами растягивая душу. Искры, подобные вам, приводят в движение жизнь, но они обычно припрятаны из милосердия! Чтобы мы, земные твари, чувствовали тепло, но не ослепли! Только Додыров, этот

василиск, может смотреть на вас не моргая... Он вечно окружен чудесными предметами и райскими существами... Нет ничего удивительного, что вы появились рядом с ним. Все это так, однако...

Он перевел дух.

— И все же, — почти крикнул он, — все же и для додыровского мира вы слишком невероятны! Посмотрите на меня, маленькая фея! Хоть меня и мучает это, посмотрите! Я знаю, кто вы, слышал о вас... Не только я. Знают все полупризраки, все языки во всех складках, швах и тайных карманах города... все, все шепчут об этом... Появилась девочка неимоверной красоты, девочка с посеребренным пупком, способная поднять свечу за пламя, носящая перстень с бездонным колодцем вместо камня... Девочка, воспитанная снеговиками... Девочка, которая сокрушит Часы! Вы — острие, заносимое Додыровым двести лет, вы — его самый сокровенный замысел! Но берегитесь, нежная Офелия! Ваша сила слишком велика. Всякий, вдыхающий от вас хоть немного, заболеет! Как бы Додырову не порезаться о свое собственное оружие! Слышите вы меня? Ответьте мне, поговорите! Это надо и вам тоже, я знаю, ведь нельзя так долго говорить только с самой собой...

И он, дрожа, придвинул стул и сел напротив нее. Руки он спрятал под стол. Совсем запыхался, оказывается. «Ужасно нервный господин», — подумала Мишата. Как могла, успокоилась, убралась немного в мыслях, где кое-что передвинул вихрь его речи, и только потом сказала:

— Пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. Вам волноваться нечего. Только ждать, а еще лучше — помогать нам. Когда Часы падут, мы все разделим наступившую вечность.

— Нет-нет, о принцесса, — вскричал Господин и вскинул руку, заграждая путь Мишатиной речи, — я о другом, попробуйте понять, молю... Слушайте: представьте меня, который живьем зарыт в землю! Ползать по грязной изнанке города, дышать через трубочку со дна боло-

та, обрезать и продавать драгоценные пуговицы с платьев своих пленниц, чтобы было на что скитаться, спасаясь от погони... Ни чести, ни будущего, ни воспоминаний... Все, что мне остается, — ждать свержения Часов, и я жду, жду изо всей силы. Я лучший из ожидающих, поверьте... И я бы никогда не вмешался, не подошел бы к вам, если бы не увидел, что надежда моя в опасности, опасности, которую не предвидел и от которой не уберечься. Поэтому я говорю — прошу, умоляю... Принцесса! Будьте осторожны! Додыров непрерывно находится рядом с вами, вот уже много недель наедине с вами, и предел его стойкости перейден. Милое дитя, мечта и боль наша, Судьба настоящего, Царица будущего века, не стать бы вам для Додырова врагом более страшным, чем Часы!

— У вас бант почти развязался, — сказала Мишата.

— Да, — шептал он, не отрывая от нее глаз, — вы должны понять, я не спал второй день... Я знаю: погибнут Часы, и я выйду наверх, мы все выйдем наверх, и пуговиц будет не надо... Но умоляю вас! Идите с ним, повинуйтесь ему во всем, приложите все силы, какие можете, — и все-таки: берегите, берегите себя! Часы пока впереди, а это уже здесь, рядом!

Выборматывая свои речи, он навалился на стол и тянулся ближе и ближе к Мишате и последние слова произнес буквально на расстоянии мороженого от нее...

Мишата сидела, спокойно выдерживая его воспаленный взгляд, сидела твердая, ясная, открытая любым словам, с кусочком льда вместо сердца.

Кожей она ощущала, что освещенные участки лица у нее вычерчены как по таблице, и еще чувствовала огромные запасы улыбки, скрытые в тканях лица, готовые проступить от малейшего нажатия, как роса изо мха. «Если я улыбнусь, — подумала Мишата, — еще расплачется». — И сказала как можно ровнее:

— У вас есть бумага?

Господин даже вздрогнул, очнувшись.

— Бумага? Зачем? Много?

— Сколько-нибудь. Самое меньшее — растопить печ-



ку. Директор болен, вернется мокрый, а тут и супа не разогреть… А еще, конечно, хорошо бы нам взять с собой.

— У меня туалетная есть.

— Это еще лучше.

— Что же это! Печь не растоплена, суп ледяной! Простите и потерпите, лилия, я слегка опомнился, я обустрою все…

Он забегал, захлопал отстающими подметками.

Пока Мишата ела, он стоял, отвернувшись к окну.

— Куда вы дальше? — спросил он.

Мишата пожала плечами. Господин достал папиросу, пальцы его прыгнули, табак осыпал полы жилета… Послюнив кое-как обломок, он закурил, присел на вежливом расстоянии.

— Ведь я тут служу перевозчиком, — пояснил он напряженно, — переправляю на ту сторону. Трудные там места — газовые болота. Болота, болота, а потом стена — укрепления Часов. Стена из чистого антрацита. Но я там не был, знаю лишь по рассказам. И тут хватает трудностей: утонувшие корабли по всему дну, в середине реки торчит решетка, воткнулась, когда мост взорвали. А течение быстрое. Вам-то куда?

— Да так, — отвечала Мишата, — куда поманит. На ту сторону пока не надо. Я прислушивалась — вон куда надо, вниз по течению. Мы у вас лодку возьмем.

— Я знаю, вы собираете елочные игрушки для особенной елки, — осторожно сказал Господин, — готовите ее как тайное оружие. Какой-то шепот о чудесных игрушках идет давно, но ведь это лишь догадки Додырова, что ваша елка возымеет действие?

Мишата помедлила с ответом. Ее моментальное сомнение коснулось и его, как тень, но прежде, чем он успел взмахнуть руками и выговорить какие-то извинения, она уже приняла решение и отвечала:

— Это не догадки. Это основано на текстах документов из партизанского министерства, которые Михаил Афанасьевич нашел. А в документах написано про вели-

кого прорицателя. Когда часовщики напали на его жилище, он сидел возле елки, и свечи горели кругом, не сгорая, и съеденные бутерброды возникали вновь. Так он сидел уже тысячу лет.

— Прорицатель?

— Ну да. Некий великий прорицатель. В древности он увидал самое окончательное будущее. После этого без перерыва только смеялся и плакал и прекратил свои прорицания навсегда. Единственный раз он нарушил это решение: когда сделал свои игрушки. Он прозрел облик елочных игрушек на тысячу лет вперед и выдул из стекла. И нарядил елку. Игрушки из разных времен собрались на одной елке, и время замкнулось, и в комнате наступил вечный Новый год. Жестокие часовщики построили огромную пушку, зарядили ее вместо снаряда этой комнатой — и выстрелили. Последнее, что было слышно, — смех прорицателя. Смех, не плач! Понимаете? Вот почему мы с радостью смотрим в будущее и не теряем надежды. Ну вот, — закончила Мишата, устроившись с ногами на лавочке, — а игрушки рассеялись по городу.

— И вы надеетесь их все отыскать?

— Они стремятся собраться сами. Все годы они бродят в поисках друг друга. Они никогда не задерживаются на одной елке больше одного Нового года. Потом устремляются дальше: теряются или их забывают и выбрасывают вместе с елкой или кому-то дарят. Отличить такую игрушку от обыкновенной нельзя. Единственное, чем они отличаются, — не бьются. По этому признаку Директор их и собрал. Все, кроме последней. А последняя изображает паровозик. Он из набора современных игрушек, небьющихся, среди других игрушек его вообще не отличить. Тут и пригодилась я. У меня на эти игрушки чутье. Когда мы этот паровозик найдем, мы дождемся Нового года и к самой полночи проберемся на Часы и нарядим елку. Опять будет так, как в древности: вокруг елки — везде, куда долетает ее запах, блеск ее украшений — время перестанет идти. Часы остановятся и умрут. Город освободится от их бремени. Вы, конечно, понимаете, что

все это тайна, величайшая тайна, и вы, конечно же, эту тайну сохраните.

— Конечно, — сказал Господин, — я сохраню. Мое положение не лучше вашего, я похитил кукол на четверть миллиона золотом. Если меня поймают, то уничтожат.

— И нам в живых не остаться, — кивнула Мишата.

Какая-то беспечность овладела ею. Она сидела, помахивая ногами, поглядывая на Господина. Тот тоже изредка бросал на нее взгляд, но так, словно обворовывал.

«Он просто отвык от людей», — подумала Мишата. И громко произнесла:

— Я верю в Директора. Может, вы правы и стоило бы сомневаться или там опасаться, но этого не надо для дела. От этого нету пользы. Что-то сделать сейчас можем только вместе, и только мы. И он справится с неприятностями... Поскорее бы найти паровозик. Я знаю: найдем — и все пойдет светлее, в гору.

— Я же думаю, — глухо отозвался Господин, — что он давно нашел все, что ему надо. Нашел свое главное сокровище. И теперь от него убегает как может. — Господин отер бантом запотевшее лицо.

Мишата сказала:

— Может быть, вам срезать пуговицы со своего жилета? Они, знаете ли, очень неплохи, напоминают цветом жемчуга. Я могу их пришить на ваши куклы — хотите? Я очень хорошо шью.

Но Господин ответил, затуманясь:

— Нет, милая фея! Я не могу в таком виде являться перед своими куклами. Достойная внешность — вот последнее средство поддержать в них хоть какую-то надежду...

мишата зовет автора, а тот и сам не знает, действительно она верит в него или лукавит, чтобы избежать смерти

Посреди лодки была установлена печь. Лодка делилась тем самым на две части: кормовая — Мишате, носовая — Директору.

Он уселся к Мишате спиной. И Мишата спиной к нему. Она устроилась на кастрюле с гвоздями, прикрыв ее свернутым парусом (Директор взял: пригодится, мол, когда они войдут в область подземных ветров).

Мишата уселась поудобней, ноги установила на дрова (их было мало, но Директор рассчитывал найти впереди угольные пласты) и стала глядеть на берег. Глинистый, он освещался факелами из расщелин скалы. Пламя плакало и с хрустом лилось на блестящую прибрежную слизь. В глубине глухо светилась громада моста, а далее — тьма. Быстрые воды реки, поблескивая, исчезали в пахучем мраке.

Господин одиноко стоял по щиколотку в грязи. Мишата махнула Господину, он отдал важный неторопливый поклон. Мишата смотрела, как удалялась его фигура вместе с розовым островком света и блестящей полоской воды. Но поворот закрыл наконец Господина, и путники остались вдвоем.

Ночь вертикальна, единственный выход из нее — небо. Каждому, кто оказывался по горло закопанным в темноту, знакомо чувство колодца ночи, колодца, чья крышка украшена серебром.

Но подземная река иная. Сверху на нее села и позабыла о ней тьма. Подземная река — ночь, положенная набок,

бесконечно открытая в овальную даль. Мишата легла головой туда, вдаль. Закрыла глаза — ничего не менялось, но так было привычнее.

«Я взлетаю вместе с рекой. Судьба воды теперь и наша. Вода еле плещет, и я тоже отдохну», — сказала себе она.

Но вскоре она уловила в разговоре реки незнакомый призвук. Мишата села и зажгла лучину. Это рука Директора, свесившись из лодки, морщила убегающую воду. Он заснул.

«Придется отказаться от отдыха», — решила Мишата. Лодку нельзя было бросать на свободу.

Темнота была непроглядная, факел не помогал. Пришлось зажечь печь. Красноватый свет почти ничего, кроме полулодки и полу-Мишаты, не освещал — слишком далеки были склоны туннеля, — но хотя бы немного виднелась вода.

Иногда ей чудилось, будто длинная рыбья тень катится наискось из глубины, но всякий раз это оказывалось просто совпадением тени весла и особо длинной волны. Немного беспокоили огоньки, возникающие впереди: то ли лодочка языков, то ли сигнал прибрежного соглядатая, а вероятнее всего — вкрапление искристых минералов в стенах туннеля...

Еще заботили черные развалины, проходившие иногда в опасной близости от лодки. Не то чтобы они серьезно грозили, а просто имели слишком мрачный, сутулый, многозначительный вид. И их делалось все больше. Мишате пришлось даже взяться за весло, чтобы пройти под мышкой одной развалины, причем в небольшом водовороте тут же лодку повернуло и повлекло некоторое время боком — боком, боком, пока не встала поперек целая стена. Скребя бортом разопревшие кирпичи, лодка потащилась продольно. Волны то слегка заносили ее вбок, то опять стукали в стену. В одном месте от этого обвалилась целая белокаменная губа. Вдруг могучее окно появилось слева; сверху, с замкового камня, Мишате улыбнулся мраморный конь, и лодку немедленно втащило вовнутрь.

Горбатый закопченный потолок убегал от Мишаты, кое-где приседая на колонны, которым не давали развалиться рыжие обручи, мохнатые от ржавой плесени. Мишата запыхалась, отталкиваясь веслом и вращаясь между колоннами. К счастью, через пролом в стене ее вытащило на проток — подземную улицу.

Теперь можно было опустить ненадолго весло. Мишата, воспользовавшись покоем, добавила дров. Печь набрала силу, все ее глазки и заушины засияли, и окружающие дома выдвинулись из мрака. Потом лодка вышла на открытое место, где жило самостоятельное, ни к чему не относящееся эхо и над водой бродили туманы. По колено в них стоял остров с огромным основанием башни. Течение здесь немного усилилось, и лодка пошла ровнее...

Еще раз Мишате пришлось притормозить веслом, когда реку пересекала цепочка крыс — аккуратная, голова к голове. На спинках крысы везли столовые приборы, вилочки и ложечки из серебра, а седая царица-матка в туфельках из вишневой кожицы, верхом на живом крысином плоту, держала в лапках опаловую обезьянку. Мишата дождалась последней крысы, плывшей задом, и отпустила лодку.

Недолго еще беспокоили островки, но скоро тоже исчезли, и вот Мишата осталась совершенно одна. Медленно проплывали мимо земные недра.

Слабые звуки — капель, отплеск реки, шорох осыпающихся пород — оставляли здесь длинные тени эха, что протягивались вдаль, ветвились по бесчисленным ходам и туннелям, пропадали и возвращались назад в сопровождении иных отголосков из неизвестных пространств. Будто шепоты недр следовали мелодии, только очень тягучей — такой, что между нот оставались огромные промежутки тишины. Мишата завороженно слушала, пока ей не показалось, что паузы предоставлены ей для ответа. Тогда Мишата запела.

Сперва она пела тихо, останавливалась и ждала голоса пещер... Мишата пыталась понять, отвечают ли ей подземелья или это ее собственное пение отражается

в кривом зеркале эха. Скоро она пела почти непрерывно.

Уже потом, распевшись, она поняла, что слово за слово, будто сами собой, выпевались у нее древние заклинания. Шея и руки, наполовину освобожденные из рукавов, стали покрываться осторожными ледяными точками.

Она не помнила, когда именно увидела первую снежинку, в какой момент бессвязные звуки пения перестроились в торжественные строфы, которыми с незапамятных пор снеговики приветствуют снегопад... А снег шел уже давно. Теперь лодка летела как будто вверх, и встреченные ею крупные снежинки тихо оседали на бортах и дровах, на веслах, на поклаже, на Мишатиной шее.

Снег не таял на ее коже. Забыв о руле, о направлении, о цели плавания, Мишата пела все громче, а снег падал гуще и гуще, будто сами подземелья стали распадаться, открывая белесый бездонный простор... Позади, под своим сугробом, кажется, пробудился Директор и смотрел ей в спину.

Он смотрел, может быть, совсем другим взглядом — изумленным, промытым, ясным. Он лежал и слушал, помаргивая от капель, нарастающих на ресницах.

Чудные и тревожные звуки пения распускались долгими гласными, летящими все выше, звенящими все чище, и вдруг, перелившись незнакомым словом, внезапно уходили вниз — в какую-то новую, низкую, тягучую ноту... Ему были видны худые позвонки Мишаты, ее ладони, открытые вверх, сухие, полные растущего пушистого снега. Она словно удалялась — все невидимее и невидимее в густеющей белой пелене. Он хотел окликнуть ее, но помедлил, и снег, который пошел еще гуще, окончательно скрыл Мишату, оставив Директора в пустоте.

Когда она очнулась, воздух был морозен и чист.

Лодка летела вперед, Директор спал, снега не было.

Характер берега изменился и менялся все сильней. Больше и больше камней громоздилось на перекатах и нависало над самой рекой. Вода сделалась говорливее.

Десятки цветов-подсвечников, гнездившихся в ка-

менных расщелинах, стремительно расцветали, попав в слабое облако печного света, и тут же вяли, оказавшись опять во тьме. Порой небольшие ручьи вдруг решали покинуть реку и исчезали в разломах, откуда Мишату обдавало голосом водопада...

Беспорядок движения реки возрастал, и так же беспорядочным делалось ее направление: новые и новые туннели теснились и перехватывали течение друг у друга, повороты реки сделались резче... В голосе воды звучала угроза; сильно похолодало. Когда Мишата попыталась притормозить о стену веслом, оказалось, что прибрежные камни в тонкой корочке льда и весло соскальзывает.

Надо было будить Директора. Зря, некстати — в его состоянии он мог, проснувшись телом, душой окончательно провалиться в пучину бреда. Но не было выхода.

— Михаил Афанасьевич! — позвала Мишата и потрясла его обеими руками за фрак.

Он сел, и обледеневшие складки фрака хрустнули. Пристально взглянул Директор на печную трубу, из которой с гудением било назад огневое месиво. Посмотрел вперед — лодка неслась к пропасти...

— Что делать? — крикнула Мишата.

— Якорь! — грянул он поверх водяного грохота.

Они принялись навязывать на веревку все что можно: топор, кастрюлю гвоздей, сачок и прочее. Выкинули веревку за борт, закрепили весла поперек течения, но это ничего не дало — лодка разгонялась. Холодало все сильнее, и еще увеличился шум — далекий и тяжелый гул, от которого тихонько дрожали скалы. Вода разбивалась о камни и застывала в полете, обращаясь в крохотные ледяные пули. Этот встречный свищущий град сгибал путешественников и загонял под защиту печи.

Окутанная дымом и паром, лодка проваливалась в неведомые бездны, и холод смыкал вокруг нее драгоценный и ужасный свой футляр. Вещи медленно тяжелели, покрываясь льдом, и весла раздулись, потеряли форму и бесполезно стучались в застывшие берега. Изумрудные глыбы тянулись друг к другу поверх воды, и вода помер-

твела, готовясь принять их плен, и летела все отвеснее и отчаяннее. Директор стоял согнувшись, блистая оскаленными зубами, сжимая в руках весло. как копье, словно собираясь поражать бездну.

И его миг настал. Вперед выскочило ледяное жерло: лед смыкался над водой. Перед чернеющей воронкой вода вздувалась, вдвое увеличивая давление; из глубины навстречу летел неслыханный вой.

Тогда Директор пригнулся и упал вперед, грудью навалившись на весло. Весло ударило лопастью в скалу, уперлось в борт, резко развернуло лодку набок... Сразу же, с носа до кормы, она хрустнула от удара о лед; но дыра оказалась меньше, и лодка, прижатая течением поперек, застряла. Подавившаяся река задыхалась, поднимая и роняя лодку, пытаясь то с носа, то с кормы развернуть и потащить ее все-таки дальше.

— Я выскочу! — крикнула Мишата. — Я не соскользну!

Она моментально сбросила сапоги и, дождавшись очередного подъема воды, прыгнула на обледеневшие скалы. Оказалось совсем не трудно: только на миг ее тело как бы пришло в раздумье, но она неуклонно выползала, цепляясь ногтями, и выползла наконец.

Директор бросил ей снизу веревку, и Мишата обмотала ею прибрежный ледяной обелиск. Директор вылез по веревке и закрепил узел. Как только вес Директора покинул лодку, течение сразу справилось: развернуло, как надо, лодку, та нырнула было в ледовый туннель, но затрепетала на привязи. Только корма осталась снаружи.

— Спустись, — указал вздрагивающий Директор, — ты легкая, будешь передавать вещи.

Мишата, цепляясь кое-как, спустилась обратно на корму.

— Сначала шпагу, — сказал с высоты Директор.

Она нашла шпагу и протянула. Подала за ножны, рукоятью вперед.

Директор дотянулся до рукояти и вытащил шпагу, а Мишата осталась в лодке с ножнами в руках. Она еще

продолжала протягивать ножны, но потом вгляделась и опустила руки. Директор взмахнул шпагой…

В голове у нее прояснилось, словно настал рассвет: все мысли и изображения предстали умытыми, четкими, аккуратно стоящими на своих местах. Ее сознание целиком, до последней мелочи, находилось в ее распоряжении, в ее власти. Она слышала гул реки, горький шепот Господина в ее начале, рев смертоносного водопада в ее конце, пение языков, танцующих в рудных шахтах, ритмичное биение Часов в глубине, видела сияние паровозика в конце дороги, город, готовящийся ко сну, звезды над ним и посреди всего этого — крошечного смешного Директора с игрушечной шпагой в занесенной руке… Это должно было случиться, и вот случилось, и ничего, никаких чувств не вызвало — словно в лодке стояла не обреченная Мишата, а кукла, пустое место, сама же Мишата была далеко отсюда, высоко, широко, везде. Не поднимая глаз, она отлично видела Директора. Одна странность была в его облике — корона на голове почему-то.

Мишата все-таки взглянула вверх. Директор стоял, занеся шпагу над веревкой, корона на голове сияла. «Откуда? — пронеслось в голове у Мишаты. — Ведь я помню, был цилиндр. Значит, корона из его сна, он так по-настоящему и не проснулся… Но шпага-то настоящая».

И она сказала:

Это кто в златом венце,
с черной думой на лице
сам не знает, чего просит,
и уже свой меч заносит
над узлом, который сам
перед этим завязал?

Чтобы это разрубить,
надо это разлюбить.
Не сумеет, не сумеет:

или шпага онемеет,
или пальцы разожмутся,
или мысли разбегутся,
или слезы затопят
с головы его до пят.

Она произнесла это в мыслях, наяву лишь беззвучно шевеля губами. Но Директор, конечно, услышал, вздрогнул и закричал в ответ:

Я сражался двести лет,
нету слез, и мыслей нет!
Стал стрелой в бездонной чаще,
каплей яда в темной чаше,
камнем в шелковом чулке,
бомбой в сахарном кульке!
Заострилось бытие,
превратилось в острие,
чтоб пронзился жизни склеп
и пролился жизни свет.

Пусть нас всех постигнет мрак,
но пускай погибнет враг!

И ударил с размаху по веревке!

Мишата, стоявшая понурясь, с улыбкой сострадания на лице, качнулась от рывка реки, слегка вскинула руки, чтобы не упасть, и этот жест — приподнятая рука, виноватая улыбка — последнее, что увидел Директор за пеной водоворота... В глазах у него потемнело...

Но тут она сказала:

Все равно на целом свете
крепче, чем волокна эти,
не найдется вещества.
И такого волшебства,

чтоб заставить эту длань
разрубить вот эту ткань,
чтоб заставить этот меч
эту перевязь рассечь,
в целом мире не сыскать.
Пусть попробует опять!

И Директор увидел, что веревка по-прежнему цела и натянута как струна.

Он закричал:

Нет таких на свете сил,
чтобы меч остановил
свой полет. Руби, рука,
рассекай на два куска!

Но его дрожащая рука не могла занести шпагу, и волосы вздыбились, зубы стучали:

Не могу поднять руки!
Ну, рука, руби! Руби!
Ну руби же! Ну давай!

Мишата ответила:

Бесполезные слова;
сила с нами есть одна,
вам препятствует она.

И Директор увидел, что на самом деле шпага занесена по-прежнему, а он не может шевельнуть ею. Обессилев, Директор опустился на камни. Дрожащей рукой закрыл лицо... Но в другой руке он по-прежнему сжимал шпагу и, не выпуская ее, тихо спросил:

— *Что за сила в мире есть,*
о которой слышу здесь?

Отвечай! Я жду ответа!

— Автор! Автор — сила эта...

— Ты в его существованье веришь?

— Даже в этой ванне,
бесноватой, ледяной,
знаю я, что он со мной,
что под шпагой занесенной
это он, мой дух веселый,
не дает мне приуныть.
И его другие сны
я подглядываю. В них
вижу север дней моих.

Автор, автор! Где ты, где ты?
Лишь улыбку сквозь предметы
различаю я порой.
И ты знаешь, разум твой
ощущаю я едва:
ты живешь, и я жива.
И свободна. Ты вовне,
только кровь твоя во мне.

Ну а ты, печальный царь,
по веревке сей ударь!
Не пугайся, храбро бей,
чудо явится тебе!

— Я не верю в звуки эти,
нету автора на свете!
Вдруг поддастся волокно
и пойдешь тогда на дно?

— Не пугайтесь, бейте смело!

— Нет, боюсь!

— Тут вот в чем дело:
веры нет у вас в душе!
А была бы, так уже
много раз Творец бы дал
нанести вам свой удар.
Дайте мне! Я разрублю.
Волю дивную явлю!
Слава острому ножу,
им я чудо покажу!

(Директор, на миг поддавшись словам Мишаты, неуверенно протягивает ей шпагу. Мишата берется за рукоять и заносит шпагу над веревкой. Директор страшно бледнеет. Мишата бросает шпагу в воду. Директор стоит еще немного, оцепенев, и потом падает без чувств. Он ударяется головой об лед и приходит в себя в полной темноте.)



подземное море

Холод стоял такой, что директорские кости и мышцы словно смерзлись в том перекрученном положении, в котором он себя обнаружил. Движение причиняло боль. Преодолевая ее, сдерживая стон, Директор повернулся на четвереньки.

Зрение отсутствовало. С закрытыми глазами было даже легче: появлялись хотя бы бродячие пятна света. Зажмурившись, Директор пополз. Он полз туда, где ревела вода и еще как бы отдельно от этого рева стоял некий общий, негромкий, но все проницающий гул.

Дорогу преграждали обломки скал, скользкие накаты, покрывавшие дно пещеры. Директор бился о них до тех пор, пока боль не отступила из кожи в глубину костей. Это не принесло облегчения, наоборот: ничто теперь его не отвлекало, и другая боль, боль утраты и чудовищной ошибки, переполнила его сознание.

Он застонал от этой новой боли и пополз быстрее. Случайно попал рукой в угли, в золу. Здесь когда-то горел костер. Его остатки были теперь холодные, но в камнях сохранилось крошечное тепло.

Тут же рядом Директор нащупал обломанный ледяной нож. Пряча обломок в одежду, Директор выпрямился на коленях и ощупал себя. Он не узнал себя на ощупь. Он не имел никакого смысла.

Кое-как Директор выкарабкался из пещеры на берег. Шум реки стал сильнее. Он нащупал веревку и проследил ее путь. Один конец был обвязан за береговую сосульку, другой рвался из руки, и его движения казались согласными с ритмом подъема и спада потока. Перехватив веревку поудобнее, Директор вытащил нож и стал резать ее чуть выше места, за которое держался. Резалось с трудом — нож, вернее, обломок его, был очень туп. Наконец удалось, и освобожденный конец сильно дернул Директора за руку. Он успел отпустить веревку, но равновесие было

потеряно: взмахнув руками, Директор упал. К счастью, в последний миг успел увернуться и упал не грудью вперед, в пустоту, а на бок и рукой ухватился за лед. Нож улетел.

Тогда Директор пополз вдоль обрыва туда, где увеличивался грохот и гул. Путь делался все труднее.

В тех местах, где Директор соприкасался с миром, его тело медленно разрушалось. Особенно страдала голова, гораздо менее, чем колени и ладони, готовая к столкновению с камнем и льдом. Но хотя Директор истирался и оббивался о препятствия, расходовался он все-таки медленно и мог бы проползти еще, наверное, тысячу дней.

Но в этом не было нужды. Преодолев самую трудную точку перевала, Директор ощутил неодолимое стремление вниз. Гул окружил Директора со всех сторон. Впереди он увидел скалу — изувеченный край темноты на сером светящемся фоне. Потом под рукой ничего не оказалось, и Директор покатился вниз. Камни били в самые неожиданные места. Последний ударил Директора в живот и остался так лежать. Директор тоже полежал. Ветер пронизывал до костей. Убедившись, что камни успокоились, Директор подобрал к животу руки, ноги, перевернулся спиной наверх и открыл глаза. Перед собой он увидел море.

Оно стояло стеной ровно до половины мира. Подергиваясь живыми, блеклыми и блестящими, как масло, складками, у самого горизонта книзу оно медленно потухало, морщилось. Морщины становились все подвижнее и крупнее и наконец возле самого Директора набегали тяжелыми длинными пластами, шлепались всей длиною о лед и пропадали из глаз. Середина же моря стояла глухая, и там чувствовалась его чудовищная глубина.

Директор попробовал подняться на ноги и сумел. Он побрел направо, осторожно трогая подошвами валунно-льдинную поверхность побережья.

Вскоре путь ему пересек кипящий разлив воды — река, подземная река. Набегая из далекого водопада, скрытого тьмой, вода неслась поверх стертых каменных глыб и отдавалась морю. Совсем рядом от берега, в месте смеше-

ния вод, маячила лодка. Она была пустая и совершенно целая. Длинный обрывок веревки поднимался и опадал вместе с волнами.

Директор вступил в реку. Ледяная сила тащила его в море, а ветер, наоборот, сгибал тело в направлении тьмы. Директор наклонился и двинулся, хватаясь за камни пальцами. Рукава фрака отяжелели до самых плеч.

Когда Директор выбрался на другой берег, холод заставил его шевелиться быстрее. Он запыхался. В полумраке он видел спереди и над собой каменные отвалы, обломки, белесые столбы и натеки льда. Это тянулось сколько хватало глаз, вперед и вперед, пока сумрак не растворял очертаний. Запинаясь и валясь во все стороны, Директор шагнул туда. Бесконечность видимого пути сдавила его дыхание.

Напрягая глаза, собрав на это все силы, он видел только пустоту, пустоту и море, море и мрак, спереди и сзади мрак без конца. Здесь не было того, чего ему хотелось, и, может быть, этого нигде не было. Этого настолько нигде не было, что тупые всхлипывания у Директора внутри переросли в короткий визг и умерли. Но ноги держали Директора, и все его туловище было пока еще живо. Оно побрело куда-то вдоль берега. Вдруг, шагах в ста наверху, крошечная звезда, как игла, вспыхнула и исчезла между камней. Директор, будто пронзенный, крикнул.

Гул ветра и моря не пустил этот крик, он отлетел и рассеялся, как комочек сухой травы. Но крик выжег у Директора все силы, все до конца, и Директор сел.

Свет появился опять. Тогда оказалось, что Директор бежит.

Он сам не понимал своего бега. Камни, между которыми появлялась и вспыхивала лимонная лампа, должны были оказаться рядом, немедленно, сию же секунду рядом, но не оказывались и не оказывались, не оказывались и не оказывались…

Сначала он увидел фонарь, кокосовый фонарь, стоявший в расщелине, и бледную, полуосвещенную девочку рядом. Она еле улыбалась, тяжело откинувшись назад.

Через плечо ее шла белая перевязь, дважды окружающая ее пояс и закрепленная узлом. На узле, подсунутые под перевязь, лежали с десяток длинных, изуродованных и облизанных морем древесных корней. Губы серые, и две крохотные ноздри, и лицо очень худое — маленький, твердый орех. Руки, обнимающие корни, красные, обожженные ледяным ветром. Она показалась Директору совсем взрослой, лет одиннадцати. Но ведь не могло пройти столько времени! Секунду после он увидел ее голову, ее еле отросший ежик, такой же, каким Директор помнил его и прежде, и тогда она опять стала своего возраста и размера.

Девочка указала вниз. В расщелине между камнями застрял изогнутый корень.

— Это выносит в море какими-то речками, — крикнула Мишата, — которые начинаются наверху. Вытащите этот! И возьмите у меня часть, а то уже два раза все разваливалось.

Директор взял у нее корни и, сжимая их, стал осторожно спускаться вслед за Мишатой к воде.

— А во льду попадаются водоросли, — кричала, полуоборотясь, Мишата, — но очень редко! Интересно, есть ли тут рыба? Когда мы поплывем, вы же попробуете половить? Я череп видела, весь обкатанный, как поплавок. А там дальше, мы потом сходим, остатки слюдяного корабля. Огромный! Ему, может быть, с тысячу лет, внизу слюда уже превращается в лед, а вверху еще держится, и мельница сохранилась. А вон наша лодка! Смотрите, отвязалась! Держите-ка ее.

Сложив корни у воды, они вытащили лодку на сушу и перевернули ее вверх дном. Уселись на днище рядом.

— Лучше не отдыхать, — сказала Мишата, — лучше отдохнем там, у огня. А то вы из воды. И ветер...

Но они сидели и смотрели на море.

Она сидела, и он сидел.

— Как похоже на угасший закат. Но это не связано с солнцем, — сказала Мишата. — Я сперва думала, что

это подземное солнце, но за два дня свет ни разу не переменился. Тогда что это?

— Скопление сонных газов, — прошептал Директор. — Они собираются в верхних пазухах недр и светят на море вниз. Прошло два дня, как я без памяти?

— Да. Даже два с половиной, если считать, что вы потеряли сознание, в общем, сразу же, как мы покинули обитаемый мост.

— Как же ты справилась?

— Да я, видите, не особенно и справилась — вон куда загнала лодку. А так — ну что особенного? На берег вы вылезли сами, мне оставалось только перетаскать вещи. Костер жгла, и все. А эту ночь вообще проспала, и дрова все сгорели, и костер потух, вот вы и проснулись от холода.

— Ты хочешь спать?

— Хочется. Но не раньше, чем мы поплывем. А сейчас идемте, идемте. Нельзя сидеть.

Мишата показала свою тропку между камней — совсем узенькую, и Директор сумел пролезть — так он исхудал... Дошли, разожгли костер и попили кипятка. Перетаскали вещи на берег, сложили в лодку, поставили парус. К полуночи вышли в море.



глава восьмая

два дня пути в прошлогоднем холоде

Холод, охвативший путешественников, был только эхом давней зимы, медленно уходящим вглубь поясом мерзлоты. Прошлогодняя весна уже наступала сверху, и каменные края морской чаши, изрытые, как изнанка гриба, несметными ходами, оттаивали. Глубинные ветры, до предела разгоняясь в кольцевых туннелях и одичало вырываясь на морской простор, несли с собою тепло.

На волнах теснилось бессчетное множество зеленовато-серых полупрозрачных льдинок. Они бились о лодочные бока, лодка вздрагивала, но не более: сила ее движения была велика, море расступалось, и Директор, довольный, то и дело нажимал большим пальцем на парус, точно пробуя мышцы ветра.

Мишата сидела на носу, поместив голову между колен, и сонно смотрела туда, где над морем раскачивался сонный газ, голубея облачками по краю. Ветер, проходя через облака сонного газа, прихватывал его за собой и тянул длинные горящие ленты, вьющиеся над сумрачной стороной моря.

Резкие крики летучих крыс оглашали простор, а некоторые крысы, засыпая на лету, прочерчивали поперек небес огненную линию и качались потом на волнах, безмятежные, сложившие крылья наподобие маленькой лодки.

«Паровозик мой там, через море и вверх, — думала Мишата, — значит, нам нужно проплыть под газами. Не уснем ли мы окончательно? Не опасно ли это? Надо узнать у Директора. Что он думает?»

И она оборачивалась на Директора.

Тот был слаб, безобиден, как бульон, и счастлив.

Он ловил рыбу: смачивал сухари в своих кровоточащих ранах и на крючочке выбрасывал за борт. Он поймал уже две большие рыбины.

Рыбы лежали на дне лодки, вокруг них медленно расползались черные туманы: это выходила тьма, веками копившаяся в рыбьем теле, и, пока она не покинет рыб, есть их было нельзя.

Мишата пыталась поделиться своими тревогами, но, только она заговаривала, Директор тихо смеялся и махал руками, словно предлагая ей все окружающее в дар и приглашая не беспокоиться о том, что дар его может обнаружить какие-то несовершенства...

«...Как сильно я был простужен последние две недели, — думал Директор. Впервые нет ни озноба, ни жара, а я так себя чувствую, будто и тела вслед за этим нет вовсе. Как я ослаб! Счастье, что ветер несет нас. Плыть не меньше двух дней, и как раз я окрепну. Потом мы отыщем паровоз, придет Новый год, и я сделаю, что хотел...»

Иногда он ухватывал льдину и бросал в кастрюлю на печи: при таянии льда удалялся газ, а просто так нельзя было пить морскую воду, насыщенную коварными пузырьками. Если оказывалась вблизи щепа или корневище, Директор улавливал их и прислонял к печи. Ему попалось несколько черепов-поплавков, скованных серебряными цепями, — обрывок древней снасти, которую безвестные рыботяги приготовляли на какое-то глубинное чудище. Директор выволок и черепа... Вместе с этим он успевал перевязать парус, набрать баклагу светящейся воды, переложить весла, дернуть удочки и совершить много других поступков, помогающих плаванью.

Деятельность сильно утомляла Директора, он дышал, сбивался, потел и чувствовал от всего этого небывалую радость. Мишата, напротив, старалась лишний раз не шевелиться. Только однажды перебралась к печке, отпить кисловатой талой воды. Директор протянул ей хлеб, и она ела, раскачиваясь.

...Подземное море! Всякий, кто не избежал его вялых глаз, будет вечно помнить их тоскливую широту, будет чувствовать под собой пустоты там, где другие — твердь. И ветер заведется в нем, как в заброшенной прачечной, холодный ветер, который не скрыть: в самый нелепый момент, внезапно он сквозит из неприметной щели, и собеседник сбивается и отходит, смутясь, и это всегда, до смерти.

«Ну да, — думала Мишата, глядя в застывшее небо, — впредь я буду летать во сне только здесь, и неизвестно — сколько, может всегда».

Морские пустыни медленно излучались в нее, она изнутри линяла в цвета облаков и прибоя. Пока она подымалась и падала вместе с волнами, дремала под заунывное пение Директора, бормотание ветра, выкрики крыс, ее изнанка приобретала слабенький новый оттенок, еле уловимый, но невыводимый, как снежный загар, как ночное зрение, как другие особые качества, из которых смешивалась Мишата.

На третий день они причалили к горячему истресканному берегу.

Прямо в пяти шагах обнаружился родник жирной воды, необыкновенного насыщения, до десяти куколей тучности. Мишата глотала воду, согреваясь и чувствуя, как все ее потемки, слипшиеся от голода и горького рыбьего мрака, расправляются и наливаются жизнью. Директор выпил для начала немного и Мишате запретил опиваться. Она оторвалась усилием воли. Вставая с колен, оперлась на глину и почувствовала горячее. Морская вода, сыпавшаяся с юбок, оставляла на глине темные пятачки, которые быстро испарялись.

Глина лежала, истрескавшись на ровные плитки, и так поднималась над морем вверх.

Выше из глинистых щелей и складок дули синие газовые огни. Ветер, летящий с моря, гнул их тугие стебли. Тогда тени Директора и Мишаты нагибались в другую сторону.

Они взобрались на глинистый гребень. Позади гу-

дело сумрачное море, а тут — бескрайняя пустыня, подвешенная к темноте на столбах голубого пламени. Старая, глубоко прорезанная дорога уходила направо, вдоль берега.

— Туда нам и надо, — объявила Мишата.

— Хорошо, — одобрил Директор. — Огни — это хорошо, значит, языки рядом, ведь это обходчики поджигают газы, чтобы не отравлялись жилые недра. А у языков все подземелья размечены, и мы живо найдем дорогу.

Но сначала был нужен отдых возле тепла. Они выбрали один факел, прозрачный и легкий, как ветер. Но шумело так, что приходилось кричать.

Директор лежал, а Мишата больше ходила кругом. Мерцанье чего-то странного привлекло ее.

Удалившись от сильного жара, она добралась до маленьких мраморных развалин. Здесь, меж кусков розоватой минеральной породы, журчал родник. Освобождаемая им вода светилась зеленовато и скоро исчезала в расселине.

Тут было тихо, тише, чем в море и чем возле огней, но холоднее. Зато ветер, дувший из темноты, приносил утреннюю свежесть. Мишата сняла одежду и выстирала в ручье. Вернувшись, она разложила одежду на глине около пламени и уселась сама. Села словно на сковороду — горячая глина обожгла ее тонкую, привычную к морозу кожу. Но Мишата стерпела.

Жара навалилась на нее всей тяжестью. Мишата расслабила мышцы и принялась таять. Тело ее, звонкое, жесткое, размягчилось, и мысли потеряли восторженный и четкий строй и помутились все разом, как запотевает стекло, внесенное в жилище с мороза.

— Ну, обжараюсь наконец, — сказала Мишата. И неожиданно выпавшее Гусынино словечко заставило ее припомнить Гусыню, а вслед за этим явилась мысль про Фару.

«Вот если бы Фара была сейчас здесь, — подумала Мишата, — она бы обрадовалась! Интересно, какая она сейчас, что делает там, в вышине?» И Мишата сла-

бо улыбнулась, представив Фару, колючую, капризную, с белым от холода носом...

Мишате почудилась Фарина узенькая тень, тоненькое пальто и сердитый топот сапожек, когда она, оскользаясь, пробирается сквозь вечереющую толпу, одна, без приюта, злая, странная в городе, как потерявшаяся обезьянка...

Так, мысленно поднявшись над безднами, Мишата представила Фару. Но вот Фара скрылась в толпе, осыпаемой снегом, зеленые папахи светофоров одновременно стали розовыми, и машины затопили место, где только что были люди. А Мишата глядела уже с большой высоты.

Зимняя земля, сколько хватало глаз усеянная драгоценными безделушками вечера, тихо светящимися изнутри раковинами переулков, тонула в густом снегопаде. В этом громадном мире самой Мишаты было не разглядеть: где-то внизу, в глубине, сгорбленной под весом тысяч домов, крохотная белая личинка затаилась и ждет. На миг ей сделалось зябко.

Она открыла глаза и увидела свои бока и ноги.

В газовом свете они голубели так странно, так гладко, а в складках и скруглениях смягчались темно-сиреневой тенью — такие нелепые и нежные здесь, в пустующем мире, на виду древнего моря и равнодушных глин, что Мишата еще сильнее сжалась в комок и сказала:

— Я тонковата и вообще не права, разгуливая тут: мало ли, а мне сейчас важно сберечь себя в целости. Я грязная, но не очень.

Она выгнула шею вправо и влево, поочередно касаясь кончиком носа плеч, а потом, сгорбившись, обнюхала собственные колени.

— И нечего мыться, я ничем не пахну, — заключила она. — Разве что совсем немного запах кедровой смолы.

хохот директора предшествует открытию паровоза

Настала ночь, и все городское движение переместилось в наполненный снегом воздух. Он непрерывно путешествовал вниз, тени предметов и лучи фонарей жили в нем и двигались самостоятельно. Плотный же мир замер.

Глубокой ночью воздух прекратил деятельность и расчистился. Город остался под снегом.

На перекрестках, под ритмично дремлющими светофорами, не чернело ни одного следа. Дороги, тротуары и газоны стали теперь одним — снегом. Лишь партизанские люки, которых снег избегал, чернели на белом. Дома утратили облик, узнать их сделалось невозможно. Деревья сохранили форму и стояли не шевелясь, не роняя и крупинки из своего убранства. Созданное же земляками утратило качество высоты. Всякий, кто вышел бы сейчас из дому, по-особому, заново ощутил бы свою вертикальность.

Таких не было — опередили партизаны. Их машины оказались везде. Оранжевое пламя мигалок хлестнуло по стенам переулков. Бульдозеры опустили жадные ковши и нанесли снегу первые черные раны.

Жестяные каракатицы выли и ползли следом, перемалывая снег своими рачьими жерновцами и отправляя по желобу вверх. Безобразный, свернувшийся, как белок, снег сыпался оттуда в пятящийся самосвал. Некоторые партизаны ехали в кузовах, бросая с высоты ядовитую соль. Недоступный загребаторам снег поражался солью, скисал и мерк. Тысячи партизанских лопат огласили дворы железным ржанием. Подъемные краны сшибали сосульки. Беспощадная тюкалка ехала от дерева

к дереву и била по стволам, обрушивая белый пух до голых ветвей.

К тому моменту, когда пробудились самые ранние земляки, партизаны покончили со снегом.

В этот час ночное зрение покинуло Мишату: с рассветающей поверхности в подземелье хлынула тьма.

Мишата сказала:

— Я слепну. Выньте баклагу. Идите вперед пока что!

Они с Директором поменялись местами. Дорога вела вверх по дну каменной расщелины. Море и пустыня остались позади. Громадные скалы и обломки стен подымались в высоту, сверху вниз тоже росли скалы, огромные, как дворцы. Вершины нижних и верхних все чаще встречали друг друга, потом они стали соединяться крепче, срастаться плотней... Наконец Мишата с Директором оказались внутри каменной толщи, во все стороны иссеченной щелями. Мишата остановилась, прислушиваясь к невидимой цели.

Направление указывало круто вверх. Тяга была сильная.

Скорее! Скорее! Близость цели лишила Мишату покоя. И Директор утратил бесстрастие. Они поднимались много часов подряд, не медля и не беседуя, пока не достигли мест, где мерцала по стенам сырость. Мишата огляделась.

Это были все те же подземные пустоты, но обработанные умелыми руками. Кое-где виднелась даже каменная кладка. Между швов накипели дынные стинцеи с гнездами горного сахара внутри. Путники поели чуть-чуть, обмакивая сахар в воду, и без промедления устремились дальше.

— Я узнаю эти места, — сберегая дыхание, говорил Директор. — Когда-то я забредал сюда. Если не ошибаюсь, мы вскорости увидим солнечный круг. Камнями и комьями обложено место, где раз в день возникает солнечное пятно.

— Кем обложено?

— Каким-нибудь молодым языком, который затосковал из темноты по солнцу... Правильно! Это вон там, между столбами.

Действительно, на площадке был выстроен круг. Но он пустовал. Известковые столбы стояли в тишине повсюду, ровные, будто созданные руками искусного каменщика. Путники молчали, сдвинув головы, и пар их дыхания смешивался.

— Откуда здесь взяться солнцу?

— Луч попадает в решетку слива и счастливым образом не гаснет: отражаясь от стекол и алмазов, проникает на глубину. Странно, что здесь его нет. Сейчас ведь снаружи день? Видно, снегом замело ту решетку.

— Да вот же оно, у вас на спине! — вдруг обрадовалась Мишата. Золотое пятно горело меж лопаток Директора. Он сразу же вышел из луча, чтобы не перегораживать ему дорогу. Но странно: земля по-прежнему оставалась черной. Мишата присела посмотреть. В неверном свете фонаря она увидела под углом закопанный осколок зеркальца.

— Он просто пересылается, этот луч, — сообщила Мишата.

И путники двинулись, следуя маршруту луча. От зеркальца к зеркальцу, из туннеля в туннель он вел их, медленно ослабевая. Часто терялся, и тогда Директор поджигал страничку своего дневника, чтобы в дыме луч сделался виден.

— Наверное, старшие языки смеялись, — рассуждала Мишата, — или наказывали того маленького. Вот он и решил упрятать пятно от них.

— Заметь при этом, куда оно нас привело, — указал Директор.

Глинистые стены сдерживались на бетонных костях. Пучки проводов свисали во тьму. Далекий запах метро коснулся путешественников и пронесся.

— По моим расчетам, — произнес Директор, — мы вблизи сиреневой ветви Часов, ее серединной части.

— Так скорее же отсюда! — расстроилась Мишата.

Им предстояло, покинув ослабший луч, пересечь рельсы.

Некоторое время путники таились в бетонной лазейке под пронизывающим электрическим ядом от рваных настенных жил. По ногам бежала вода. Вверху стояла сухая тьма, сильный ветер позванивал бирочками фонарей.

Потом по туннелю пронеслась воздушная пробка, за нею поползли из-за дальнего поворота золотистые сабли рельсов. Путники переждали оглушительную бурю поезда, вслед за тем перебежали туннель. Ни крика, ни свиста не раздалось над их головами — могильная тишина. Они, сколько могли, бежали по бетонному коридору наперегонки с ручьем, пока не рухнули в изнеможении на заросли пещерного мха. Ноги, которыми они топтали и расплескивали ручей, были до колена мокры. Мишата вскочила первой.

— Мы рядом, — сказала она, — рядом, я чувствую! Не будем задерживаться!

Они опять побежали вперед.

То ли по мере ослабления магнетизма покидаемой ветви Часов, то ли по мере приближения цели чувство скорой встречи с сокровищем переполняло Мишату. Подземелья меж тем делались все тесней и запутанней. Грубые каменные колонны поддерживали их повсюду. Ржавые двери, по пояс в земле, приоткрывались в таинственные комнаты.

Одна комната хранила сокровищницу пузырьков со слезами всех царей земли, собранными в пору их младенчества...

Другая была полна кувшинов и тыкв с нашептанными вовнутрь летописями, и надо было разбить сосуд, чтобы услышать шепот...

В третьей стояли сундуки книг, но от сундуков осталась только серебряная обивка, а от книг — черная земля, из которой прорастали гроздья грибов. Но если поесть этих грибов, появляется способность болтать отрывки из книг на древних языках. Директор поел, а Мишате не позволил:

— Тебе это незачем: древние языки заглушат твой собственный, единственный, а он драгоценнее всех остальных.

Но она и сама не хотела. Вперед, скорее вперед.

Ручей под ногами тем временем разросся до размеров речушки, которая бежала в бетонном желобе. Берега тоже сделались из бетона. По сторонам попадались двери, уже не очень ржавые и глухо закрытые. Сырость стояла страшная.

— Вот и посты фонтанных смотрителей! — крикнул Директор, указывая вперед, где через реку был опущен мост и чернели окна в стенах справа и слева. Тоже холодные, запертые — ведь стояла зима, — городские фонтаны спали, смотрители ушли.

От моста в глубину земли вели двустворчатые ворота, поверх их красками была намалевана карта подземного соединения фонтанов — западные фонтаны на левой створке, восточные — на правой. Краски сильно расплылись. Кругом по стенам висела коллекция люков, все виды крышек, которые только создавала чугунолитейная фантазия: люки-ловушки, люки — солнечные часы, магнитные, крестообразные люки и сдвоенные люки-очки тянулись на сотни шагов... Но Мишата даже не взглянула на них.

— Уже близко! — оборачивалась она к Директору, который еле удерживал дыхание.

И они почти бегом достигли места, где туннель окончился. Сквозь огромную арку вода вылетала в пустоту и, изгибаясь в дугу, рушилась.

— А вот и шахта, — сообщил Директор.

Он подошел к заржавленному щиту, нажал какую-то кнопку и присел пока отдышаться.

Мишата глянула вниз.

Пропасть еле освещалась бусинами тусклых ламп. В стенах шахты чернело множество лазеек и дыр. Все это были выходы, несчетные выходы из подземелий, что терялись в глубине, смешиваясь с летящей водой.

Со скрипом и лязганьем пришла на цепях кабина.

Дверь отворилась. Внутри, в решетчатом свете, раскачивался старик. Резина его сапог и фартука блистала, плащ и капюшон сгрибились от минеральной воды. Директор закричал что-то на старинном языке, и старик закивал и заквакал... Когда Мишата осторожно шагнула с причала на зыблющийся пол, старик взглянул на нее веселым и безумным глазом. Он потрогал по очереди рычаги, и ржавая сила потащила путников кверху.

— Здесь это, здесь! — закричала Мишата на ухо Директору.

Лифт, остановившись, качался над бездной, но Мишата с Директором, торопливо поклонившись старику, уже бежали вовнутрь подвалов.

Они раздвигали руками корни, наросшие густо сверху, стукались головами о железные скобы и гайки, которыми были закреплены тут подошвы города, натыкались на земляные столбы могил, у подножия которых блестели золотые перстни с продетыми в них костяными пальцами, — но бежали, не задерживаясь, вперед и вперед... Все больше горячих и холодных труб оплетали стены, все чаще свисали лампочки.

— Все, — трепеща, прошептала Мишата, — совсем рядом. Завязывайте глаза. И себе тоже.

Слепые, они двинулись снова.

Коридорчик за коридорчиком цель приближалась. Они оказались в комнатке с запертой дверью. Это был тупик, путь закончился. Сокровище лежало где-то рядом, в нескольких шагах. Его близость взволновала Мишату почти до удушья. Но она была как никогда замедленна.

С тяжело колотившимся сердцем она выжидала минуту, прежде чем сделать последний шаг. Руки ее, дрожа, трогали воздух.

Наконец они коснулись какой-то коробки. Мишата сняла осторожно крышку. Не смея проникнуть дальше, она сдвинула на нос повязку и не поверила своим глазам...

Это была подвальная комната Директора. На столе,

сделанном из стенгазетного щита, горела свеча, которую они, уходя, забыли задуть. Сухой хлеб, стаканы, тарелки из-под завтрака лежали кое-как. Топчан валялся полузастелен. Глобус головы мягко сиял в полумраке. Гора паровозиков-пустышек мерцала в углу.

Перед Мишатой лежала директорская коллекция в коробке из-под торта, завернутая в исписанную бумагу.

Директор засмеялся.

Мишата оглянулась на него. Директор сидел на стуле, куда опустился в минуту слабости. Удивительный рождался у него смех, он сам, наверное, так смеялся первый раз в жизни. Он смеялся, как будто омолаживался. Смех расправлял его, как ветер расправляет воздушного змея, поднимая в небо.

— Погодите смеяться, — попросила Мишата.

Директор взглянул на нее сквозь слезы, но смех прекратил.

Она стояла над коробкой, ожидая, пока выровняется дыхание. Потом подняла коробку и взглянула под нее. Там ничего не было.

— Еще погодите.

Опустившись на колени, она взглянула под стол. Директор подался вперед, наблюдая. Побыв так немного, Мишата выпрямилась и опять замерла.

— Что там? — спросила она, постучав по столу.

Директор пожал плечами. Мишата передала ему коробку.

— Помогите мне.

Он встал и помог ей перевернуть крышку. Там оказалась стенгазета, посвященная пятидесятилетию армии. Оба они уставились на покоробленный, в желтых разводах лист, заклеенный заметками и фотографиями.

— Ну вот, — коротко вздохнув, сказала Мишата.

Она указала Директору пальцем и отошла от стола.

— Смотрите, а я пойду, — сказала Мишата. — Я, как рыба, пропиталась тьмой. Я ничего не вижу почти что. У меня ни рук, ни ног нету. Мне надо срочно наружу.

И отперла дверь и вышла, оставив склонившегося

над фотографией Директора. Заметка называлась «Ветеран революции». На фотографии изображался бронированный паровоз с вагончиком, окруженный музейной оградкой. Подпись гласила: «Бронепоезд “Новое время” на последней стоянке».

сказка пятая. про горбынека

Где ты, о Горбынек, о пастырь-слесарь со справкой сантехника и душой кузнеца! Как давно не являлась в городской полуночи тень крючковатой твоей фигуры! Как благодушно глядит теперь партизан в темноту, не ведая страха, не помня Горбынека! Как мирно дремлют стальные катухи, чей сон не тревожит пламя!

Но мы, избежавшие жабьего жребия, мы, крадущиеся в темноте, мы видим беспечный взгляд партизана, дрему катуха, дугообразный шорох влекомого ветром стаканчика из-под солярки и говорим: недолго! Недолго витать вам в испарениях солярного благодушия! Недолго часовщику тарахтеть костяшками, пересчитывая не удавшиеся человеку жизни! Недолго, говорим мы и вспоминаем Горбынека — карлика, слесаря, художника, полководца.

С юности ему был привычен оранжевый жилет партизана.

Он был сантехником, рядовым рабочим карликовых бригад, что специально создавались для действий в тесных коммунальных ванных и кухнях.

Там, где бессильны оказывались громадные богатыри, способные свернуть шею чугунной трубе, проворные карлики действовали блестяще. Причудливые изгибы горбов и крошечный рост мастеровых-гномов позволяли им проникать в теснейшие закоулки зараковинных пространств, и, путешествуя по изнанкам старых домов, Горбынек видел поднебесные сундуки чердаков со звездной пыльцой, что полночь насыпает в прорехи крыш,

пропасти подвалов, дышащих испарениями древних, сладких, тяжелых снов, и тоску и вдохновение земляков, зажатых этими двумя мирами. Пока руки Горбынека безошибочно двигались среди слесарных тел, уши его и глаза ловили шорохи воздуха и света. Он полюбил волшебный сумрак старых домов и не сумел смириться с властью Часов, по приказу которых партизаны начали обновление города.

Партизаны не затруднялись ремонтом изощренных произведений древности. Медные бубенчики и поплавки-матрешки, хрустальные пузыри ревизионных колб, водяные мельницы, музыкальные лабиринты для просеивания сора — все разрушалось и заменялось безжизненными стандартными отливками.

Сперва Горбынеку удавалось опережать партизан. Те, узнав о поломке, не спешили с выездом, демонстрируя властное пренебрежение победителя, — бригада Горбынека являлась на вызов первой же ночью.

Карлики в сказочных масках бесшумно отмыкали дверь и принимались за дело.

Систему слива бригада Горбынека перестраивала, как дворец.

В фильтры добавлялась топазовая пыль, и система становилась совершенна, о чем свидетельствовали живые рыбы, тихо движущиеся в прозрачных секциях водоподачи. Поток шевелил ряды колокольчиков, чей напев изменялся в согласии с температурой воды. Крохотная турбина разжигала цветные огни тем ярче, чем быстрее текла вода, и в освещенные недра труб можно было заглянуть через маленькие линзы. Тайные пружины стерегли систему от вторжения партизанского инструмента: при попытке развинтить соединение канализация выходила из берегов.

Но партизаны, явившись наутро на место поломки, штрафовали хозяев, обнаружив труды Горбынека. Они давали ложные вызовы и устраивали засады на бригаду мятежников. Тогда уже наступали тусклые времена: память о войне крыш и подземелий начала стираться; язы-

ки были оттеснены на окраины недр, в центре властвовали Часы.

«Время! Время! — кричали уличные рекламы. — Мы меняем у вас время! Одна монета за минуту! Автомобиль за полгода! Квартира за десять лет!» И миллионы торопящихся жильцов заполняли метро на рассвете и покидали его к ночи, отдавая Часам день за днем в обмен на их обманчивые дары.

Тонкость и мечтательность, нежность, восторженность и бескорыстие, вдохновение и доброта — все то, что, будучи бесценно, не могло послужить для Часов товаром, постепенно отвергалось жильцами как вовсе не имеющее цены. Часы же наливались силой, их черный магнетизм пропитывал город от вершин до подножий и медленно изгонял остатки существ, еще не покорившихся новой власти.

К тому моменту, как бригада Горбынека оказалась полностью затравленной, провалилась и последняя отчаянная попытка языков уничтожить Часы.

Подробности разгрома армии языков в точности неизвестны. Их армия скопилась в туннелях трех направлений, а потом, разом ударив по укреплениям Часов в районе Охотного ряда, разбилась об их ворота и была уничтожена тремя электропоездами, пущенными по рельсовым путям в полшестого утра. Успешнее развивалось наступление на поверхности. В час ночи один из восьми партизанских замков, стоящий на границе Садового кольца, возле Трубной улицы, был атакован отрядом языков, и Горбынек находился там тоже. Не сумев преодолеть электрические заграждения замка, отряд захватил соседнюю стройку и повел оттуда обстрел. Партизаны укрылись в башне маркшейдера и оказались вне досягаемости. Тогда сотни языков облепили подъемный кран и принялись раскачивать его с намерением обрушить на бронированную крышу башни. Партизаны замерли, слушая заунывный ритм языковских дудок. Спустя полчаса кран вытянулся через все небо, упал, обратил в щепы здание замковой канцелярии, пробил на

четырнадцать метров землю и обрушил строящийся туннель серой ветви Часов, но не задел ни крыши, ни башни, полной маркшейдерского ледяного смеха. Содрогнувшаяся ночь не пришла еще в равновесие, как языки бежали, пронзаемые в спины синими гадюками электродов, и Горбынек бежал тоже.

Когда подземелья погрузились в тишину и остатки языков уползли вглубь, Горбынек начал свою войну.

К тому времени их осталось лишь шестеро — маленьких карликов, способных выспаться в коляске, не побеспокоив младенца. Горбынек обратил крошечность себя и своих собратьев на погибель врагу. Три белые ванны были опрокинуты кверху дном. По паре детских трехколесных велосипедов разместилось внутри, и еще оставалось довольно места для пулемета, полного стручкообразных капсюлей, и ночного перископа, разоблачителя темноты.

Первой жертвой стал отряд партизан, асфальтировавших траву в одном из двориков Неглинной горы.

Три ванны молча выкатились из мрака, опрокинув багровые огни заграждения.

Пулеметы расхохотались. Залп, единственный залп, который успели дать партизаны из отбойных своих орудий, скатился с бортов нападающих, как черешня. Ванны вкатились под брюхо машин, не задев их. Механические пупы были поражены залпом сквозь амбразуры слива, их жилы были подрублены, и ядовитый сок побежал по свежему асфальту, возжаждав пламени. Зеленый рассвет родился над городом, подпертый тремя колоннами дыма. Машины медленно разваливались в нем, как забытые пироги. Так отпраздновал свое появление на свет страшный отряд Горбынека.

Что же ты помрачнел, партизан, что ты съежился? Что ты ходишь горой?

Ты помрачнел, потому что мрачны по утрам горелые стройплощадки.

Съежен, потому что город глядит тебе в спину.

Ищешь врага? Но как среди ванн, тысяч городских ванн, ты отыщешь ту ванну-оборотня, что ночью перекидывается в жестокого хищника? Как в детских площадках, с утра до вечера полных трехколесного шума, ты расслышишь те самые колеса, на которых сама судьба кралась к тебе ночью? Бесшумна ванна, обратима, легка, эмальна, недосягаема электричеству и отбойному молотку, она выкатывается из тьмы внезапно, она самой природой окрашена в серые тона асфальта, и ванн таких не три уже, а двадцать, и каждую ночь празднует Горбынек свои удушливые костры.

Все свое техническое искусство, служившее раньше ремонту мира, бросил Горбынек теперь на его разрушение. Самый страшный поджигатель — бывший пожарный, самый чудовищный отравитель — бывший аптекарь. Самый ужасный убийца машин — разочарованный слесарь, для чьей отвертки, направленной в сердце механизма, не существует преград.

Как болдуин в метро с точностью до дня определит возраст ребенка, когда пора уже сдавать отпечатки пальцев, как продавец по звону в кармане уверенно скажет, сколько там монет, так технический умелец моментально найдет везде замковый камень. В каждом предмете скрыт замковый камень, помеченный тайным знаком творца, неприметная деталь, скрепляющая все и по изъятии влекущая распадение целого. Горбынек в любом механизме умел опознать и поразить эту деталь мгновенно. И вот колеса машин подкашиваются и стекла проваливаются внутрь. Техник, верный соратник Горбынека, в тот же миг сечет провода и роняет на бегущих партизан ужасную тьму. И тут же гранаты, гранаты, надутые сонным газом, летят в партизан, и те падают, горько плача, потому что плохой человек видит от сонного газа невыразимо печальные сны. Сорок машин уничтожено Горбынеком за лето, сорок вопросительных знаков нацарапано на ванных бортах, горелые кости машин зарастают во дворах лопухами, и по луже,

застоявшейся в продавленной крыше, плавает желтый лист.

Настала осень, и поражение пришло к Горбынеку.

Случилось оно дождливой ночью под слезящимися фонарями Ивановской горы.

По колено в ядовитом тумане, партизаны давили асфальт, но все чугунные люки были заменены партизанами на люки, вырезанные из чистого магнита. Засадные катухи замерли в подворотнях.

Ванное войско Горбынека покатилось на партизан сверху.

Скорость тяжелых атакующих ванн, разлетевшихся под откос, выросла до невероятности, и партизаны в ужасе бежали перед этой молчаливой волной. Лишь один молодой пескогрев не бежал и видел, как скакали и опрокидывались ванны, прилипая к магнитам. Ночь огласилась колокольным звоном. Ванны летели боком и вязли в зыбучем асфальте. Катухи высунули из засад свои квадратные рыла, медленно двинулись и сомкнули кольцо вокруг перевернутой армии. Тридцать восемь коротышек были извлечены из чугунных скорлуп и отправлены на Электрозавод день и ночь вместе с другими невольниками тянуть рычаги часовой пружины. Однако Горбынек спасся.

Бормотехник, старый сухарь, во всем чуя злобный подвох, всегда осторожничал, вызывая недовольство Горбынека; на этот раз осторожность Техника спасла жизнь.

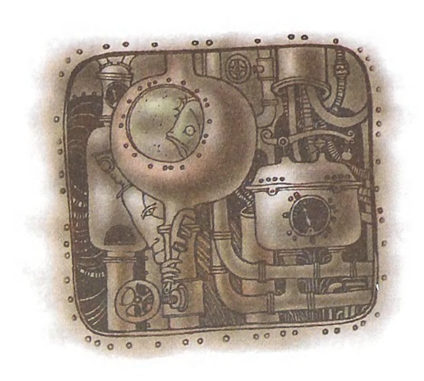
Техник успел затормозить, лишь только первая магнитная крышка привстала над дорогой, и уберег ванну от опрокидывания. Оси велосипедов тихо согнулись от тяжести, но ванна стояла. Пулемет ее покричал и замолк, обессилев.

Не веря, катухи еще долго сторожили ванну. Наконец ее перевернули, поддев бородами бульдозеров.

Два гнутых велосипеда, столик с остатками завтрака, пулемет, маленькая библиотека и печь оказались внутри. Но оба пилота исчезли. Они скрылись в отвер-

стии люка, прикрытого недрами ванны. Нечего было и думать о преследовании двух беглецов в необъятных лабиринтах Нижнего города. В ярости партизаны бросили ванну во дворе соседнего дома. Ванна долго еще пробыла там, и тихие дети трогали ее борта, избитые пневматической дробью, исчерченные вензелями Горбынека. Может, она и по сей день стоит там. Однако партизаны не догадались пошарить на дне колодца, где долгое время валялась пачка бланков, печатей и штампов партизанской канцелярии.

Долго ли, коротко ли, но это добро было наконец обнаружено языками и в результате попало к Дидектору.



часть четвертая

новогодний карнавал

утром последнего дня удается уговорить мельхиседеков и елку еще добыть

«Ночью 31 декабря механизм жизни приостанавливается и всякий может побродить по столице ветхого времени, столице, лежащей в развалинах. Внимательное сердце откроет в себе ее купола, полуразрушенные, полузасыпанные снегом. Видимые всего мгновение, развалины оставляют перед собой и позади тени длиною в год — воспоминания о великой ночи и предчувствие ее нового наступления».

«Жуткое одиночество охватывает здесь, оно проистекает из огромного расстояния меж городом и Солнцем. Город катится по краю огромной чаши, вовне которой повисла бездна, и повод, на котором Солнце удерживает город от падения, натянут до отказа. Снег, являющийся ближе к зиме, есть напоминание об этой огромной отдаленности. Снег приходит со звезд бессолнечной стороны, с черного хода вселенной. Зимняя ночь — это репетиция судьбы, что постигнет город, будь он отпущен с привязи: белая пустыня в непроглядной тьме».

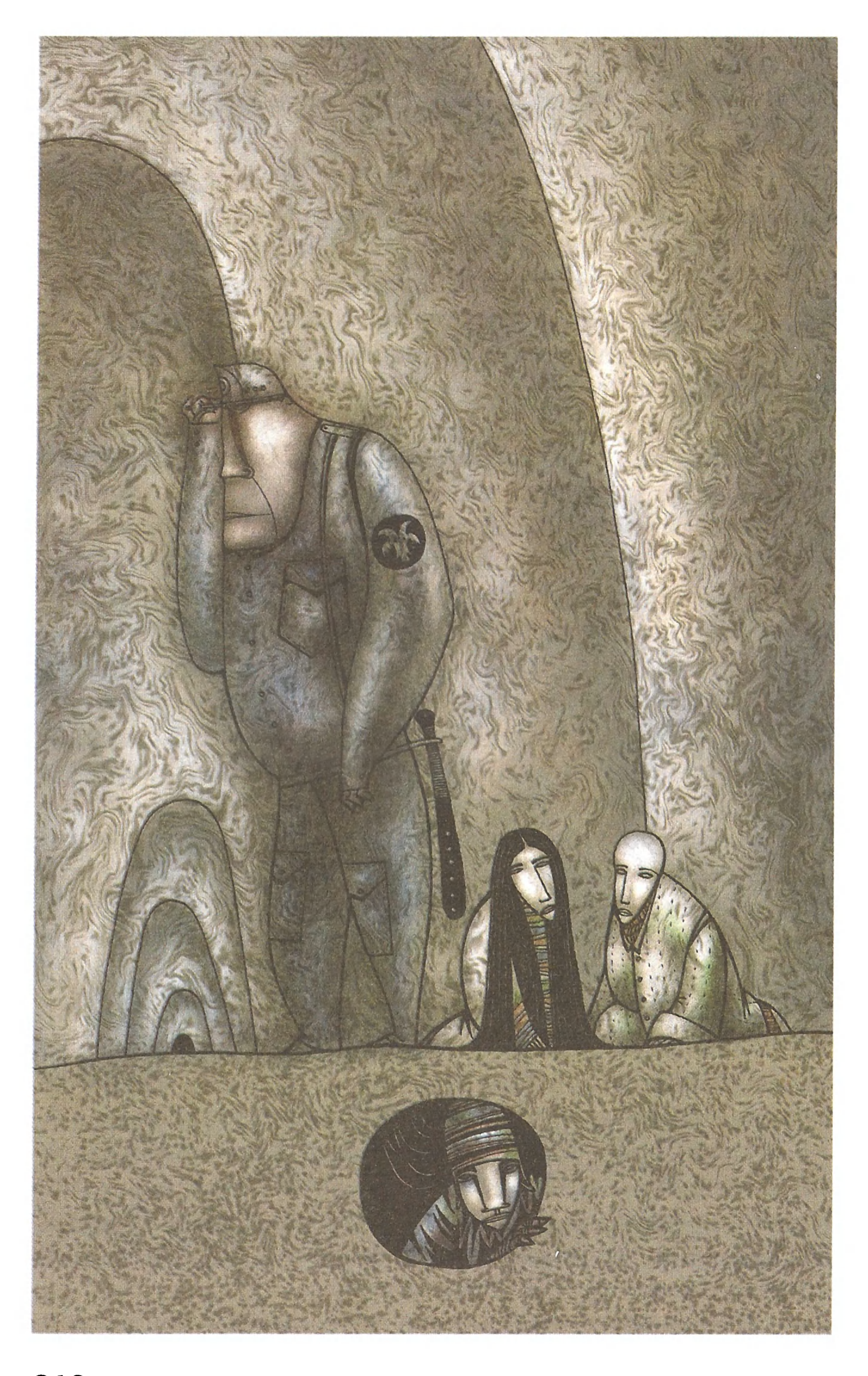
«Это одиночество, одиночество эмбриона, космонавта или водолаза, а другой полюс — восторг. Одиночество и восторг в новогоднем языке отчуждены, противопоставлены, как тьма и свет. Новый год — это мерцание на черном фоне, золотое роение в океане тьмы. В новогодней комнате тушат лампы, чтобы не разрушалась граница между горящей свечой и придонной тьмой, откуда глядит жилец. Эта тяга к свету, этот взгляд, ищущий свечи, — все тот же взгляд с земли, улетевшей в бездонный космос, на далекое солнце. И хотя жилец богато и пышно

пирует в своих палатах, ровный голос свечи повторяет ему о другом. О том, что жилец никакой не хозяин тепла и стола, а бездомный скиталец, бредущий из гибели в жизнь, с теневой стороны на солнечную, только бродяга, пробирающийся к далекому окну; путник, узнающий в движении главное: что он не принадлежит ни свету, ни тьме и что первое чувство нового года — чувство границы, необходимости и невозможности ее преодолеть, через замерзшее стекло попасть в комнату, полную свечей, где две склоненные девочки перебирают груду волшебных игрушек».

«Но движение к преодолению той границы, единственный род движения во вселенной, — неостановимо, и путешествия не избежать никому. Пусть пребудет мужество со всяким, решившимся на поход. Этот путник, совершив первый же шаг, оказывается в беде. Покинувший покой, не добравшийся еще до восторга, он целиком попадает во власть тревоги и страха. Он один отвечает за все. Он должен обо всем позаботиться. Как бьется его сердце при взгляде на циферблат! Сколько он должен успеть всего приготовить, обдумать, собрать, раздобыть! Самую густую елку, украшение для нее и свечи, посуду, консервированные закуски и напитки, бенгальские огни, фейерверки, петарды, маски, веревки, кляпы, гранаты с сонным газами, кинжалы и талисманы, отводящие смерть».

На исходе дня 31 декабря Мишата и Фара встретились с мельхиседеками. Накануне в каменном полу станции «Арбатская» Мишата отыскала рыбий скелет и шепнула ему: «Уничтожно — важно! В половину восьмого».

Вторая фраза значила и время, и место одновременно: восьмой час, то есть «Киевская», в центре зала. «Уничтожно» — подсказала Фара: мол, иначе они вообще не придут. Фара склонялась над рыбой вместе с Мишатой и шепотом повторяла слова. Ее волосы слегка касались пола, его мраморное зеркало затуманивалось от губ.



Слова, ударяясь о скелет, улетали в туннели, — призраки огромного шепота, обреченные теперь вечно жить в подземельях и только редко-редко пугать жильца, случайно задевшего головой нить эховой сети, или, пойманные эхологом, навечно улечься в пыльную картотеку. Узнает ли когда-нибудь эхолог историческое и роковое значение этих слов? Неведомо. Судьба мира и их собственная судьба были скрыты от Мишаты и Фары, когда они поднимались с колен. Несколько часов отделяло их от той границы, за которой неминуемо менялась жизнь. А как ей суждено было измениться — потухнуть ли, вспыхнуть ли с дотоле невиданной силой, — этого Мишата с Фарой не знали и не хотели угадывать. Их ожидал праздник, невероятный, восхитительный, леденящий сердце, он ослеплял воображение и совершенно заслонял потемки будущего.

Мишата, отряхнув быстрые юбки, хотела сразу же скользнуть между арок и скрыться. Но Фара задержалась: нацелившись подбородком в перронное зеркало, слюнявила палец и укладывала им брови.

— Расслабься, чего топыришься, — посоветовала она.

— Пойдем лучше, — опасливо произнесла Мишата. — Вдруг они слушают? Поймали сообщение и бегут сюда?

— Брось! Они перед праздником совсем размякли.

— А я думаю — наоборот. Новый год — самый опасный момент для них в истории.

— Ну гляди-ка на этого!

Огромный часовщик-бобовик расхаживал совсем рядом и, правда, хоть бы посмотрел. Громадной легкой рукою он забрасывал в рот семечки, дул, и шелуха порхала в воздухе далеко.

— Видишь, какой трюфель. Хочешь, проделаю с ним одну штучку?

— Не надо, пожалуйста. Если не придут мельхиседеки, будем терзаться, что это штучка твоя виновата.

Но мельхиседеки явились, двое. Один Языков, дру-

гого Мишата не помнила. Да и Языков казался другим. А может, другая была теперь Мишата.

Они без улыбки пригляделись друг к другу. Ощутимее, чем осенью, мельхиседеков окружало нечто странное — упругая, невидимая стена отделяла их от всего. Для беседы они остановились далеко, в четырех шагах. Им это было как раз — слух у них, Мишата знала, тараканий, тонкий. Серые лица, электроупорные резиновые свитера, на руках — меховые перчатки с пальцами из цельных мышиных шкурок с головками на концах.

— Ну, чего пришли?

— Так и вы тоже пришли, — сказала Фара.

— Нет. Пришли вы, а мы тут всегда были.

— Не фихтуй, бросай выпячивать, — сказала Фара, — все серьезно.

— А чего серьезного?

— А не можешь поближе подойти? Или мне на все метро орать?

Они приблизились. В нескольких коротких фразах Фара описала им положение.

— Паровозик, в общем, можно сказать, нашли. Это бронепоезд «Новое время». В военном музее экспонатом стоит. Уже наладили прошлой ночью. Бортмехаником — Бормотехник, корень жеваный, перержавок... Остальной отряд, кроме нас, — человек пять. Нужен кто-то, кто понимает метро. Лоцман, чтобы нас провести на Часы. Этот кто-то должен из вас. И давайте разминайтесь быстрее. У нас заботы хватает.

Мельхиседеки только мигали, медленно привыкая к услышанному. Переглянулись раза четыре, выразив друг другу по очереди недоумение, изумление, сомнение и испуг. Мишата с Фарой ждали, наблюдая этот молчаливый обмен.

«Захотят ли еще? — мелькало в голове у Мишаты. — Метро — их дом. Что бы здесь ни случилось после гибели Часов, жизнь этих изменится, а многие ли согласны изменять жизнь?»

Наконец Языков взялся за пуговицу, вытянул на ре-

зинке и свистнул в дырочку. Тут же со всех сторон возникло человек десять. Серая кожа, блестящие умные глазки окружили Мишату. Языков сказал:

— Тут все должны решать, всеми мозгами. Слушайте. Эти ухтырщики намерены завтра ночью попробовать сшибить Часы. Уверяют, что есть бронепоезд на ходу из музея. И оружие. От нас хотят, чтобы их довели до ворот. Кто что думает, спрашивайте.

Остальные всполошились, придвинулись. Мишата с Фарой стояли, пойманные в сети маленьких жестких взглядов. Озираясь, теснясь, стараясь потише, заговорили все одновременно. Фара заткнула уши большими пальцами. Мишата поморщилась, переводя взгляд с одного лица на другое.

— Ты говори, — указал Языков на одного.

— Как вы бронепоезд в метро затащите? — крикнул указанный.

— Рядом на горке, за забором музея, — стала объяснять Мишата, — трамвайные рельсы. Мы поедем мимо Театра зверей, через Цветной бульвар, по Бульварному кольцу до Чистых прудов. Там возле метро — партизанский замок с жестяным петухом. Под петухом башня и шахта с винтовым съездом для вагонеток — ведь идет стройка станции. Съезд соединяется наверху с трамвайными рельсами — партизаны ими пользуются для ночного подвоза грузов.

— Вы не пробьетесь в шахту, — быстро возразил мельхиседек. — Вы максимум пробьете ворота, а партизаны заклинят стрелки спереди и сзади и сожрут вас вместе с вашим поездом.

— Да мы не будем ничего пробивать, — спокойно отвечала Мишата. — Они нас просто пропустят. У Директора полный сундук печатей и бланков часовой канцелярии. Директор сам нам составит все разрешения и пропуска. Мы будем как бы частью правительственных мероприятий в культурной программе «Встреча Нового 2006 года». Название: «Агитпоезд “С Новым годом” для поздравления москвичей в метрополитене». Мы оде-

немся зайчиками, белочками, поезд по-елочному разукрасим. Они не заподозрят ничего. Мы открыток купим штук по сто специально. Мы им открытки раздадим.

— А электричество?

— Сапоги резиновые наденем, перчатки. Метро перегорит, конечно. Нам это только лучше.

— Ваш поезд расшибется о Часы, там антрацитовая броня.

— Нет, этот поезд небьющийся. Его ничем сокрушить невозможно.

— С чего ты взяла?

— Пророчества, указания... Это бесспорно. Я к этому поезду несколько лет шла. Долго объяснять. Языков потом расскажет, он помнит.

— Как же вы поезд перетащите на рельсы?

— Там только три сустава рельсов добавить надо. Языки нам помогут. Директор знает недалеко одну стройку, где языки укрепились под видом партизан.

— Как это?

— Ну, языки, которые замаскировались под партизан.

— Никогда не слышал, чтобы языки кому-то помогали, и вообще ты чего-то чересчур, лепишь кафель на картофель... — пробормотал спросивший мельхиседек. Но было видно, что он потрясен услышанным. И остальные тоже. Собрание зашумело.

— Мы вам дадим провожатого, — процедил наконец Язык, — но только одного, потому что дело неверное.

— Мы и можем взять только одного.

— Военной ситуации мы хорошо не знаем, — в тревоге почесываясь, продолжал Языков, — туда, где предположительно Часы, мы не ходим. Знаем только, что существуют съезды. С каждой ветки есть съезды, пыльные, темные, на них начинается запретная зона, шлагбаум, красная кнопка. В старину много про них говорили. И главный дворец, над самой серединой метро, назывался съездов. Сейчас это забыто. Они решили, видно, что пусть лучше о них забудут.

— Ну что ж, мы напомним, — произнесла Фара.

— Вы как поедете? По каким станциям?

— Мы же сказали, с «Чистых прудов». А дальше куда — не знаем. С какой удобнее на съезды попасть?

— Вам, значит, удобнее приехать на «Охотный ряд». Оттуда можно. И вам недалеко. В конце платформы тогда мы будем. Только скажите, во сколько.

— А сколько оттуда времени до ворот?

— Не больше минут, может, двадцати.

— Таранить мы будем в полночь, с боем колоколов, — заключила Фара, — значит, давайте, чтоб к одиннадцати вы были.

...К одиннадцати, а сейчас начинался четвертый час вечера. Наверху стоял сильный мороз, все хрустело. Песочный скрип множества ног заставлял кричать, обжигая горло. Над толпой проплывали лыжи и елки, завернутые в цветные дерюги. Ложные Деды Морозы кричали и торговали на всех углах. Двери магазинов хлопотали, перебирая толпу. Все было охвачено приготовлениями, предвкушениями, предчувствиями будущей ночи. Мишата с Фарой развеселились.

Они стали заходить во все магазины, толкаться там и смотреть. В одном обувном Фара попросила примерить меховую туфлю взамен своего рваного кедика и потом попыталась сбежать с туфлей. Но ее заметили. Фара бросила туфлей в стражника, и они с Мишатой пустились наутек, взвизгивая от страха и смеха... Бежали долго, хотя никто за ними не гнался. Наконец, поскользнувшись на черном зеркальце льда, они упали и сидели, обессилевшие от смеха, извалянные в снегу. Елочный базар на противоположной стороне шевелился во множестве шапок, шуб, мерцал цветными гирляндами. Покачивалась легкая музыка. Елки лежали горой, немного отчужденной ото всех и сумеречной. Фара отдышалась наконец. Они немного еще посидели и потом встали и отряхнули друг друга. На елочном базаре выпросили очень хорошую елку и пошли с ней домой. Мишата несла за ствол,

Фара за верхушку, и люди улыбались, глядя на них. Пьяный Дед Мороз пристал к ним и помогал некоторое время, поддерживая середину. Потом Фара его прогнала:

— Сотрись, Санта-Какус.

— Я Дед Мороз!

— Ты боксерская груша... Настоящий Дед Мороз наоборот одет.

— То есть?

— В защитную форму, под цвет елок, чтобы незаметно подкрасться!

Он протянул им конфет, но рассыпал и, подбирая, отстал.

Они втащили елку в подвал, взглянули на забитые пургой окна и увидели, как сильно посинел снег.



директор оставляет подвал и забирает зауча

Так проходил этот день, самый медленный день в году. Сидя на табуреточке и шевеля картофельным ножом, Мишата чувствовала небывалую протяженность дня. Каждая минута творилась долго, тягуче, заворачивалась в спираль, отделялась от временной массы неторопливо, как картофельная кожура. «Когда еще!» — говорила себе Мишата, наблюдая, с какой чудовищной медлительностью сякнут минуты. Ночь придвинулась на десять картошек, на три моркови, на один лук. Все это они с Фарой принялись обжаривать, устроив сковороду на спирали обогревателя. Пока закончили с едой, пока нарядили елку, синева снаружи исчезла. Мишата выглянула в окно, но увидела только тьму и морозные искры. В зеркале она отразилась измятая. Шлепая босиком, она отправилась в умывальню, устроенную в одном из бомбоубежищных ходов. Вода бралась из треснутой трубы отопления. Мишата долго возилась в теплом и ржавом ручье. Лампочка еле освещала убежищный ход, бредущий, спотыкаясь, в темную даль. Мишата поежилась.

«Хватит с меня подземелья навеки», — сказала она. Но главное подземелье ей предстояло вскорости встретить. Мишата была, в общем, готова. Причесавшись, она возвратилась в комнату, где Фара уже нюхала пироги. Часы дошли до половины седьмого. «Никакого страха, — отметила про себя Мишата, — пока одно лишь волнение».

Фара успела сложить и заколоть свои волосы и одета была в чистое новое платье. Кружевные рукавчики были аккуратно застегнуты на пуговицы. «Мне тоже пора подготовиться, — сказала себе Мишата. Но, взглянув на часы, добавила: — Успею! Вон сколько еще времени!»

Она набрала до отказа воздуха, подержала и тихо выпустила. Вынула свечи. Сначала, по привычке, зажгла только две, но потом Фара схватила остальные и стала зажигать одну за другой и расставлять везде. Комната заполнилась жарким светом. Здесь никогда еще не было так светло. Мишата словно впервые разглядела подвал: подгнившие ножки стола, кроватную сетку в известковых натеках, многозначительные пятна грибниц по углам... Разноцветные склянки директорской лаборатории набрасывали на все это еле видимую пелену цветного мерцания.

— Сидим будто внутри деньрожденного пирога.

— Директор придет — вот разозлится! «Нарушаете конспирацию!»

— Теперь уже все равно.

— Давай музыку включим!

Фара выволокла патефон и пластинку. Потекли сладкие и вялые звуки старинного танца. На чистой тряпочке Фара выложила горячий пирог, они уселись на диванные подушки и медленно съели почти половину. Съели пирог и выпили чай, и все это торжественно, просветленно, молча.

Почти догорели свечи. Музыка кончилась еще раньше. В комнате стало жарко от свечей, и Мишата встала и пошла их гасить. Она гасила свечу за свечой, и Фару делалось видно все хуже, и, когда сохранился всего один, у окна, огонек, от Фары остались только глаза.

— Смотри, — указала в окно Мишата, — там звезду видно.

Снег загораживал окно почти полностью, лишь на самом верху, у земли, оставалась щель и в ней — укольчик звезды. Фара присела рядом. Они сидели в треске единственной свечки, думая о своем.

— И что же, — тихо шевельнулась наконец Фара, — ты и вправду веришь — после полуночи мы перестанем стариться?

— Ну... как бы утратим возраст. Нам все возрасты сделаются доступны. Если тебе захочется, ты сколько угодно побудешь старушкой.

Они сидели очень близко — свеча между ними, — и шепот Фары наклонял огонь на Мишату, а когда та отвечала, огонь кивал Фаре. От этих перемен волны золотых искр ходили по заиндевелому стеклу, и всякий раз ледяные цветы изменяли облик.

— Вот смотри, — сказала Мишата, — это золото состоит из многих цветов — красного, зеленого, синего. Ледяной кристалл может принять любой цвет, смотря в каком направлении он повернут. Нет цвета, ему недоступного, и все благодаря его чистоте. Часы замутняют жизнь. Падут Часы — и каждая частица снега засветится собственным светом, а на земле станет светло, как на Солнце.

— Ты не очень-то уж мечтай, — подозрительно покосилась Фара.

— Это не просто мечты, — отвечала Мишата, — это знание. Смотри, какая красота! Ведь всякая красота — неспроста, это кусочек будущего, посланный, чтобы в нас силы поддержать. Гляди — кристаллы! Это почерк самого будущего. Оно изображает себя на стекле: стекло — это вечный лед, самый таинственный материал, мой народ так и не научился его делать. У нас считалось, что ледяные узоры — это виды вечной зимы. Это цветники и леса кристаллов, и каждый кристалл раскроется, как бутон, после остановки времени. Пока что все снежинки лежат тихо, но, как только мы уничтожим время, они оживут и расцветят весь мир. Представь себе, что начнется!

— Представляю... Сейчас на улице дубануться можно, а тогда, наверное, и дома дашь дубаря.

— Тебе не захочется сидеть дома! Вообрази только: тебе откроются все тайны кристаллосложения, по одному твоему слову изо льда будет создаваться любое — одежда и обувь, з*а*мки и парусники! Можно будет жить прямо в снегу, ни о чем не заботясь, только кататься с гор на лыжах, на санях, в снежки играть и не уставать никогда.

— В снежки я и так могу играть, а в ледяной парусник в жизни не полезу. Значит, если меня сегодня часовщики не придушат, я потом должна буду околеть в твоей зиме?!

И наши — освободятся, обрадуются, да тут же сюрпризик и получат: вечная зима! Они, пожалуй, обратно к Часам тогда запросятся.

— Да ты не думай попусту! Будущее велит не думать, а смотреть. Просто смотри, какие на стекле радужные сады до небес! Как только ты увидишь их — забудешь о холоде.

— Ну, вижу лес, допустим... Да никакой не ледяной. Жаркий лес, лианы, джунгли, поняла? Тропическая поросль! Вот что здесь нарисовано! Только тогда я согласна! Чтобы как тут, густо, безвылазная зелень, полные деревья фруктов и даже ночью жара. И не нужны мне твои санки! Когда Часы кончатся, зима уничтожится!

— Не зима уничтожится, — расстроенно сказала Мишата, — а только внутренняя стужа... Ты не поймешь никак...

— Да про то, что после свержения Часов наступит лето и солнце выйдет, все знают, все дети, об этом и в книгах говорится, и в стихах. Давай твоего Директора спросим хотя бы!

— Директор не скажет, да он и не знает, — задумчиво сказала, глядя во тьму, Мишата. — Он говорит: что изменится в погоде мира — неважно, а в погоде духа — неведомо. Для себя-то он не ждет никаких радостей, ему все равно.

— А чего ему надо?

— Ну, деятельности. У него появится наконец возможность немного переладить жизнь.

— Могу представить! Что же он на этот раз отколпачит?

— У него много разных мыслей. На мусорные баки сделать ступенечки, чтобы небольшие собаки тоже могли доставать. Провода красить светящейся краской, чтобы птицы ночью не натыкались. Все решетки, заборы, железные ограды делать из прутьев разной длины, таких, что, если тарахтишь палкой, выходит мелодия. Люки делать прозрачные, чтобы интересно было вовнутрь земли смотреть... Плоскокрышные дома — все-все, какие

есть — и в Старом городе, и в мертвом, — засеять поверху густым лесом. Печное отопление вернуть, и так, что трубы одного дома настроены в один аккорд, чтобы ветра, продувая дома по очереди, звучали музыкой...

— Подходяще! Подходяще! — трясла головой Фара. — Если правда можно будет такое придумывать, то ладно уж, пускай останется немного снежка, я даже на зиму согласна, только чтобы она была короткая, не больше недели!

И тут свечной огонь вдруг пригнуло к окошку, причем сильно, до синевы.

В подвал ворвался холодный ветер.

Дверь была открыта, на пороге, перегораживая собой вход, чернел Директор.

Мишата мало видела его последние дни. Он сильно исхудал и обесцветился. Кости лица сделались еще резче. Одет и выбрит он был чисто, как манекен. Снежной яркости рубашка сияла под черным фраком, высокий цилиндр венчал голову, по бокам завивались снежные бакенбарды. Трость с серебряной рукояткой повелительно протягивалась в направлении детей.

— Готовы ли вы? — спросил Директор. — Готовы ли, сыты ли, собраны, отдохнувши? Нам предстоит ночь, полная трудов.

— Ладно, значит, мне пора, — вскочила и потянулась Фара. — Тогда в десять возле музея. Я прихвачу все, что только получится. Приветик!

И она побежала домой. А Мишата в сопровождении Директора отправилась в зал, неся в одной руке свой ранец и телогрейку — в другой.

Просторный каменный зал находился в самом центре подвала, разветвленного, до конца не изученного, вырытого в пору давней и страшной войны. После нее подвалы сделались не нужны, в них устраивали темницы, бассейны, музеи, потом стали забывать о них. Уже два десятилетия не ступала сюда нога земляка.

Теперь здесь горела одна керосиновая лампа. Пар

плавал вокруг нее. Сутулые стены сошлись над привинченным к полу столом. Пять фигур сидели вокруг и терпеливо ждали, деликатно покряхтывая. Когда издали полетели шаги, все зашевелились, распрямились, замерли. Стуча сапогами, быстро вошел Директор в развевающемся плаще. Из-за складок выглядывала Мишата. Директор отступил, все взгляды сошлись на ней. Мишата коротко поклонилась. Странно подсвеченные снизу, над столом застыли лица Бормотехника, Господина, старика лифтера. Ближе всех к ней оказался худой и длинный, в котором Мишата признала школьного сторожа Богдыханова. А рядом с ним скрюченный карлик. «Горбынек?» — пригляделась к нему Мишата, вспомнив рассказ Фары... На столе лежала коробка. Обычная коробка из-под обуви, но в ней разноцветно поблескивали из ваты елочные игрушки. Их было немного. Мишата подошла. Неспешной рукой коснулась коробки, потрогала вату, холодное стекло. Сердце ее екнуло от едкого волнения. Переведя дух, она нащупала крышку и прикрыла коробку. Все стояли по-прежнему.

— Да, пора, — глухо сказал Директор и щелкнул крышкой резных золотых часов, Мишата видела их впервые. — Попрощайся с подвалом, — сказал он ей. Лицо его, бритое, носатое, казалось теперь чужим. Бакенбарды придавали ему что-то страшное. — Попрощайся. Если ты увидишь его еще раз, ты будешь уже другая и, может быть, не узнаешь его.

— Если я буду другая, то прощаться нужно не с ним, а с собой. Уж лучше я не буду ни с кем прощаться.

— Но нам остается здесь еще одно, самое последнее дело, — прошептал Директор.

Они поднялись по тайной лесенке и выглянули в коридор. Директор поманил. Мишата высунулась с опаской. В конце коридора, среди запертых темных дверей, одна была обведена золотом.

«Зауч», — подумала Мишата.

— Да, — прошептал Директор, — она по обыкновению засиделась допоздна.

Он одернул бакенбарды, вздохнул и решительно двинулся вперед.

Его подкованные сапоги ударили тишину... Один, два, три, четыре шага отсчитали сапоги, и тут же рухнули шаги остальных. То стуча вразнобой, то попадая невольно в ногу, группа приблизилась к кабинету и вступила на середину.

Зауч сидела за столом выпрямившись, успев приготовиться ко входу посетителей. О левую руку ее разбежались бумаги. Дальше, к удивлению, стояла крошечная наряженная елка. Очки Зауча блистали холодным недоумением. Высоко под потолком щелкали часы, равнодушно меряя тишину.

— Анна Вадимовна, — церемонно и твердо произнес Директор, — я предлагаю вам отправиться с нами.

— Во-первых, здравствуйте, — нацелила на него Зауч свои сверкающие очки. — Во-вторых: с кем это с вами? Отправиться — сейчас? И куда? Извольте объяснить.

— Имеются в виду я, моя ученица, мои знакомые и коллеги. Всем нам предстоит срочное, неотложное дело. Прошу вас собраться в две минуты. Наденьте пальто.

— А в чем состоит это дело?

— Дело состоит в том, — неспешно отвечал Директор, — что сегодня, сейчас, мы заканчиваем эпоху власти часовщиков. Мы собираемся к двенадцати ночи овладеть механизмом Часов и разрушить его. И желаем, чтобы вы к нам присоединились.

— О, это очень важное дело, — воскликнула Зауч, — но, к сожалению, вы не согласовали его со мной заранее, так что, увы, я участвовать не смогу. В любом случае дела совершаются в рабочие дни. Сегодня — выходной, и я сама распоряжаюсь собственным временем.

— Сожалею, но возможности распоряжаться временем — своим или, может быть, чьим-то еще — у вас более нет. В эту ночь вы и остальные, подобные вам, будете лишены такой возможности.

Зауч поморщилась.

— Пожалуйста, — устало сказала она, — мне не до

шуток, тем более таких неуклюжих. Покиньте мой кабинет, прошу вас.

— Мы сделаем это немедленно и вместе.

— Разговор абсолютно исчерпан, — заключила Зауч и обратилась к своим бумагам.

— Если разговор, вы считаете, исчерпан, — все так же спокойно продолжил Директор, — мы приступаем к действиям. Подумайте, удобно ли вам быть уведенной силой на глазах вашего директора, сторожа и ученицы.

— Ах, вот как обстоит дело! — изумленно откинулась в кресле Зауч. — А я, знаете ли, полагала ваше шутовство насквозь наигранным! Оказывается, оно зашло довольно далеко! Вы и правда серьезно? Поверьте, я поражена, но, если вы действительно искренни, мне придется призвать вас к порядку.

Она потянулась за телефонной трубкой, сняла ее, прижала ухом так, что слегка перекосились очки, и тронула пальцами диск. Но сторож Богдыханов вынул огромные ножницы и, шагнув вперед, перерезал провод. Одновременно с этим карлик извлек откуда-то маленький пузырек, но Директор сделал отрицательный жест, и пузырек исчез. Лицо у Зауча стало такое же, как на сентябрьской линейке, когда ей бросили в лицо живую крысу.

— Собирайтесь, — повторил Директор и шагнул к столу. И остальные приблизились на шаг, только Мишата осталась стоять на месте, изучая Зауча.

— Вы больны, — слабо сказала Зауч, — ваша педагогическая деятельность кончена навсегда. Вас ждет строгое наказание. Вы неудачник. Вы инфантильный, бездарный выдумщик. Посмотрите на себя, посмотрите на своих друзей. Что вы, извините, напялили? У вас элементарно нет вкуса. Ваши выдумки лишены всякой оригинальности. Вы смешны и жалки.

— Смешон и жалок? — спросил Директор. — Однако никто не смеется и никто не плачет. Взгляните!

И правда, все лица, бывшие в комнате, хранили суровое выражение. И Зауч была бледна.

— И кто, — тихо, злобно сказала она, — кто позволил вам втягивать в ваши бредовые затеи детей?

— Это не ребенок, — тяжело промолвил Директор, — это волшебница и воин.

— Волшебница? — рассмеялась Зауч. — Пока что за ней, кроме средней успеваемости и плохой дисциплины, ничего волшебного я не заметила. Что же волшебного она может продемонстрировать?

— Ей нечего демонстрировать, она сама — волшебство, — ответил Директор, — и благодаря ей в эту ночь ваша власть и власть вам подобных падет. Я не надеюсь, что вы поможете нам отворить ворота, да мы и не нуждаемся для этого в ваших заклятиях. Вы мне нужны, чтобы в случае неудачи обменять по крайней мере вашу жизнь на жизни ее и Фары. Более высоко, поверьте, вашу жизнь никто и никогда не оценит. Вы считаете себя педагогом, Анна Вадимовна? Что ж, сегодня у вас есть возможность доказать истинность вашего призвания.

— Господи, что за дикий вздор! — простонала, прикрыв глаза своими изящными пальцами, Зауч.

— Ну, так вы оденетесь сами или нам все-таки совершить это принудительно?

Все стояли уже над самым столом. Зауч отняла руку и встретила спокойный и твердый Мишатин взгляд.

— Хорошо, — сказала она наконец, с усилием, пожав плечами, — вы меня заинтриговали. Отчего бы и не посмотреть, как вы срамитесь. Даже любопытно. Подайте, пожалуйста, сапоги и пальто.

Восемь закутанных фигур с чемоданами стояли на разбитом кафеле прихожей. За дверями полыхала метель. Крохотная лампочка освещала всех с потолка. Тени веером лежали на кафеле и были испорчены в выбоинах. Директор поставил чемодан и опустился на колени. Он нагнулся к Мишатиной тени и поцеловал ее; бросил щепотку невидимого порошка, пошептал немного, раскачиваясь.

«Это последняя лампочка и последняя отброшенная мною безопасная тень», — думала Мишата.

А Господин, легонько нагнувшись над нею, сказал:

— Здравствуйте, мальва. Как вы себя чувствуете?

— Привязанной к камню, который на краю пропасти и который я своими же руками сталкиваю.

— Я счастлив быть привязанным к одному с вами камню. Сейчас лучшая минута моей жизни. Минута, которая оправдывает все мое существование. Я близок к счастью, инфанта.

— Возможно, это плохо, — тщательно прислушиваясь к себе, выговорила Мишата. — Ведь мне... ведь для меня ваше присутствие... безразлично. Сейчас безразлично, в данный момент... а не вообще. Не будь вас, я чувствовала бы себя так же... А вы — не так же, не будь меня, а, видимо, хуже, да? Наша армия, значит, плохо уравновешена. Передо мной цель, а вы, значит, отвлекаетесь от моей цели на саму меня.

— Но для вас это и хорошо, хотя бы тем, — сказал Господин, — хотя бы тем, что, обещаю вам, если с нами случится что-то плохое, то с вами это случится с последней.

Мишата тихонько рассмеялась. Она оглянулась, а все, оказывается, смотрели на нее и ждали. Она бросила взгляд на дверь. Ее охватило такое детское, древнее чувство, как в сказке про девочку, которая так же открыла дверь и шагнула через полоску света в прихожую, где лежал мешок Деда Мороза. Мишата нажала на дверь. Чтобы сдвинуть ее, пришлось напрячь все силы, но, едва приоткрывшись, дверь распахнулась сама под напором метели.

опасность подстерегает внутри и снаружи, но паровоз побеждает

Предновогодний вечер — самый пустынный в году. Ночь — самая многолюдная, а вечер пустынный. Дома забиты людьми, и зажжены все окна, а на улицах никого. Тем более во время вьюги. А если и встречается человек, то он обязательно бежит. Никогда не увидишь столько бегущих, сколько в предновогодний вечер. Над их головами грохочут взрывы, не умолкают лихие посвисты ракет, вспышки и трески распоротого неба. Человек бежит и иногда падает. Потом, переждав, устремляется дальше. Бегут даже те, кому некуда торопиться. В предновогодний вечер нелегко удержаться от бега.

Первые минуты пути отряд тоже бежал.

Но потом Директор взял себя в руки и приказал остальным перейти на шаг.

Двигались цепочкой вдоль стен, еле дыша, глубоко надвинув шляпы и цилиндры и храня молчание. У всех чемоданы, у Мишаты ранец, только Зауч, заточенная в середине отряда со своей бледной презрительной улыбкой, шла налегке, лишь с маленькой сумочкой.

Дома стояли освещенные целиком, до краев полные горячим праздником. И во многих окнах Мишата видела цветные созвездия елок. Елки в каждом окне, тысячи елок, на каждой огни, и эти огни изображают чудо, что должно произойти с Предсказанной елкой. Но люди уже не надеются на чудо и даже забыли о смысле древнего обычая наряжать. Порывы вьюги несли клочки кухонных запахов, позванивание приборов, шелест ног и пение пира; но никто из празднующих не знал, что Предсказанная елка в эту минуту колышется на плече долговязого Богдыханова, а игрушки к ней едут в ранце



Мишаты, и все это творится здесь же, под окнами, и неотвратимо движется к грандиозному своему концу.

Морщась от вьюги, Мишата всматривалась в громаду музея, во тьму меж высоких колонн и наконец с облегчением заметила скорченную фигурку Фары.

— Сюда, лезь сюда, здесь потише, — замахала руками Фара. Между колоннами в одних местах дуло особенно жестоко, зато в других движения воздуха почти не чувствовалось. — Ух, какая толпа! — возбужденно прошептала Фара, глядя на подходивших взрослых. — Я мандаринов набрала, держи. И вот еще что взяла. — Она отпахнула пальто и со значительностью приподняла из-за подкладки кухонный нож.

Мишата покивала. Из-за колонны, сквозь вьюгу и через забор, рассмотрела красные гирлянды заграждения, тени и взмахи.

— Чего это они как партизаны? — пожаловалась Фара. — Лампы эти красные, в жилетках все!

— Это же языки, — сказала Мишата, — разведчики, которые под видом партизан. Это их искусство — походить на партизан. Пойдем. Языки — наши союзники. Гляди, как они работают. Гляди, уже одни рельсы положены.

Высокая решетка отделяла двор музея, уставленный военными машинами. Снаружи вдоль решетки тянулись дорога и трамвайные рельсы. От решетки внутрь спускался небольшой склон, у подножия которого находился поезд. Теперь же часть решетки была разломана и сугроб весь вытоптан. По всему склону стояли языки и отбойными молотками грызли землю. В багровом полумраке они действительно походили на партизан. Только приглядевшись, Мишата увидела, что лица их бледнее партизанских и глаза очень грустные.

— Они нам не верят и жалеют о нас, — тихо поведала Мишата Фаре. — Они убеждены в непобедимости Часов.

— Их дело — работать! — возмущенно крикнула Фара. — Подумаешь! Их никто и не просит воевать, мы сами управимся. Главное, чтобы нас прямо здесь не стрено-

жили, — понизила она голос, присев и оглянувшись. — А чего охрана? Сторожа здешние?

Мишата пожала плечом.

— Усыпились, должно быть. Так по плану. Вон та будка, наверное, и есть сторожка, помнишь, мы на карте видели. Свет там горит.

— Утром проснутся — повеселились! С Новым годом! — засмеялась Фара.

Но Мишату не оставляла тревога. Молча пробиралась она туда, где тихо тлели амбразуры кабины и неслись тяжелые вдохи пробуждения паровоза. «Только бы, — думала беспокойно Мишата, — скорее! Только бы поскорее!» Минуя удары, огни, дымы, она начала дрожать от напряжения и страха и не могла совладать с этим. А раньше думала, запуск пройдет как-нибудь тихо, украдкой. Как же было не понять сразу, что, для огромного дела с огромной целью приводя в движение огромное средство — паровоз, само собой порождаешь и огромные звуки. «Да сейчас сюда полгорода сбежится», — внутренне обмирала Мишата.

Но все было гладко вокруг. Пусто, полуосвещено, и метель стерла с улиц остатки жизни. Только вспышки фейерверков, то слева, то справа застигая крыши, приветствовали вспышки сварок и делали их как бы простительными. Мишата наконец выдохнула.

«Может, и ничего, — думала она, сжавши зубы, — всем безразлично, некому поднять крик».

Правда, одна-единственная собака кружилась на привязи, скакала и все лаяла, пытаясь отогнать чужаков. Наверное, собака спящих сторожей. Да что толку от лая, если работа компрессора заглушала все звуки с верхом, включая метель.

— Странно... — задумчиво сказала Мишата, глядя на заснеженные дупла орудий, — столько непобедимых ужасных машин, и некому их защитить, кроме маленькой собаки. О чем думают часовщики? Здесь же горы оружия. Жаль, что нас так мало, можно было бы кроме поезда еще этих грубиянов двинуть, самолеты поднять!

— Ты умоляй, чтобы поезд поехал, — приплясывая

и закрывалась от холода руковом, процедила Фара. — Какие еще самолеты! Ты еще в самолеты веришь? Прямо как маленькая. Я и в поезд не верю почти.

— Самолеты летают, — задумчиво сказала Мишата, — я знаю. Ну, или делали это раньше. Мне еще Гусыня, когда по музеям меня водил, показывал их раскраску. Вон у того, я помню, брюхо синее для полета в ясном небе. У того пасмурное, в пасмуре летать. А этот — у него брюхо черное и крыша в созвездиях — для полета в ясную ночь над безветренным морем, где отражаются звезды.

Фара высунулась из-за рукава и посмотрела, но самолет оказался весь обмерзший снегом, и раскраску было не видать. Тут колючий ветер хлестнул так сильно, что Фара пошатнулась и закричала:

— Нету там звезд, а один снег! И все твои самолеты одинаковые, облепились дурацким снегом, чтобы летать над снегами, над дурацкой землей в дурацком снегу и льду! У меня слезы уже идут! Пойдем же наконец к печке!

— Это Фара кричит? — раздался сверху голос Директора. — Привет тебе, милая злюка! И ты, Иванова, поднимайтесь в кабину, отправление близко, близко!

Его счастливый хохот метнулся и растерзался порывом ветра. Директор спрыгнул и, придерживая цилиндр, устремился к языкам. Мишата с Фарой залезли наверх.

— Отогревайтесь быстрее, и за работу! — строго сказал им сторож Богдыханов, указал на поленницы, а сам, отодвинув штору, перебрался через окно на борт паровоза. В руках Богдыханова находился ворох елочной мишуры, флажков и гирлянд, а следом вылезший старик лифтер держал большую вязанку петард. В кабине сделалось посвободней. Мишата с Фарой уселись на дрова и огляделись.

Их спутники кое-как пристроились на ящиках с петардами и на дровах. На полу было натоптано снегу, из-под фанерок и шкурных штор задувала пурга, но такой страшный рев-жар бесновался в топке, что пурга тут казалась кстати. Техник, смешной своими шортами на подтяжках

и жуткий ребрами и зрачками, как обезьяна, скакал по кабине. Помня его вялым и бесцветным старичком, Мишата удивилась. В тот момент, когда Техник ее увидел, он наклонился за углем, но от взгляда на Мишату вдруг притопнул, обратив свой наклон в первые движения танца.

— Ах, девчушки, — начал он душевным, замирающим голосом и вдруг, стрельнув ногами, закричал:

Вы милашки,
ваши ушки!
и кудряшки!
без передышки!..

— Василий Петрович! — гаркнули на него с поленниц. — Не отвлекайтесь...

Молодецки ахнув, Техник провалился куда-то за кучу угля и спустя миг лез уже назад с полными ведрами. Пособачьи раскорячась, так что натянулась и заблестела его потная татуированная спина, он начал остервенело метать уголь в топку, и куски угля вспыхивали прямо у него в руках. Господин и Горбынек тихонько переместились, стараясь занять места подальше от Техника. Третья фигура в углу кабины не шевелилась. Когда накал топки возрос, стало возможно различить Зауча.

— А это чего такое? — в совершенном изумлении обратилась к окружающим Фара.

— Запаслись, — хрипло пояснил Горбынек.

— Это часовщица! — с мрачной значительностью указал Господин.

— Не успела раньше сказать, — объяснила Мишата, — Михаил Афанасьевич решил ее взять с нами.

— Твои друзья, Фара, — сказала Зауч с достоинством, — пригласили меня на новогодний вечер.

Настало молчание, только Техник распевал, шуруя топку. Фара в недоумении оглядела всех и, наконец поняв, встала. Руки ее, по обыкновению, уперлись в бока.

— Вот что, — объявила Фара, — это какие-то глупости. К чему нам она? Надо ее немедленно отпустить, понятно?

— Михаил Афанасьевич решил, что она увеличит нашу силу против часовщиков, — добавила Мишата.

Фара опять осмотрелась и теперь уже побледнела.

— Анна Вадимовна, — крикнула она злобно, — идите, пожалуйста, домой, и побыстрее.

— О нет, тут совсем недурно, — ядовито начала Зауч, а Горбынек, привстав, посоветовал:

— Успокойся, девочка, сядь, никуда она не пойдет.

Не удостоив его и взглядом, только поджав уголки губ, Фара приказала Мишате:

— Спустимся-ка.

Слова прозвучали угрожающе. Мишата вслед за Фарой вылезла снова в метель.

— Друзья! — раздался внезапно директорский голос. Кое-кто высунулся из окошек. — Друзья, — взмахивая руками, воскликнул Директор, — хвала нашим союзникам! Путь открыт! Наш путь открыт, наше время тает. Капитан! Руби якоря! Пробила минута пара!

И гудок паровоза, как бич, ударил в ночь и рассек ее.

Но прежде чем он умолк, другой звук, пусть не такой громкий, зато не в пример более отчаянный и напористый, полетел в директора — Фарина брань.

— Поезд дальше не идет! Освободить вагоны! — орала Фара, на каждом слове подпрыгивая, словно вколачивая их в оторопевшее лицо Директора. Вдруг она расплакалась: — Что же вы, Михаил Афанасьевич, — и слова летели уже не как камни, а как слякоть,— такую мне сделали жабу вонючую! Ведь сколько уже было обговорено! Сколько раз я просила вас бабку не трогать! Ну и гад же вы оказались!

— Успокойся, Фамарь, — сурово произнес Директор, выждав паузу. — Сегодня решается судьба мира, и решать ее нам. Я не забыл твои просьбы. Но при вступлении в области великие наши личные желания и мнения должны уничтожиться. Нету ни тебя, ни меня, а есть общая беда и одна победа, которая должна совершиться любой ценой! Слышишь? Любой ценой!

— Но какая общая теперь может быть победа, — рыдала Фара, — если вы на меня наплевали!

— Напротив, — перекрикивал, наклоняясь над ней, Директор, — я высоко оценил и превознес тебя, полагая, что перед лицом величайшего в эпохе события...

— Было великое, а стало паршивое, — вылетело из Фары, а Директор закричал:

— Смотри! Смотри кругом! Смотри, как соединились все стихии и материалы во имя нашей победы! Металл и снег, темнота, уголь и пар — все вещества ныне жертвуют собою во имя свержения Часов, и все они будут прославлены в Новом времени. Зауч, отстраненная от предстоящего сегодня сражения, обречена на исчезновение в будущем; но, насильно привлеченная к подвигу во имя воцарения вечности, она спасется от гибели и получит возможность! Наравне с другими! Вступить! В грядущую! Жизнь!

Последнее звучало отрывисто, так как Фара уцепилась за воротник директорского фрака и трясла его:

— Значит, можно сделать ради вашей вечности что угодно! А зачем она тогда сдалась! Если в ней будет тошнить от сделанного! Вечная тошнота! Вот вам чего надо! А мне такого не надо! Меня и так все время тошнит! Я-то как раз хотела...

— Чтобы разделить нашу судьбу, пойми, нашу судьбу в грядущем мире, Зауч должна, пойми, должна иметь общую с нами судьбу в этом мире, — перекрикивал Директор и, забывшись, тоже встряхивал Фару.

А она, не чувствуя этого, вопила:

— И никого вы, значит, не любите, кроме своих дурацких Часов!

Пригоршня метели залетела в ее разинутый рот. Фара захлебнулась и закашлялась. Она разжала руки, и Директор разжал. Она оступилась, ухватилась за обледеневшую броню, в отчаянии ударила по ней кулаком — пальто ее, расстегнутое, раздуло ветром, и большой кухонный нож выпал на снег. Сердце Мишаты сжалось. Растрепанная, сморщенная Фара озиралась кругом на лица, растерянно на нее смотревшие. Остановила взгляд на Мишате.

— Скажи ему, — хрипло потребовала Фара, — скажи ты ему, чтоб Зауча отпустил немедленно!

Мишата молчала.

— Ты что, оглохла? — подступая, закричала опять Фара. — Потребуй от него, живо! Живей!

Мишата стояла и не могла шевельнуться. Ей надо было покачать головой, она должна была покачать, но не могла: голова и шея словно окаменели.

— Ну ты, чертова снежная кукла! — крикнула Фара, и слезы как искры брызнули у нее из глаз. — Ну сделай же что-нибудь! — Мишата стояла оцепенев. Фара наставила на нее палец: — И ты хочешь сломать Часы? Да ты сама механизм! Заводная игрушка, болванка на батарейках. Да ты хуже любого часовщика! Посмотри на себя получше! Да ты от дневного света воротишься! На тебе волосы все сгорели! Кости торчат, как у падали, в лохмотьях ходишь, в плесени спишь, паутиной питаешься! Да тобой хоть в футбол уже играй, хоть кол забивай! Да ты вообще хоть что-нибудь чувствуешь? Хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть? А? Ну говори, говори, — затопала она ногой, — быстро говори Директору, что уйдешь сейчас со мной, если Зауча не отпустят!

— Я не могу такого сказать, — произнесла Мишата. Она стояла опустив голову, и Фара застыла. — Я ничего вообще не могу. Я все чувствую, но внутри. А снаружи меня и нету, я просто туфли, в которых сегодня ходит судьба.

— Гадина! — крикнула Фара даже с каким-то изумлением и отшатнулась. — Ну ладно! Ладно! — повернулась она к Директору. — Оставайтесь вы все, а я пошла. Посмотрим, как вы будете устраиваться с вашей вонючей вечностью! А своих друзей освобожу и без вас! Сама придумаю что-нибудь! Ну, — взмахнула она волосами, — последний раз: меняете меня на Зауча?

Никто не ответил.

— Меняете?

— Нет, — бесчувственно, не глядя, ответил Директор.

— Ну и будет ваша вечность без меня дырявая!

И она, тяжело ступая в снегу, пошла.

— Нет, — сказал опять Директор.

И сразу что-то тяжелое свалилось на пути Фары.

Это прыгнули старый лифтер и Богдыханов, украшавшие котел мишурой и маскировавшие в ней взрывпакеты. Теперь, растопырив руки, эти двое загородили Фаре дорогу...

Фара резко повернула в сторону, обойти их, но чья-то рука толкнула ее назад. Не то чтобы толкнула, просто остановила, но Фаре пришлось шагнуть обратно, чтобы не упасть. Она оглянулась — куда идти? И сразу же пустота справа закрылась фигурой карлика. Фара оказалась окруженной с трех сторон, а слева был паровоз.

Секунду, словно не понимая, Фара стояла столбом, потом, взвизгнув, бросилась снова вперед и тут же полетела в снег, на этот раз отброшенная по-настоящему.

— Поедут все, — властно произнес Директор.

Тогда Фара моментально вывернулась на четвереньки и, взметнув снег, кинулась под колеса поезда. Мишате показалось, что Фара сейчас нырнет под паровоз, но она подхватила свой нож и вскочила на ноги. Держа нож острием наружу, она выпрямилась. Лифтер-возничий, Богдыханов и карлик бросились к ней, подумав, что она хочет сбежать, но, при виде ножа растерявшись, отступили. Тогда Фара махнула ножом, как бы одобряя их движение прочь, и они на этот взмах, опять неосознанно подчинившись, отступили еще на полшага.

Первым опомнился Горбынек. Присев, он начал кружить вокруг Фары. Рукой, живущей словно отдельно от всей его мягкой крадущейся фигуры, карлик вынул маленький пузырек... Мишата испытала огромное облегчение. Почти полное облегчение. Только одно, последнее мешало ей, но полвзгляда было достаточно, чтобы и эта помеха исчезла: Директор стоял неподвижно, ничего не делая, вытянув лицо, которое впервые показалось Мишате необыкновенно красивым... Неловко, путаясь, она засунула руку в телогрейку и потянула из кармана пистолет. Он цеплялся за подкладку, а она, продолжая дергать, подбежала к Фаре, прижалась сбоку к ней и все тащила...

— Нет, этого нельзя, — спокойно говорила Мишата.

И все пыталась загородить как-то Фару, но Фарина вытянутая рука с ножом не пускала Мишату. Мишата упиралась, а Фара ее давила и теснила, и они неловко топтались вдоль паровоза. Они бы так и упали, но тут шагнул Господин и, повернувшись, подпер их слева. Тогда Мишата с Фарой перестали валиться набок и остановились, уже втроем. Карлик тоже остановился напротив, присев по-заячьи, готовя прыжок; тут Мишата наконец вынула пистолет и подняла перед собой двумя руками за ствол, будто предлагая кому-то в дар. Так держать его было бессмысленно, но Мишата и не думала о смысле. Она следила только за тем, как медленно отваливаются от оставшегося обломка времени секунды, как столь же медленно накапливается в фигурах вокруг незнакомая темная сила и как нарастает чувство безысходности.

Все медлили... Вдруг шевеление справа привлекло их взгляды. Зауч спускалась из кабины паровоза. Она спускалась суетливо, уродливо, торопясь, сумка мешала ей, но она не догадывалась бросить. Что-то ужасное было в этой торопливости, и ясно, что: она единственная не была во власти торжественной и грозной паузы, объединившей остальных, спешила, как огонь по фитилю. Не так ужасны показались Мишате угрожающие фигуры впереди, как нога Зауча, нащупывающая снег под последней ступенью; и как только он был нащупан, палец Мишаты тоже нашел в пистолете тот изгиб, за которым пропасть. И Мишата поняла, что сейчас она опередит всех, и даже Зауча, что сейчас она прыгнет первой.

— Стойте! — рявкнул Директор.

Зауч замерла на секунду с одной ногой на ступеньке и другой на снегу.

— Стойте, — повторил Директор почти шепотом.

Мишата опустила пистолет немного вниз.

— Уходите, — спокойно сказал Директор. — Уходите, Анна Вадимовна. Я настоял на вашем присутствии, но теперь прошу вас уйти. Я признаю свою ошибку. Не надо было брать вас с собой. Наш отряд на краю гибели. Вы, служители Часов, губите все, к чему прикасаетесь.

Голос Зауча прозвучал будто со старой исцарапанной пластинки:

— Вы не посмеете тронуть детей.

— Никто не посмеет тронуть детей, — заверил Директор. — Мы, с одной стороны, и вы, с другой, находились тут, чтобы сберечь детей. Но в результате чуть не погибло все. Покиньте нас. Пожалуйста, покиньте нас поскорее. Ведь тогда ты останешься? — прямо спросил он у Фары.

Фара, отдуваясь, съехала спиной по броне в сугроб.

— Придурки, — хрипло сказала она.

Все вокруг сразу разжалось, обвисло, ослабло. Все шевельнулись и задрожали, и те, кто задержал дыхание, вспомнили об этом и сделали выдох. Мишата тоже. Тяжелая правая рука ее опустилась теперь до земли.

— Я заберу внучку, — сказала Зауч.

Директор пожал плечами.

— Она решает.

— Я, может, тогда останусь, — вяло сказала Фара.

— Хорошо, — продолжила ровно Зауч, — хорошо. Но я говорю не с тобой. Я пытаюсь говорить с Михаилом Афанасьевичем, пытаюсь воззвать к остаткам его здравого смысла. Я со своей стороны обещаю: если вы позволите мне увести детей, я позволю вам совершать все остальное и не обращусь в органы правопорядка; в противном случае я сделаю это немедленно, и ваша затея сорвется наверняка.

— Я знаю, — печально произнес Директор. — Я знаю, что, отпуская вас, обрекаю отряд на вероятную гибель. Единственное, может быть, остановит вас. Подумайте: кара часовщиков обрушится на всех, на всех без разбору. Выдав нас, вы, по сути, обрекаете свою внучку и свою ученицу на уничтожение.

— Перестаньте, — ядовито засмеялась Зауч, — не прикрывайтесь детьми! Вам за все придется ответить, а детям никто, разумеется, вреда не причинит.

Но внезапно маленький злобный кукиш выскочил сбоку.

— И не мечтай об этом! — звонко крикнула Фара. —

Если твои поганые часовщики сунутся к нам, если они тронут хоть кого-то из моих друзей, я в них первая вцеплюсь, понятно? Им только и останется, что меня придавить, я уж о том позабочусь! Позабочусь, чтобы мне первой шею свернули — тебе назло!

Она приплясывала, рассекала воздух ножом, ее замерзшие волосы тряслись и стучали, как костяной бубен. Зауч отшатнулась. Сзади Фары взвивался и вертелся карлик, заходясь в танце, скакал Богдыханов, Техник распевал воинственные стихи.

— Боже, боже, — бормотала Зауч, трясущимися руками застегивая сумку, пятясь, спотыкаясь, увязая, разворачиваясь, уходя.

А они остались стоять в слабеньком круге лампы, подвешенной к вершине трапа.

Ветер выл и раскачивал свет, и на лицах двигались тени.

Все по-прежнему стояли так, как расположились по требованию надвигающейся катастрофы: Мишата, Фара и Господин рядом с лестницей, вплотную к паровозу, остальные полукольцом вокруг, и Горбынек, единственный на полпути через границу, отделяющую середину от круга. Но страшный смысл уже испарился из расстановки фигур, она сохранялась просто как пустая скорлупа прошлого, а потом и вовсе раскрошилась и смешалась навеки, когда Директор приказал всем подниматься.

В кабине они набились тесно-претесно, и последний затворил дверь. Директор раскрыл чемоданы. Там лежали костюмы.

— Ну, пора, значит. Оденемся, что ль? — обведя всех каким-то испуганным взглядом, сказал Техник. Он первый шагнул и выбрал себе костюм Волка.

Карлик оделся в костюм Домового.

Возничий оделся в костюм Солдата.

Богдыханов оделся в костюм Трубочиста.

Господин оделся в костюм Медведя.

Фара оделась в костюм Сороки.

Мишата оделась в костюм Снегурочки.

Директор — в Деда Мороза.

Сигнальщики-языки стояли вдоль всех путей, и красные лампы отражались в новеньких рельсах. Превозмогая вьюгу, Директор вылез на крышу поезда. Остальные, кто, кряхтя, через люк, кто по трапу, вылезли следом. Было скользко и тесно, стояли на льду, придерживались друг за друга. Директор поджег бенгальскую свечу, мишурой прикрепленную к посоху, и, воздев руки, закричал:

— Собирайтесь все! Собирайтесь, соратники наши! На прощание, на напутствие! Подходите! Подходите!

Языки, вразнобой покачивая лампами, обступали трап.

— Жители недр! — гремел Директор. — Дети сумрачного государства! Вот уже сотни лет, как подземелья оцепенели в ужасе! Мощь часовщиков казалась нам неодолимой! Попытки наши сбросить убийственный гнет кончались трагедией! Отчаяние пригвоздило нас своим бессмысленным взором! Поднявшись в полный рост! Срываем вековые оковы! Рельсы лежат, и котлы кипят! И не чахнуть нам больше в плену бесчувствия и магнетизма! Часы отсчитывают последние минуты своего хода! Граждане подземелий! Готовьтесь! Близок миг падения времени! Сила Часов в эту ночь будет сокрушена! Волшебные фонари уже зажигаются! Ящики столов выдвигаются! Ключи повернуты, шнурки развязаны, и пуговицы отрываются, не расстегнувшись!!!

Он пошатнулся, вдохнул лохмотья метели, закашлялся, переступил. Слева его поддержала Мишата, а справа подпирал Техник, потрясая своей двустволкой. Директор хотел еще крикнуть, но задохнулся в восторге. Пар окутал кабину и стоящих на ней. Мишата смотрела на толпу внизу в ожидании отклика на директорскую речь, но, когда развеялся пар, толпа стояла все так же безучастно. Вдруг смех, жестокий, безжалостный смех послышался Мишате... Толпа стала распадаться. «Обманутый, обманутый...» — донеслось до Мишаты. И вскоре никого уже не было на снегу под фонарем кабины.

Хотя нет. Какая-то фигура топталась там, узкая, взлохмаченная метелью. Надежда слабо шевельнулась у Мишаты. Она искоса посмотрела на Директора. Тот стоял задумавшись, но, услышав вдруг голос от подножия паровоза, вздрогнул.

— Могу я увидеть Михаила Афанасьевича? — прозвучал вопрос.

Это была Зауч без шапки. Низенькая отсюда, большеголовая, она вышла поближе к свету, щурилась наверх, плохо видя от фонаря и метели. Директор склонился.

— Слушаю вас.

— Извините. Этот наряд… — прокричала Зауч. — Я не признала вас сразу. Я хочу заявить, что поеду с вами. Я шокирована всем, что происходит сегодня. Не скрою глубокой антипатии к вам лично. Но если моя внучка все же предпочла ваше общество, мне тоже, видимо, придется разделить вашу компанию. Вы и ваши сподручные одержимы насилием, психически неуравновешенны. Вы тяжело больны. Вы затеваете что-то безумное, и хотя бы один нормальный взрослый должен находиться при детях, которые в это втянуты.

— Этого еще не хватало, — пробормотала Фара.

Все посмотрели на нее. Постояла тишина.

— Что же, — произнес наконец Директор, — вроде бы возражений я ни от кого не слышу. Мне лично вы крайне подозрительны. Я предвижу трудности с вами, но, если тут и правда какой-то живой порыв, не мне подавлять его. Из костюмов могу предложить вам только наряд Бабы-яги. Подумайте. Если вы согласны, поднимайтесь в кабину.

сказка шестая.
о том, как дед мороз и сказочные существа остановили время

Звезды! Звезды! Они высыпались в прорехи туч. Ветер одолел снег: сдул его и скомкал, порвал, прогнал его пеле-

ну. И дул теперь, удовлетворясь, сурово и ровно, точно морской. Небо стояло гладкое, словно лед, с выпавшим поверх черноты звездным инеем. Улицы оцепенели от мороза. Бег бронепоезда почти не нарушал их тишины.

Позади остался уложенный языками путь: вспученные, раздавленные рельсы, уже непригодные, но сослужившие свою службу; сплющенные ограждения, пробитая решетка, горы земли и сторожка с бессмысленно ярко горящим окном. Все это было уже далеко. Теперь мимо поезда шли только улицы, улицы, все теснее и все древнее по мере приближения к середине города.

Трамвайные пути были узки паровозу и раздвигались со стоном; вздувался и лопался, будто лед, по сторонам их асфальт. Наваливаясь передними колесами на целенькие рельсы, поезд оставлял позади себя изувеченные.

— Починим, потом все починим! — клялся в кабине Дед Мороз. — Починим все, что за тысячу лет было сплющено. Да будут эти рельсы последним, что сплющено в эпоху Часов!

Карта трамвайных путей лежала, расстеленная, возле топки, где свет.

Карта была столетней давности, и многие рельсы, отмеченные на ней, оказались скрыты под асфальтом.

Такие места поезд проходил вслепую. На бронебороде у него был закреплен огромный магнит, соединенный со стрелкой компаса внутри кабины. Исчисляя по поведению стрелки градус поворота скрытых рельсов, Волк то давал, то оттягивал скорость, и поезд шел мягко. Ему самому было безразлично, на поверхности рельсы или нет: колеса многотонной туши взрезали любой толщины асфальт, нащупывая в его недрах дорогу. Поезд неторопливо проходил сквозь дворы, детские площадки и ворота зданий. Иногда паровозная труба раздирала своды особенно низкой арки или рельсовый костыль под натугой поезда стрелял в высоту, трескалась изнывшая шпала; но в основном движение было тихое: Волк вылил в мотор полное ведро масла, и он трудился спокойно. Только дрожание и гул сокрушаемой дороги передавались домам вокруг, и только тень по-

езда беспокоила порой окна. Но жильцы не видели ничего, оглушенные собственным шумом, ослепленные собственным светом жилищ. Лишь раз маленькие дети, мальчик и девочка, которые глядели на улицу из окошка старинного дома, закричали:

— Мама, мама! Поезд проехал!

— Тише, дети, — отвечала мама, — это, наверное, Дед Мороз со сказочными существами торопится успеть к бою часов.

В кабине было тепло, потому что окна загородили одеялами.

Дед Мороз, Снегурочка, Сорока, Медведь, Солдат, Домовой, Баба-яга сидели тесно на ящиках петард и молчали.

Один Волк, неустанно напевая, кормил паровозную печь, да Трубочист отсутствовал: сидел в орудийной башне. Само орудие ее не действовало, лишенное спускового замка, но Трубочист имел огромную ржавую двустволку, какую высунул в амбразуру, и вращал себя вместе с башней, зорко выцеливая ночь.

Скрежет вращения доносился до сидящих в кабине. На полу между ними горела свеча, лежали салаты и сельди, но аппетита ни у кого не было. Дед Мороз следил глазами по карте. Кто-то дремал. Кто-то по третьему разу осматривал свое оружие и одежду. Сорока, привалившаяся к Снегурочке, безвольно раскачивалась от толчков паровоза, словно спала, но глаза ее были широко открыты и устремлены туда, где в прорехе брони висели неподвижные звезды и иногда проплывали флюгера или дымящие трубы. Часто паровоз замедлял ход, Волк спрыгивал на ходу, обгонял паровоз и железным крюком поправлял стрелку рельсов, а затем так же на ходу прыгал обратно и увеличивал скорость.

Долго, долго тянулась дорога, и, может быть, каждый хотел бы, чтобы она тянулась дольше, но всему настает конец: поезд, замедлив ход, остановился и потом уже не разгонялся более. Партизанский замок был достигнут и загораживал путь.



Когда эта весть дошла до сидящих в кабине, сначала никто не двигался.

Паровоз тихо сипел и ныл всеми щелями своего котла, а в кабине стоял покой — полный, нежный покой. Все сидели пригревшиеся и размягченные, никто не решался первым нарушить неподвижность. Только Сорока медленно бледнела.

Наконец Снегурочка осторожно высвободилась, добралась до окна и выглянула.

Жутко ей стало. Перед и над ней стояли ребристые ворота. Мир позади был растворен луной. Решетчатые мачты, шипы и прутья, страшная колючая мишура, украшавшая верх стены, и сама башня маркшейдера — все стояло необитаемое, призрачное, пропитанное пустым светом.

— А там вообще-то хоть кто-нибудь есть? — прошептала Сорока. Глаза у нее были круглые от ужаса.

Снегурочка покосилась на нее:

— Точно есть, я чувствую живое.

Она сошла по трапу на нетронутый снег и тихо прошлась, разминая ноги. Щелчки и дроби петард неслись издали в чистом, огромном воздухе.

Она посмотрела наверх. Зубцы стен, обведенные лунной каймой, горели по контуру ледяным светом. Рядом тихо слезали и готовились остальные. Последним, кряхтя, спустился Дед Мороз. Он велел всем укрыться за броневыми выступами и колесами паровоза, сам же остался на виду у ворот. Спокойным и уверенным голосом он приказал:

— Пора, друзья. Машинист! Приветственный сигнал!

— Мамочки! — запоздало пискнула Сорока.

И Волк закричал, с диким криком повис на рукояти гудка, и гудок поднял на себе небо и опоясал собою ночь.

До этого мига они только готовили, наполняли, пододвигали чашу события; но теперь опрокинулась чаша, и поток события подхватил и понес их как щепку. Покатился наконец камень, о котором когда-то говорила Снегурочка. Собрав все свое мужество, она стояла неподвижно, пока удары прожекторов с ворот и со стен пригвождали ее к земле.

Теперь поезд стоял на блюде ослепительного света, а вместо мира снаружи оказались ряды ужасающих солнц, на которые невозможно было смотреть без боли. Приходилось смотреть на снег, но он так блестел, что было больно. А тени стали такие маленькие и черные, что на них глядеть было страшно, Снегурочка ни разу в жизни не отбрасывала такую тень. Она закрыла глаза и осталась в красной темноте. До нее доносились из крепости звуки рога, и лязг цепей, и топот, и грубые голоса партизан, сотнями высыпавших на стены.

— Кто вы такие и что вам тут нужно? — раздался с высоты ворот тяжкий голос.

Снегурочка, морщась, взглянула из-под ладони.

Дед Мороз, отделившись от поезда, прошел вперед, на свободный снег. Он двигался величаво. Поклонился, резво повернулся к ряженым и взмахнул руками.

— Сно! Вым! Го! Дом! — прокричали все, повинуясь взмахам.

Дед Мороз со сладкой улыбкой кивнул им и, оборотясь снова к прожекторам, отставил изящно ногу и ловко развернул свиток. Загрохотал его голос:

Этот праздник, день сегодня,
Новый год зовется он.
В этот праздник новогодний
в каждой комнате кругом
блещет чудо-холодец,
словно мраморный дворец,
кулебяка вся дымится,
над столом толпятся лица,
умоляя телевизор,
чтобы Новый год приблизил.

Мы покинули столы!
Мы пришли восславить труд!
Ради пламенной хвалы
мы сейчас собрались тут.
Метрострой не позабыт!

Тюк подарками забит.

Для работников труда —
газированна вода!

Капитанам глубины —
булки, джемами полны!

Для работников метро —
полных пряников ведро!

Отворяйте ж двери куб,
чтоб попасть смогли мы вглубь!

Наступила тишина.

— На ваш счет не поступало распоряжений, — произнес наконец тот же голос и равнодушно смолк.

— Все здесь, все здесь, — заторопился, заюлил Дед Мороз. — Все, все документики здесь. И распоряжение, и разрешение, и график согласования, и все, что душа только просит-желает! Берите, миленькие! Берите!

И он, лебезя и счастливо смеясь, подтанцевал к самым воротам. Прожекторы, скрипя, толчками подвигались за ним. У ворот Дед умилительно встал на цыпочки, помахивая и маня бумагами. Ворота молчали. Потом что-то лязгнуло наверху и пошло свешиваться. Это была клешня на цепи, живая, цапающая воздух, покрытая проволочными волосами. Сорока издала долгий колодезный звук... Клешня спустилась до Деда Мороза. Он вложил в нее бумаги, и она тут же вознеслась в высоту. Дед отошел от ворот и повернулся.

— Пляшите же! Пляшите! — прошипел он яростно, на миг показав из-под сладкого своего лица другое, полное муки.

Броня паровоза осыпалась тысячью цветных огоньков, заполоскались флажки и воздушные шарики, и вслед за этим полились звуки рождественской шарманки, которую вращал на паровозе Волк. Хоровод героев с притопами и прихлопами двинулся по кругу.

И те, кто был на снегу, и те, кто вылез на крышу, ударились в пляс. Кто шел вприсядку, кто старался на месте, кружась, вертясь и подпрыгивая. Треснули и посыпались фейерверки. Зажигательнее всех выплясывал Дед.

— Ай, молодцы! Ай, дружочки! Вот еще! И добавь! И поднажми! — кричал он и заливался радостным смехом.

Напор веселья все увеличивался. Надрывалась и ускорялась шарманка оттуда, где неистовствовал и выплясывал Волк, высовывая морду наружу, бодро аукая стенам. Домовой хохотал и распевал во весь голос, Медведь приседал и умоляюще воздевал к стенам руки, а Трубочист протягивал прожекторам мешок конфет и, доверительно кивая, пересыпал из рук в руки... И это тянулось бы бесконечно, но тут — переломилось, передумало наконец что-то на стенах, прожекторы мигнули и сбавили ярость.

Снег посыпался с зубчатых решеток наверху ворот. Цепи поползли с нехорошим лязгом. Плахи ворот встряхнулись. Узкая щель обозначилась между ними. И, стеная, повреждая воздух унылыми возгласами механизмов, ворота стали разваливаться шире, шире, пока не раскрылись совсем.

Снегурочка увидела пустынный двор, угрюмые здания партизанских казарм по бокам, псов, надрывающих цепи, и продолжение рельсов, что блистали в снегах и скрывались в черной дыре подножия башни. Галдя и махая фонариками, сыпались со стен и заполняли двор партизаны.

— Валяй помалу, помалу валяй, — призывали их голоса, и хохот скакал в морозном воздухе.

Смесь счастья, ужаса и недоверия окрасила лица членов отряда. Сорока так и застыла, разглядывая открывшийся путь. Другие, наоборот, уже лезли и суетились...

Не сразу совладав с собой, Дед Мороз приказал:

— На вагон, деточки! Вперед, миленькие!

И бросился первый, подхвативши полы тулупа. За ним в кабину бросились остальные. Просто давка началась на трапе! А внутри уже вовсю бесновался Волк, натягивались рычаги и разъярялась топка. Труба изрыгнула пламенный вопль. Миг — и колеса стрельнули горячей ржавчиной,

и все колоссальное здание паровоза мягко тронулось и покатилось на партизан.

— Пошел, родименький! — орал и рыдал Волчище, едва не лопаясь от натуги и вращая стальной шуровкой.

Свистанули клапаны, захлебнулась пламенем печь, и приборы показали безумные цифры. Сорока, вцепившись в Снегурочку, завизжала, но в грохоте визг этот был словно вата. Партизанская ночь в окошках, с багровыми огнями и блеском железа, медленно-медленно проваливались назад.

Партизаны бежали вдоль колес и поодаль, кричали что-то — не разобрать, дружественное или враждебное. Несколько партизан копошились впереди на рельсах, но перед растущим паровозным рогом бросились наутек, и спустя секунду забытый ими инструмент хрустнул под бронебородой. Никто в кабине не успел даже испугаться, прежде чем поняли: партизаны перевели стрелку, чтобы направить поезд в метро! Башня теперь надвигалась все неуклоннее.

— Ура! Ура! Ура! — орали звери и люди, хохоча, валясь друг на друга, обнимаясь, и цветные дожди подарков и сладостей выплеснулись из всех окон кабины за миг до того, как бронепоезд скрылся во тьме подземелья.

Обернувшись, Снегурочка наблюдала за плавным уменьшением лунного квадрата въезда с ярко-лунными партизанами, дерущимися из-за подарков в снегу. И вдруг это скрылось за поворотом. Поезд вступил на путь винтового снижения к цели.

Гулко и безмятежно пустовал зал станции метро «Лубянка».

Туннельные часы устали ждать поезда и показали многоточие.

Редкие фигуры украшали перрон. Запоздалый белобородый старик с кассой на шее дремал в коляске для безногих; унылый бобовик толкал и пихал его, но он не просыпался. Крупная женщина-скуфья стоя читала. Другая, подальше, тоненькая, в шубе, с ногами как две селедочки, нетерпеливо высматривала вдалеке поезд. Трое багровых

гуляк в углу тузили друг друга и хохотали. По залу летел их хохот да еще долгий стон, что, подобно пению моря, никогда не смолкает в метро и от которого теряют покой и начинают наяву грезить жильцы, слишком долго задержавшиеся под землей.

Ветер и вой приближения поезда пошевелил ожидающих.

Густой отчаянный крик электровоза пронизал зал. С горящими фарами, с орущими сквозь стекла людьми обезумевший поезд налетел и пронесся мимо, ударив ожидающих упругим воздухом. Трое гуляк повалились как один. Книгу выхватило из женских рук и бросило в арку. Старик в коляске проснулся с раздувшейся бородой.

Но не успели еще стихнуть крики испуга и негодования, как новое зрелище, нестерпимо более ужасное и фантастичное, оцепенило всех. Черная ревущая громада в громе и молнии вырвалась из туннеля. Сплющенная труба изрыгала тучи дыма и с визгом раздирала потолок. Косматые искры били с нее, как фонтаны. Выпученные фары паровоза были разбиты, оскаленная морда торчала вперед, и лохмотья мишуры, флажков и драгоценных елочных гирлянд развевались кругом, как космы на голове беснующегося колдуна.

«Конец Часам! Конец Часам!» — исступленно кричали и пели звери. Домовой пиликал на скрипке, Трубочист колотил в барабан, и только Волк как одержимый трудился, кидая, и кидая, и кидая уголь в печь. Горсти конфет и шоколада взвились из кабины и иссекли попадавших на пол жильцов: и гуляк, и скуфью, и визжащую шубку, и деда... Броневагон, весь в ослепительных молниях и синих вспышках, промчался, взорвал семафор при выезде, и следом рухнула тьма...

А чуть позже поезд, выкатившись на станцию «Охотный ряд», мирно отсопел и притих у платформы, как самое добропорядочное транспортное средство.

Зал выгорел и погас ровно наполовину. Обрывки гирлянд и серебряного дождя обвисли на черных бортах паро-

воза и мелко сверкали, шевелимые паром, что со слабым свистом бил из щелей котла.

Здесь возле зеркала уже ждал Языков с двумя товарищами.

— Я до самого конца не верил, — признался задравший голову Языков. Он был похож на ошарашенного ребенка, впервые попавшего в игрушечный магазин.

Сорока, подбоченясь, глядела на него с подножки.

— Что, сдулся? Лизнул нашей мощи? — крикнула она. — Хочется небось прокатиться?

Все трое внизу покивали зачарованно. Сорока, Дед Мороз и еще кое-кто попрыгали на платформу.

— Да не стойте вы кольями! Что у вас? — напустилась на метрошных Сорока.

— Вот, короба.

На стене в уголке висели железные короба, исхлестанные партизанской скорописью. Два из них висели обособленно. На их крышках прищурились красные иероглифы: «А1305 41 авар. осв. до съезда».

— Аварийное освещение! До съезда! — крикнул Языков. — Поняла? Если это врубить, обозначится фонарями путь как раз до съезда.

Тут же несколько рук отодвинули детей и разом ударили в замки ружьями и клещами. Отскочили крышки. Варежки и лапы протянулись и надавили внутри. Цепочка огней высыпалась вдаль по туннелю. Несколько партизан, дотоле стоящих в остолбенении, вскрикнули было и начали подступать, но под дулом ржавой винтовки попятились в будку. Здесь они связались телефонным шнурком и заперлись снаружи на совочек.

— Только шевельнитесь! — крикнул им сквозь стекло Языков и погрозил кулаком. Он уже прыгал на одной ноге, натягивая на свою кольчугу из юбилейных рублей костюм Мышиного короля.

— Быстрее, твое величество, — помогала ему, ругаясь, Сорока.

Паровоз опять уже горячился и закипал, сказочные морды торопили с высоты и звали... Быстро вскарабкав-

шись, Король в восторге замахал остальным. Ухнув, паровоз затрясся и тронулся, окатив парами угасающий зал.

До полуночи оставалось двадцать минут.

Беги, громыхай, паровоз, лети, непобедимая масса! Озаряйся, туннель, из конца в конец могучим гудком! Трепещите, угрюмые Часы, отсчитывая себе последние миги!

Доехали до съезда и притормозили, передвинули стрелку в глубокий туннель налево. Быстрее! Быстрее! Вкатились в туннель и зажгли фонари. Гнется и гнется туннель, бегут вдоль него черные кабели, тусклые, безымянные, с забитыми и зализанными цифрами на бирках. И вот впереди появились шлагбаум, и огромное объявление подле него.

— «Стой! Ты в спецзоне! Нажми вызов и жди прибытия ВОХР!» — прокричал Дед Мороз слова, написанные над красной кнопкой.

Ход был не быстр, и рог паровоза медленно, словно бережно, поддел шлагбаум и уронил под колеса, где тот превратился в скрежет.

— Притормози напоследок, о Волк! — прошептал Дед Мороз.

Поезд встал.

Часы показали последние восемь минут.

— Впереди ворота,— доложил дозорный Трубочист.

— Ворота! — крикнул Дед Мороз счастливым и страшным голосом и обнял всех по очереди. — Ворота, — сказал он, задыхаясь и дрожа, — ворота, ведущие в вечность, перед нами. Нарядим же елку!

И все дрожали. Дрожал от исступления Волк, дрожал от волнения Медведь и от страха — Сорока. Дрожала от ярости Баба-яга:

— Прекратите, я требую! Остановитесь же, негодяи! Бегите, пока не поздно, глупые дети! Вы все погибнете, разобьетесь, сваритесь, испечетесь!

Но ей ответил хор мяуканья и свиста. Все столпились над ранцем, разбирая игрушки. Одна Снегурочка стояла, придерживая елку за ствол.

— Новый год, бабушка! Наряжаем елку, бабушка! — те-

ребили Ягу сказочные герои. Каждый взял по игрушке, и ей сунули игрушку в дрожащие когти.

— Готовы? — выступил Дед Мороз.

— Готовы!

Он поднял Сороку высоко-высоко, под самый броневой потолок. И она надела первую игрушку, избушку.

Сам Дед Мороз повесил щелкунчика, Трубочист — петуха, Волк — шишку, Медведь — сосульку, Домовой — мельницу, Солдат — космонавта, Мышиный король — телефон, даже Баба-яга — скрежеща — фонарик. Все, кроме Снегурочки: та стояла в середине и держала звезду-верхушку, которую надеть надо на самих Часах, по другую сторону ворот.

— Вот елка, — сказал Дед Мороз, — вот елка, которой предназначено оказаться на Часах с двенадцатым ударом. Ворота отделяют ее от Часов, но мы облекли ее в паровоз, чтобы она сумела войти. И еще облечем ее в хоровод, чтобы она вошла, не пострадав от двенадцатого удара, удара брони о броню. О Волк! Разжигай в последний раз свою топку! И с первым ударом выпускай всю силу в мотор и становись тоже в наш круг!

И Волк раздул полное пламя и выдвинул пар. Мотор задрожал, наливаясь ревом. Волк замер у рычагов. Часы ударили один раз. Рванув рычаг, Волчина встал вместе со всеми.

— Водите! — приказал Дед Мороз, накренясь от рывка кабины.

И хоровод запел и побежал по кругу, наступая друг другу на ноги. Одна Снегурочка стояла не кружась, только сгибаясь под тяжестью скорости.

«Два, — считала Снегурочка, — три...»

«Прищепка на носу... пистолет... — хватала и рассовывала она последние мысли, — связки петард вон лежат... пять-шесть... не выронить верхушку... И много-много радости... Восемь! Девять!..» Уже ничего не успевая, она отыскала в хороводе Сороку, глаза их встретились, и Сорока улыбнулась ей ослепительной улыбкой. И тут же, без пауз и промедлений, передняя стенка кабины прыгнула на Снегурочку.

«Наконец!» — мелькнуло у нее в последний момент.

Солнце, огромное счастливое солнце вспыхнуло в ней и спалило дотла.



начало

Во тьме на полу, накрененном, как палуба, билась куча придавленных тел.

Темнота озарялась багровым светом. Оглушительные затрещины взрывов, лица, искаженные, страшные, залитые черной грязью, вспыхивали и гасли.

Дед Мороз с разодранной бородой явился и пропал опять. Поверх него полезли другие маски, орущие, незнакомые... Все было мутно не только от боли, а еще и от пара: кипящая вода била фонтанами отовсюду.

Удивительно, но елка была в руках и даже стоймя. Оперевшись на нее как на костыль, Снегурочка попыталась выпрямиться. Никакой другой опоры не нашлось: все было или бешено движущимся, или очень горячим. Так, ковыляя с елкой, Снегурочка добралась до обрыва кабины. Тут стена была сплющена, дверь исчезла, из перекошенной темноты неслись крики и стуки тел. Чьи-то руки отняли елку, сбросили вниз, потом обхватили Снегурочку, высунули наружу и, подержав, вдруг выпустили. Она пролетела немного и попала на мягкое... Невольно вскрикнув, оскользнулась и опрокинулась спиной на шпалы. Колючей веткой хлестнуло по лицу, и в тот же миг что-то рухнуло сверху и отшибло пальцы. Чудо, что хрупкая верхушка в руке не раздавилась.

— По одному! По одному! — задыхался и орал незнакомый голос.

Ее куда-то несло, клонило; пол и потолок ворочались. Тогда она выпустила слюну, как учил ее давным-давно Дед Мороз, и по отвесной слюнной ниточке выровнялась, нашла вертикаль. И, найдя, сразу же бросилась бежать. Кто-то вцепился в нее и потащил за собой.

Клубы пара впереди непрерывно озарялись огнем. Тот, кто волок Снегурочку, выпустил ее, размахнулся и с диким криком метнул что-то туда, где полыхали клубы и неслось сквозь них черное, незнакомое... Красные

вспышки стали лопаться там одна за одной, а Снегурочка, воспользовавшись свободой, рванулась и, спотыкаясь, побежала по проходу меж искрящихся проводов с одной стороны и исковерканного борта паровоза — с другой.

Вдруг целый хор выстрелов грянул от ворот и опасные свисты стали расписывать воздух... Спина впереди упала, упала и Снегурочка и поползла. В одной руке была зажата верхушка, другая была свободна, чтобы сделать что-то нужное, а что, Снегурочка не могла вспомнить. Но потом вспомнила, и этой рукой, в сгибе которой так и сверкала боль, нашарила и вытащила пистолет.

Высунувшись из-за елки, она протянула пистолет туда, где гремели вспышки и фонтаны искр и странные тени выскакивали и прятались снова. Морщась, она изо всей силы нажала на крючок — выстрела не было. Она жала еще и еще, но ничего не получалось. А оттуда выстрелы скакали непрерывно, и красные отблески ложились на дымящуюся паровозную воду...

Тут Снегурочка очутилась в пламени и обожгла себе все лицо, а когда пришла в себя и встала, ворота оказались позади. Теперь здесь был зал, полный дыма и грохота, с торчащим рылом разбитого паровоза. Пистолета уже не было, руки сжимали одну лишь верхушку... Вдруг ударил такой силы взрыв, что Снегурочка ослабла и осела на кучу тлеющих обломков. Попыталась встать, но голова так закружилась, что руки разъехались по горячей грязи.

— Сейчас, сейчас, — говорила она, — полежу секунду, только секунду...

Но секунда шла за секундой, а сил встать не было. Тогда она собрала всю волю и, покривившись, приподнялась на локтях. Сквозь пелену дыма удалось разглядеть немногое.

Прямо перед глазами ерзала стоптанная подметка Волка. Дрожащими лапами он перезаряжал ружье. Чуть дальше медленно ползло еще два лохматых туловища...

И совсем в конце, в багровом сумраке, одна фигура брела во весь рост. Сорока...

Тогда Снегурочка поднялась и, пригибаясь, петляя, побежала сквозь дым и грохот.

— Ложись, ложись, — кричала Снегурочка.

Но Сорока лишь кисло морщилась.

Снегурочка сжала ее, повалила и повалилась вместе с ней.

Зал стоял теперь в глазах вертикально. Все движение, весь грохот и свет летели от паровоза, засунутого в зал сквозь обломки ворот. Но это место они уже перебежали, а дальше была только тьма. Сорока, бранясь, вырвалась от Снегурочки.

— Лежи, — крикнула было та, но Сорока отмахнулась и, сев, начала брезгливо отряхиваться.

— Успокойся ты наконец. Все, не видишь, что ли, наша взяла.

— Где елка?

— Не нужна никакая елка.

— Они отступили?!

— Нету тут никого, кроме нас.

— Они сбежали!

— Тут никогда никого не было.

Слова были произнесены с отвращением.

Снегурочка оглянулась. Сзади догорало пламя, достреливали последние петарды, и все слышнее делался плеск воды, льющейся из щелей паровоза.

Сорока брела по рельсам. В дымном полусвете пожара были видны пути и огромное каменное кольцо, у которого они кончались. Чуть дальше к кольцу примыкали вторые пути, третьи, четвертые, и так по всей окружности зала — двенадцать бетонных арок, двенадцать стальных дорог, каменное кольцо размером в огромную площадь с подобием железнодорожного моста посредине. Сорока вступила на мост и потопала.

— Гляди-ка, — крикнула она, — вот какая затея: если поезд на этот мост загнать, то можно его потом развернуть на любые другие рельсы.

— Что это? — растерянно спросила Снегурочка.

— Что? — злобно крикнула Сорока. — Что это? Это кружало.

— А?

— А! Кружало! Как повернешь, так и встало! — И она горько закашлялась.

Неясные фигуры выбирались из-под обломков и рассеивались по залу в нерешительности. Тихо оседала пыль. Пламя почти догорело, но зажегся фонарь, и еще один. Волк, волоча ружье, прошелся вперед и заглянул вовнутрь кольца.

— Да это поворотный круг, — проскрипел он и сплюнул гарь. Он снял остатки маски и снова стал Техником. — Поворотный круг, и механизьма к нему. Внизу валшестернь огромная. Да она вся стертая. Тут и ломать нечего: круг довоенный, им уже лет двадцать не пользовались.

Мишата подошла поближе, за ней остальные. Господин глядел на нее с растерянной улыбкой. Языков полез куда-то в темноту, карлик присел на рельсы, скучая. Зауч сидела с ним рядом, прижимая к брови окровавленный платочек.

— А где же Директор? — спросила Мишата.

И тут же увидела мелькнувшую спину там, где громоздились обломки пробитых ворот.

Она кое-как перебралась через обломки, миновала чудовищно вздутый от удара паровоз, перекошенный броневагон, сорванные кабели, лужи... Нагнала Директора уже возле шлагбаума. Переложив фонарь в левую руку, он изо всех сил жал запретную кнопку вызова.

Он жал ее снова и снова...

Холодная насмешливая рука сдавила сердце Мишаты. Внезапно разом и полностью она поняла случившееся и поверила в него. Как в поезде, несшем ее в город — тогда, в августе, в начале путешествия, — она увидела свой мир словно в дневном, безжалостном свете. Но тогда она справилась с собой, отогнала сомнение. Теперь спасения не было. Бессмысленно, не мигая, она смотрела, как Директор давит на кнопку — в отчаянной надежде

вызвать часовщиков. Потом ударил по щитку кулаком.

Кнопка провалилась внутрь, ржавая труха посыпалась из рук Директора, а следом обвалилась и вся коробка, оставив на виду истлевшие, немые, никчемные внутренности.

Мишата рассмеялась.

— Ну и натворили мы дел, — обескураженно развел руками Господин. — А куда теперь дальше-то?

Он обвел глазами собравшихся.

Кто стоял, кто сидел, кто переминался, и никто не глядел друг на друга... Фара нервно хихикала, но, в общем, сдерживала себя. Все вообще вели себя сдержанно и очень торжественно. Всем было немного не по себе, все чувствовали себя немного глупо, и чем дальше, тем глупее, и чем глупее, тем ужаснее и ужаснее, до полного бессилия, такого, что оставалось лишь лечь и закрыть глаза. Директор сидел далеко от всех, спиной к ним, прижав варежки к глазам...

Карлик произнес с холодной яростью:

— Вылезать. Вылезать, пока нас не вывели.

— Сюда все метро сбегается сейчас, — подтвердил Языков.

— Оружие, если кто уронил, найти.

— Фонари.

— Игрушки с елки хоть снимите.

Все тряслись, просто все. Дрожали, бледнели, покрывались тошнотворной испариной... Суетясь, сталкиваясь, хватали первое попавшееся, нужное, передумав, бросали. Бросали и хватали опять...

— Бросайте все, себя бы уберечь! — кричал Языков. — Сюда, тут спуски...

Возникла давка. Стаскивали с себя, рвали остатки костюмов... Треснул и потух раздавленный кем-то фонарь... Пыхтя, кое-как по ржавым трапам спустились внутрь поворотного круга и потрусили, спотыкаясь, озираясь, держась друг за дружку, между его заржавленных жерновов. Навеки онемевшего Директора волокли под руки.

Нашли старые трубы для откачивания вод и, скрючившись на полтора часа, добрались по ним до сточных каналов...

Здесь распрощался Языков.

— Дальше выберетесь, — крикнул он, стоя в черном проеме, — а я назад. Обрадовать своих!

Он махнул Мишате, только ей, и исчез.

А они потащились дальше.

Вылезли в арбатских переулках. Бледная и грозно притихшая Зауч ушла домой. Все остальные, ввосьмером, добрались до школы, спустились в подвал и свалились как придется. Мокрые, измученные, обгорелые, заснули и проспали более суток.

Потом их разбудили и выгнали из подвала.

Рабочие принялись выбрасывать на улицу мебель. В бывшем кабинете бывшего Директора все тяжелое было уже вынесено. Двери стояли распахнуты, в клубищах пыли рабочие сгребали на носилки старые карты, глобусы, картонные цилиндры и обклеенные фольгой доспехи, вороха детской одежды с обрывками лесочек на рукавах и штанинах и прочий мусор.

Зауч в строгом костюме, с пластырем над левой бровью, ходила среди этого развала и распоряжалась.

— Где игрушки? — закричал трясущийся Директор. — Где коробка с елочными игрушками? Была такая здесь на столе, куда она подевалась?!

— Елочные игрушки, а также неиспорченные детские вещи, здесь обнаруженные, — холодно отвечала Зауч, — отправлены в детские дома. В подвале будет оборудован компьютерный класс. Вы же, Михаил Афанасьевич, от педагогической работы отстраняетесь. Приказ об увольнении последует, будьте уверены, сразу же после праздников. Прошу вас и других посторонних, — с неприязнью глядя на растерянные лица, добавила она, — покинуть немедленно помещение.

Бережно ведя Директора, все вышли на воздух.

Стояло сырое пасмурное утро. Тяжелый снег приникал к земле. Голоса птиц и автомобилей летали в небе по-весеннему высоко.

Все расселись на песочнице и на мокрых железках спортивного комплекса. Фара присела на качели и не смогла, конечно, удержаться — раскачалась, огласив воздух долгими скрипами.

— Ничего! — крикнула она. — Даже лучше, что наши, планетарщики, не в подземельях, значит, каких-то, а просто в детдомах, как мне Зауч говорила. А я не верила! Оттуда сбежать — нефиг делать!

— Ну да, — подтвердила Мишата, — они и получат, если так, игрушки! А там в каждой засунута бумажка с адресом Директора.

— Только вот нас из подвала выперли, — спохватилась Фара. — Как же они нас найдут? Придется на двери объявление оставить, где нас искать. А где же нас искать? Куда нам идти-то теперь?

— У меня можно на башне пожить, — заявил Техник, — в котле пока что. Будет весна, мы на крыше высадим огород. Я электриком могу пойти. Ты, Михаил Афанасьевич, можешь вахтером или в Дом пионеров в кружок попробовать.

— Что? — переспросил Директор.

Старый, дряхлый, он смотрел на собрание изумленным взглядом.

— Что? — переспросил он почти шепотом. — Что вы говорите? Никакого Михаила Афанасьевича нет. И никого нет. И ничего нет. Нигде ничего нет...

— Глупости, — крикнула, качаясь, Фара, — все осталось как было. Это Часов нету дурацких, которые вы придумали. Которых и не было никогда. Ишь, многого захотели! Раз, значит, нету ваших Часов, то и весь мир должен исчезнуть? Не слишком ли?

— Ничего нет! — уже закричал Директор.

Он не услышал Фариных слов. В рваном плаще, кружевах, сединах, он протягивал руки перед собой и кричал:

— Часы! Партизаны! Языки! Одежки! Манекены! Снеговики!

Эхо его крика скакало по стенам двора и отражалось в пустом небе. Директор заклинал, выкрикивал, звал... Но все так же было сыро, свежо, безлюдно кругом. И Директор замолк, опустив руки.

— Но я-то есть, — неуверенно сказала Мишата. — Я-то существую, — глядя на Директора, серьезно повторила она.

Директор уставился на нее, словно впервые видя.

— Неужели этого мало? — крикнула Фара. — По-моему, вполне достаточно. Нет, он тоскует о своих Часах! Подумаешь, драгоценность! Она-то лучше!

— Я лучше, — неловко подтвердила Мишата.

— Вы, Михаил Афанасьевич, — скривилась Фара, — много всего навыдумывали, многим голову заморочили! Да ведь недаром! Подумаешь, все пропало! Самая лучшая выдумка-то осталась!

И Фара, будто сама на миг усомнившись, глянула с качелей на Мишату. Но та была абсолютно настоящая, бледная в дневном свете, и на ее отросшем рыжем ежике слабо светились крохотные капельки тумана.

— Это ж ты ее, Афанасьич, выколдовал, — просипел дряхлый лифтер.

— А ведь верно! — изумленно заметил Господин. — Если все — додыровские выдумки, то откуда вы-то взялись, инфанта?

— Сама теперь не знаю, — тихо сказала Мишата, — но сейчас-то я существую! И не денусь никуда, — добавила она. — Я буду всегда.

Все смотрели на нее и ждали, что она еще добавит. Только Фара не смотрела ни на кого и ничего не ждала, раскачиваясь выше и выше.

конец

содержание

Александр Сенаторов — Глава попечительского совета благотворительного фонда «Заветная мечта», Председатель совета директоров ГК «МИАН»



В последнее время нехватка качественной литературы для школьников среднего возраста стала актуальной и ощутимой проблемой. Добрых, веселых и полезных книг катастрофически мало. Поэтому мы решили заполнить культурно-нравственный вакуум, в котором оказались современные дети. Так появились благотворительный фонд «Заветная мечта» и одноименная литературная премия. Главная цель премии — поиск литературных талантов, способных сочинять интересные и познавательные истории.

Представляем произведения победителей первых двух сезонов премии. Я уверен, эти книги вам понравятся. Вы найдете в них новых друзей, любимых героев и достойные примеры для подражания.

Группа компаний «МИАН»

ГК «МИАН» с 1995 года осуществляет профессиональную деятельность во всех сегментах рынка недвижимости, оказывая полный комплекс девелоперских и риелторских услуг, в том числе в сферах консалтинга и инвестиций в строительство жилой и коммерческой недвижимости. Подробнее о компании на сайте *gk.mian.ru.*



Благотворительный фонд «Заветная мечта»

Благотворительный фонд «Заветная мечта» учрежден ГК «МИАН» в 2005 году. Задача фонда — реализация программ, направленных на интеллектуальное развитие детей и подростков.
Подробности на сайте *www.dreamfund.ru.*

Национальная детская литературная премия «Заветная мечта»

Национальная детская литературная премия «Заветная мечта» — проект фонда. Ежегодно премия присуждается авторам лучших художественных произведений для детей среднего школьного возраста. Работы победителей издаются за счет средств фонда и рассылаются в библиотеки всей России. Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства по культуре и кинематографии.
Подробнее о премии на сайте *www.dreambook.ru.*

читайте остальные книги серии «заветная мечта»



«детство лёвы»
борис минаев

Собрание удивительно лиричных и психологически точных рассказов о детстве. Эти истории живут вне времени, но при этом очень хорошо передают особый ностальгический дух Москвы шестидесятых годов прошлого столетия.



«цирк в шкатулке»
дина сабитова

Кто бы мог подумать, что женщина-клоун Эва и сирота Марик спасут от разорения цирк «Каруселли», найдут пропавшую принцессу, а прочим героям этой сказочной повести помогут обрести то, к чему они больше всего в жизни стремятся.



«лис улисс»
фред адра

Лис Улисс, философ и джентльмен, во исполнение некоего пророчества собирает компанию неудачников, которые, следуя за своим предводителем, превращаются в смелых, благородных и самоотверженных спасителей мира.

«аксель и кри
в потустороннем замке»
леонид саксон



Аксель отправляется на поиски своей сестренки Кри, похищенной из мюнхенского парка гигантским призрачным псом. Воссоединившись в безлюдном уголке Альп, дети пытаются вернуться домой.

«заветная мечта '06»
избранное



В сборник вошли произведения лауреатов Малой премии 2006 года: повесть Натальи Менжуновой «Ложкаревка-интернэшнл и ее обитатели» и повесть в рассказах Владимира Полякова «Олух царя небесного».

«заветная мечта '07»
избранное



В сборник вошли произведения лауреатов Малой премии 2007 года: «Не стреляйте в сочинителя историй!» Андрея Максимова, «Школьная жизнь» Марины Сочинской, «Синий дождь» Рины Эльф и «Козел» Тварка Мэна.

Илья Боровиков

Горожане солнца

Для детей среднего школьного возраста

Литературный редактор *Галина Беляева*
Выпускающий редактор *Елена Шубина*
Дизайн серии *OSTENGRUPPE; Алена Макар*
Иллюстрации *Алексея Худякова*
Компьютерная верстка *Елены Мамедовой*
Корректор *Анна Киреева*
Руководитель проекта *Людмила Омельяненко*

Благотворительный фонд «Заветная мечта»
123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 22
Телефон/факс: +7 (495) 974 90 54
www.dreamfund.ru

Подписано в печать 25.01.2008
Формат 60x90/16
Печать офсетная. Бумага офсетная
Гарнитура BookmanC
Усл. печ. л. 23
Тираж 150 000 экз.
Заказ № 19329 (K-Sm).

Отпечатано в ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 1
spk@smolpk.ru

Горожане солнца

КНИГИ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЫ

Илья Боровиков родился в 1975 г. В 2001 г. окончил МГУ, получив специальность искусствоведа. Руководит иконным отделом крупного аукционного дома. Публикуется в специализированных журналах по искусствоведению. Роман «Горожане солнца» – первая книга Боровикова.


ISBN 978-5-903799-04-6
9 785903 799046